

# ЗНАМЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

3 72

Q174830

1942.

5-6

# ЗНАМЯ

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ  
ПИСАТЕЛЕЙ СССР

МАЙ—ИЮНЬ

КНИГА ПЯТАЯ—ШЕСТАЯ

ОГИЗ

---

МОСКВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1942

## СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Приказ Народного комиссара обороны тов. Сталина . . . . .	3
<b>ДОЛОРЕС ИЗАРРУРИ</b> — Советский Союз — бастион свободы . . . . .	8
Стихи: <b>ПЕРЕЦ МАРКИШ</b> — Красноармейская песня, <b>ПАВЕЛ ШУБИН</b> — Паша, правда, <b>ВЕРА ИНЗЕР</b> — На пороге — май . . . . .	10
<b>КОНСТАНТИН СИМОНОВ</b> — Русские люди, пьеса . . . . .	14
<b>НИКОЛАЙ ТИХОНОВ</b> — Ленинградские стихи . . . . .	65
<b>ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ</b> — Рассказы о войне . . . . .	68
<b>ЕВГЕНИЙ ВОРОЗЬЕВ</b> — Невыдуманные рассказы . . . . .	78
Стихи: <b>И. РУЧИЙ</b> — В боях за родину, <b>АРКАДИЙ КУЛЕШОВ</b> — На минском шоссе . . . . .	89
<b>И. РАХТАНОВ</b> — МГУ, Письмо, рассказы . . . . .	91
<b>А. ГОРОБОВА</b> — Вода, рассказ . . . . .	99
Стихи: <b>ЛЕВ ЧЕРНОМОРЦЕВ</b> — Весна на фронте, <b>ЛЕОНИД ЕЛИСЕЕВ</b> — Обычный день, <b>ПАВЕЛ КУДРЯВЦЕВ</b> — Москва весной . . . . .	103

### С ФРОНТА

<b>В. ГРОССМАН</b> — На южном фронте, очерки . . . . .	104
Старший политрук <b>Ник. ШВАНКОВ</b> — В Припильменских лесах . . . . .	121

### НА ВОЕННЫЕ ТЕМЫ

Подполковник <b>Н. ДЕНИСОВ</b> — Особенности немецкой воздушной тактики . . . . .	125
<b>ЮРИЙ ВЕБЕР</b> — Слава русской гвардии . . . . .	141

### КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

<b>Б. ПЕСИС</b> — Падение Парижа (о новом романе П. Эренбурга) . . . . .	168
--	-----

### РЕЦЕНЗИИ

<b>В. КИРПОТИН</b> — «Фронтовые письма Бориса Горбатова». <b>М. АПЛЕТИН</b> — «Мракобесие в фашистской прессе». <b>А. ХОВАНСКАЯ</b> — Вл. Лидин «Зима 1941 года». <b>ЛОКС</b> — Иван Арамилев «Юность Матвея». <b>М. ПОЛЯКОВА</b> — «В боях за родину». . . . .	180
---	-----

---

Редколлегия: *Вс. Вишняцкий, А. Ислах, В. Лебедев-Кумач, В. Луговской, Е. Михайлова* (отв. секретарь), *А. Новиков-Прибой, М. Соколовский, Л. Тимофеев*

---

№50278 12-й год издания. Тираж 30 000 экз. Подписано к печати. 13/VI 1942 г.  
 Печ. л. 12. Авт. л. 17 $\frac{1}{2}$ . В печ. л. 59375 зн. Цена 10 руб. Зак. 211

---

18-я типография треста «Полиграфкинг». Москва, Шубинский пер., 10

# ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ

1 МАЯ 1942 ГОДА

№ 130 г. МОСКВА

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки, рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки, люди ищелательного труда, братья и сестры по ту сторону фронта в тылу немецко-фашистских войск, временно подпавшие под иго немецких угнетателей!

От имени Советского Правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с днем 1 Мая!

Товарищи! Народы нашей страны встречают в этом году международный день 1 Мая в обстановке отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков. Война наложила свою печать на все стороны нашей жизни. Она наложила печать также на сегодняшний день, на праздник 1 Мая. Трудящиеся нашей страны, учитывая военную обстановку, отказались от праздничного отдыха — для того, чтобы провести сегодняшний день в напряженном труде на оборону нашей родины. Живя единой жизнью с бойцами нашего фронта, они превратили праздник 1 Мая в день труда и борьбы — для того, чтобы оказать фронту наибольшую помощь и дать ему побольше винтовок, пулеметов, орудий, минометов, танков, самолетов, боеприпасов, хлеба, мяса, рыбы, овощей.

Это означает, что фронт и тыл представляют у нас единый и нераздельный боевой лагерь, готовый преодолеть любые трудности на пути к победе над врагом.

Товарищи! Более двух лет прошло с того времени, как немецко-фашистские захватчики ввергли Европу в глубинную войны, покорили свободолюбивые страны континента Европы — Францию, Норвегию, Данию, Бельгию, Голландию, Чехословакию, Польшу, Югославию, Грецию, — и высасывают из них кровь ради обогащения немецких банкиров. Более десяти месяцев прошло с того времени, как немецко-фашистские захватчики подло и вероломно напали на нашу страну, грабят и опустошают наши села и города, насилуют и убивают мирное население Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, Молдавии. Более десяти месяцев прошло, как народы нашей страны ведут отечественную войну против озверелого врага, отстаивая честь и свободу своей родины. За этот промежуток времени мы имели возможность достаточно хорошо приглядеться к немецким фашистам, понять их действительные намерения, узнать их действительное лицо, узнать не на основе словесных заявлений, а на основе опыта войны, на основе общезвестных фактов.



Кто же они, наши враги, немецкие фашисты? Что это за люди? Чему учит нас на этот счет опыт войны?

Говорят, что немецкие фашисты являются националистами, оберегающими целостность и независимость Германии от покушения со стороны других государств. Это, конечно, ложь. Только обманщики могут утверждать, что Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия, Греция, Советский Союз и другие свободлюбивые страны покупались на целостность и независимость Германии. На самом деле немецкие фашисты являются не националистами, а империалистами, захватывающими чужие страны и высасывающими из них кровь для того, чтобы обогатить немецких банкиров и плутократов. Гитлер, глава немецких фашистов, сам является, как известно, одним из первых банкиров и плутократов, эксплуатирующим десятки заводов и фабрик. Гитлер, Геббельс, Риббентроп, Гиммлер и другие правители нынешней Германии являются ценными собаками немецких банкиров, ставящими интересы последних превыше всех других интересов. Немецкая армия является в руках этих господ слепым орудием, призванным проливать свою и чужую кровь и калечить себя и других не ради интересов Германии, а ради обогащения немецких банкиров и плутократов.

Так говорит опыт войны.

Говорят, что немецкие фашисты являются социалистами, старающимися защищать интересы рабочих и крестьян против плутократов. Это, конечно, ложь. Только обманщики могут утверждать, что немецкие фашисты, установившие рабский труд на заводах и фабриках и восстановившие крепостнические порядки в селах Германии и покоренных стран, — являются защитниками рабочих и крестьян. Только обнаглевшие обманщики могут отрицать, что рабско-крепостнические порядки, устанавливаемые немецкими фашистами, выгодны немецким плутократам и банкирам, а не рабочим и крестьянам. На самом деле немецкие фашисты являются реакционерами-крепостниками, а немецкая армия — армией крепостников, проливающей кровь ради обогащения немецких баронов и восстановления власти помещиков.

Так говорит опыт войны.

Говорят, что немецкие фашисты являются носителями европейской культуры, ведущими войну за распространение этой культуры в других странах. Это, конечно, ложь. Только профессиональные обманщики могут утверждать, что немецкие фашисты, покрывшие Европу виселицами, грабящие и насилюющие мирное население, поджигающие и взрывающие города и села и разрушающие культурные ценности народов Европы, — могут быть носителями европейской культуры. На самом деле немецкие фашисты являются врагами европейской культуры, а немецкая армия — армией средневекового мракобесия, призванной разрушить европейскую культуру ради насаждения рабовладельческой «культуры» немецких банкиров и баронов.

Так говорит опыт войны.

Таково лицо нашего врага, вскрытое и выставленное на свет опытом войны. Но опыт войны не ограничивается этими выводами. Опыт войны показывает кроме того, что за период войны произошли серьезные изменения как в положении фашистской Германии и ее армии, так и в положении нашей страны и Красной Армии.

Что это за изменения?

Несомненно, прежде всего, что за этот период фашистская Германия и ее армия стали слабее, чем десять месяцев тому назад. Война принесла германскому народу большие разочарования, миллионы человеческих жертв, голод, обнищание. Войне не видно конца, а людские резервы на исходе, нефть на исходе, куры на исходе. В германском народе все более нарастает сознание неизбежности поражения Германии. Для германского народа все яснее становится, что единственным выходом из создавшегося положения является освобождение Германии от авантюристической кляксы Гитлера — Геринга.

Гитлеровский империализм занял обширные территории Европы, но он не сломил воли европейских народов к сопротивлению. Борьба порабощенных народов против режима немецко-фашистских разбойников начинает приобретать всеобщий характер. Во всех оккупированных странах обычным явлением стали саботаж на военных заводах, взрывы немецких складов, крушения немецких воинских эшелонов, убийства немецких солдат и офицеров. Вся Югославия и занятые немцами советские районы охвачены пожаром партизанской войны.

Все эти обстоятельства привели к ослаблению германского тыла, а значит и — к ослаблению фашистской Германии в целом.

Что касается немецкой армии, то, несмотря на ее упорство в обороне, она все же стала намного слабее, чем 10 месяцев назад. Ее старые, опытные генералы вроде Рейхенау, Браухича, Тодта и других либо убиты Красной Армией, либо разогнаны немецко-фашистской верхушкой. Ее кадровый офицерский состав частью истреблен Красной Армией, частью же разложился в результате грабежей и насилий над гражданским населением. Ее рядовой состав, серьезно ослабленный в ходе военных операций, получает все меньше пополнений.

Несомненно, во-вторых, что за истекший период войны наша страна стала сильнее, чем в начале войны. Не только друзья, но и враги вынуждены признать, что наша страна объединена и сплочена теперь вокруг своего Правительства больше, чем когда бы то ни было, что тыл и фронт нашей страны объединены в единый боевой лагерь, бьющий по одной цели, что советские люди в тылу дают нашему фронту все больше винтовок и пулеметов, минометов и орудий, танков и самолетов, продовольствия и боеприпасов.

Что касается международных связей нашей родины, то они окрепли и выросли в последнее время, как никогда. Против немецкого империализма объединились все свободолюбивые народы. Их взоры обращены к Советскому Союзу: Германская борьба, которую ведут народы нашей страны за свою свободу, честь и независимость, вызывает восхищение всего прогрессивного человечества. Народы всех свободолюбивых стран смотрят на Советский Союз, как на силу, способную спасти мир от гитлеровской чумы. Среди этих свободолюбивых стран первое место занимают Великобритания и Соединенные Штаты Америки, с которыми мы связаны узами дружбы и союза и которые оказывают нашей стране все большую и большую военную помощь против немецко-фашистских захватчиков.

Все эти обстоятельства говорят о том, что наша страна стала намного сильнее.

Несомненно, наконец, что за истекший период Красная Армия стала организованнее и сильнее, чем в начале войны. Нельзя считать случайностью тот общезвестный факт, что после временного отхода, вызванного вероломным нападением немецких империалистов, Красная Армия добилась перелома в ходе

войны и перешла от активной обороны к успешному наступлению на вражеские войска. Это факт, что благодаря успехам Красной Армии отечественная война вступила в новый период,—период освобождения советских земель от гитлеровской нечисти. Правда, к выполнению этой исторической задачи Красная Армия приступила в трудных условиях суровой и многоснежной зимы, но, тем не менее, она добилась больших успехов. Захватив инициативу военных действий в свои руки, Красная Армия нанесла немецко-фашистским войскам ряд жестоких поражений и вынудила их очистить значительную часть советской территории. Расчеты захватчиков использовать зиму для передышки и закрепления на своей оборонительной линии потерпели крах. В ходе наступления Красная Армия уничтожила огромное количество живой силы и техники врага, забрала у врага не малое количество техники и заставила его преждевременно израсходовать резервы из глубокого тыла, предназначенные для весенне-летних операций.

Все это говорит о том, что Красная Армия стала организованнее и сильнее, ее офицерские кадры закалялись в боях, а ее генералы стали опытнее и зрелее.

Произошел перелом также в рядовом составе Красной Армии.

Исчезли благодушие и беспечность в отношении врага, которые имели место среди бойцов в первые месяцы отечественной войны. Зверства, грабежи и насилие, чинимые немецко-фашистскими захватчиками над мирным населением и советскими военнопленными, излечили латных бойцов от этой болезни. Бойцы стали злее и беспощаднее. Они научились по-настоящему ненавидеть немецко-фашистских захватчиков. Они поняли, что нельзя победить врага, не научившись ненавидеть его всеми силами души.

Не стало больше болтовни о непобедимости немецких войск, которая имела место в начале войны и за которой скрывался страх перед немцами. Знаменитые бои под Ростовом и Керчью, под Москвой и Калининском, под Тихвином и Ленинградом, когда Красная Армия обратила в бегство немецко-фашистских захватчиков, убедили латных бойцов, что болтовня о непобедимости немецких войск является сказкой, кочененной фашистскими пропагандистами. Опыт войны убедил латного бойца, что так называемая храбрость немецкого офицера является вещью весьма относительной, что немецкий офицер проявляет храбрость, когда он имеет дело с безоружными военнопленными и с мирным гражданским населением, но его покидает храбрость, когда он оказывается перед лицом организованной силы Красной Армии. Припомните народную поговорку: «молодец против овца, а против молодца — сам овца».

Таковы выводы из опыта войны с немецко-фашистскими захватчиками.

О чем они говорят?

Они говорят о том, что мы можем и должны бить и впредь немецко-фашистских захватчиков до полного их истребления, до полного освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев.

Товарищи! Мы ведем войну отечественную, освободительную, справедливую. У нас нет таких целей, чтобы захватить чужие страны, покорить чужие народы. Наша цель ясна и благородна. Мы хотим освободить нашу советскую землю от немецко-фашистских мерзавцев. Мы хотим освободить наших братьев украинцев, молдаван, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, карелов от того позора и унижения, которым подвергают их немецко-фашистские мерзавцы. Для осуществления этой цели мы должны разбить немецко-фашистскую армию

и истребить немецких оккупантов до последнего человека, поскольку они не будут сдаваться в плен. Других путей нет.

Мы это можем сделать и мы это должны сделать во что бы то ни стало.

У Красной Армии есть все необходимое для того, чтобы осуществить эту возвышенную цель. Нехватает только одного — умения полностью использовать против врага ту первоклассную технику, которую предоставляет ей наша родина. Поэтому задача Красной Армии, ее бойцов, ее пулеметчиков, ее артиллеристов, ее минометчиков, ее танкистов, ее летчиков и кавалеристов — состоит в том, чтобы учиться военному делу, учиться настойчиво, изучить в совершенстве свое оружие, стать мастерами своего дела и научиться, таким образом, бить врага наверняка. Только так можно научиться искусству побеждать врага.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки!

Приветствуя и поздравляя вас с днем 1 Мая, приказываю:

1. Рядовым бойцам — изучить винтовку в совершенстве, стать мастерами своего оружия, бить врага без промаха, как бьют их наши славные снайперы, истребители немецких оккупантов!

2. Пулеметчикам, артиллеристам, минометчикам, танкистам, летчикам — изучить свое оружие в совершенстве, стать мастерами своего дела, бить в упор фашистско-немецких захватчиков до полного их истребления!

3. Общевоинским командирам — изучить в совершенстве дело взаимодействия родов войск, стать мастерами дела вождения войск, показать всему миру, что Красная Армия способна выполнить свою великую освободительную миссию!

4. Всей Красной Армии — добиться того, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев!

5. Партизанам и партизанкам — усилить партизанскую войну в тылу немецких захватчиков, разрушать средства связи и транспорта врага, уничтожать штабы и технику врага, не жалеть патронов против угнетателей нашей родины!

Под непобедимым знаменем великого Ленина — вперед к победе!

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ И. СТАЛИН

---

ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ

## СОВЕТСКИЙ СОЮЗ — БАСТИОН СВОБОДЫ

Великая отечественная война, которую с таким мужеством ведут народы Советского Союза во имя свободы и независимости, не только с каждым днем ослабляет и подрывает военную мощь агрессора, но и пробуждает в порабощенных народах национальное самосознание, выражающееся в активном сопротивлении захватчикам. Героическая борьба советских войск объединила всех людей, все народы, стремящиеся к свободе.

Одна американская газета писала о том, что до вероломного нападения Гитлера на Советский Союз «страх перед фашизмом пересиливал ненависть к нему, но с тех пор, как силы Гитлера столкнулись с силами Красной Армии, страх уступил место ненависти...»

В самом деле, если мы окинем взглядом те народы, которые поработены Гитлером, и те, которым грозит порабощение, то мы убедимся, что это так. Повседневная упорная борьба советского народа и советских войск учит их, что фашизм — хотя и чудовище, но такое, с которым вполне можно справиться. И вот уже во всех поработенных странах начинается вздымающаяся волна саботажа и сопротивления. Монолитный советский народ, сплотившийся вокруг своего правительства и доблестной Красной Армии, вызывает у антифашистов всех стран живую симпатию и беспредельный восторг.

И если до гитлеровской агрессии Советский Союз служил рабочим и крестьянам всего мира факелом, освещавшим их путь борьбы за социальную справедливость, то теперь он служит примером и самой надежной точкой опоры для всех, кому дорога свобода и демократия, всех, кто стал на защиту своей родины.

Помощь Англии и Соединенных Штатов Америки — союзников СССР — как нельзя лучше выражает отношение к нему всего человечества, которое видит в нем и в его героических вооруженных силах авангард борьбы за независимость народов и несокрушимый бастион свободы.

История возложила на советский народ и его доблестные войска необычайно трудную миссию, требующую больших усилий и жертв, но эта миссия будет им выполнена с честью.

Взоры народов всего мира прикованы к Советскому Союзу. Там, за рубежом, миллионы мужчин и женщин думают о нем и следят за ним с тем же напряженным вниманием, как и в славные дни октября 1917 года и в тяжелые годы гражданской войны.

И теперь, как и тогда, их взгляд выражает твердую, спокойную уверенность в победе СССР — победе над гитлеровской сволочью.

Мир знает, что советские люди прошли суровую школу борьбы и лишений, что они сделаны из какой-то особой стали.

Мир знает, что советские люди своими руками построили новое общество. И мир знает также, что советские люди не отдадут своих завоеваний, ради которых они жертвовали жизнью, ради которых они проливали кровь и с которыми связаны их лучшие надежды.

Мы знаем наверняка, каких бы усилий ни потребовалось для того, чтобы раздавить фашизм, — ни на йоту не уменьшится боевой пыл советских бойцов, их любовь к родине, их гордость за нее, гордость граждан свободной страны. Мы убеждены, что их боевой пыл, их смертельная ненависть к захватчикам будет расти и расти до тех пор, пока они не сметут со священной советской земли всю гитлеровскую орду до последнего пса. В предвидении тех битв, которые развернутся теперь на советской земле, Максим Горький указывал, что в бою против армии обманутых рабов, защитников бесчеловечного строя, поднимется армия, в которой каждый боец сознает себя защитником своей свободы и своего права быть полноправным хозяином своей страны.

Отважные бойцы Красной Армии — танкисты, совершающие чудеса храбрости, славные соколы советской авиации, охраняющие и защищающие наше советское небо, самоотверженные моряки, зоркие стражи наших морей и берегов — знают, за что они борются.

И весь мир полон веры в то, что их героические условия увековечит победа и что от фашистского строя не останется камня на камне.

*Перевод с испанского Н. ЛЮБИМОВА*

ПЕРЕЦ МАРКИШ

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ПЕСНЯ

Не грусти, береза, на степном кургане,  
Не спускаться долгу горному орлу,—  
Грозным ураганом на врага мы грянем  
Саблями точеными сквозь ночную мглу.

Стелются туманы над безбрежным полем,  
Туча заслоняет зорюшку-звезду;  
Поклонились хатам мы, нивам и раздолья  
И простились с милыми взглядом на ходу.

Ржавчиной покрыты каски на могилах,  
И хранят о битвах память большаки;  
Мы о черепа немецкие точили  
Наши боевые беспощадные штыки.

Вейся, знамя алое, победнее и краше,  
Боевая песня, лейся горячей,  
На славный подвиг мать-отчизна наша  
Проводит в битву верных сыновей.

Не спасут шакалов ни броя, ни ДОТы,  
Не смей миновать советского штыка;  
Двигается лавиной красная пехота,  
Небо замутилось, жарко облакам!

Города и села темной ночью мгличей  
Ворог предаст разбою и огню,  
Но преград не знают грозные танкисты  
В яростных боях за родину свою.

Ни за склоном тор, ни в облаках высоко  
Не найдет спасенья черный мракобес,—  
Борюна немецкого краснокрылый сокол  
Протаранит смело, срыв его с небес.

Присягая жизнью за родину бороться,  
Бить и сокрушать надменного врага,  
Ходят по морям бесстрашно Краснофлотцы,  
Берегут любимые родные берега.

На прицеле глаз, и руки на затворе —  
Будь спокойна, родина, родная сторона.  
По полю гвардейцы гонят вражьи своры,  
Будь спокойна, родина, Советская страна!

Славою в веках гремит нарком наш, Сталин!  
Ты, народов братских гордая глава,  
Патрик вражых полчищ гордо отстояла  
Наша неприступная, державная Москва.

---



ПАВЕЛ ШУБИН

НАША ПРАВДА

*Тридцатилетию «Правды»*

Знакомой газеты страницы.  
Они, прошумев по стране,  
Как теплые, белые птицы,  
Спускаются в руки ко мне.  
Пусть небо, средь грохота злого,  
Разбито волною взрывной,  
Но слово,  
Партийное слово,  
Как верная дружба, со мной!  
И все, что в суровые сро-  
Влекло и вело, как призыв,  
Назвали газетные строки,  
Мечты мои вслух повторив.  
Они мне родного роднее,  
Как будто приказано им  
Наполниться жизнью моею,  
Любовью и гневом моим.  
И смысл обретают отточья,  
И мгла переходит в зарю,  
Когда я со Сталиным ночью  
Один-на-один говорю.  
И словно сияющим светом  
Омоет всю душу мою,  
И гибель во имя победы  
Прекрасна, как песня, в бою.  
Я вижу, минуя преграды,  
Звездой путеводной вдали  
Идет Большевицкая Правда —

Крылатая Совесть Земли.  
И чем ее враг остановит? —  
Не страшен ей смертный свинец,  
Последнюю каплею крови  
Она — в миллионах сердец.  
Из мрака подполья, из сылок,  
Из каторжной торькой тоски  
Под солнце она выносила  
Грядущей свободы ростки.  
И знал приискатель на Лене,  
И слышал якут в Бухтарме,  
Что пишет,  
Как думает Ленин  
О воле народной в тюрьме.  
Бессмертье, гремевшее в «Правде»  
С широких упрямых полос,  
Октябрьской прозой в Петрограде  
Сказалось и отозвалось!  
И ныне оно, торжествуя  
Над гибелью вражеских рот,  
В апрельскую ночь штурмовую  
С бойцами бок о бок идет.  
Чтоб снова, и снова, и снова,  
Грозней, чем разящий металл,  
Огонь большевистского слова  
Над дымной землей пролетал!

Ленинградский фронт

ВЕРА ИНБЕР

## НА ПОРОГЕ — МАЙ

Уже по влажному асфальту шинны  
Свой первый отпечатывают след.  
Окрашены военные машины  
Уже не в белый, а в зеленый цвет.  
Забывший возрождается трамвай.  
Идет уборка. На пороге — май.

Большое государственное дело:  
Родимый город должен быть здоров.  
И на очистку улиц и дворов  
Выходят все. Лопата заблестела.  
Недаром же она во льду, в снегу  
Была в те дни приравнена к штыку.

У девушки рассыпалась коса,  
Ей стало жарко. Из-под зимней шапки  
Подснежниками — синие глаза.

Ей в руки бы лесных цветов охалки,  
Но даже в этом ватнике — она  
Все та же воплощенная весна.

Чтоб солнце пригревало горячо,  
Чтоб лед не залежался перед домом,  
Она его дробит блестящим ломом, —  
Нелегким, от него болит плечо.  
Зато какой сияющий поток  
Благодаря ему легко потек!

В нем отразилось золото заката  
И в синеве патрульный самолет,  
И эхо орудийного раската,  
И трудности, и мужества полет.  
В нем было все. Как в зеркале ясна,  
Вставала ленинградская весна.

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

РУССКИЕ ЛЮДИ

Пьеса

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ИВАН НИКИТИЧ САФОНОВ, 32 лет,— командир автобата.  
МАРФА ПЕТРОВНА, 55 лет,— его мать.  
ВАЛЯ АНОЩЕНКО, 19 лет,— шофер.  
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ВАСИН, 62 лет.  
ИВАН ИВАНОВИЧ ГЛОБА, 45 лет,— военфельдшер.  
ПАНИН — корреспондент центральной газеты.  
ИЛЬИН, 25 лет,— политрук.  
ШУРА, 27 лет,— машинистка.  
ХАРИТОНОВ, 60 лет,— врач-венеролог.  
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, 55 лет,— его жена.  
КОЗЛОВСКИЙ — он же ВАСИЛЕНКО — 30 лет.  
МОРОЗОВ.  
ГАВРИЛОВ.  
ЛЕПТЕНАНТ.  
СТАРИК.  
ЛУКОНИН, 32 лет,— генерал-майор.  
СЕМЕНОВ.  
РОЗЕНБЕРГ.  
ВЕРНЕР.  
КРАУЗЕ.  
НЕИЗВЕСТНЫЙ.  
РАНЕННЫЙ.

Командиры, красноармейцы, немецкие солдаты.

Место действия — Южный фронт.

Время действия — осень 1941 года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Комната с большой русской печкой, с иконами в углу. Рядом с ними прищиплена большая фотография Сафонова в кепке и шоферских рукавицах.

На сцене вечер. Марфа Петровна сидит за картами. Против нее Мария Николаевна в пальто.

МАРФА ПЕТРОВНА (отрываясь от карт). А то, может, разденешься?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Пет, нет, я не надолго.

МАРФА ПЕТРОВНА. А помнишь, Маруся, как мы на жепихов с тобой гадали, а? Это в каком году-то было? Дай бог памяти. Это было в году... в тысяча девятьсот восьмом году это было. Думали все, какие они явятся? Ах, хорошие, наверно. И вот оказалось все наоборот. Мой и пожить со мной не успел — помер. А твой — ты извини — какой гадюкой оказался.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Марфа Петровна...

МАРФА ПЕТРОВНА. Ты уж извини, — гадюка. Говорю, что думаю.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Ну, а что же ему было делать? Что же ему было делать? Пришли, стали в доме жить. А потом городским головой назначили. Он не хотел.

МАРФА ПЕТРОВНА. Верю, что не хотел, но у него главная мысль не об этом. Ему все равно, кем быть. Его главная мысль, чтобы живым остаться. Раз струсил, два струсил, три струсил, а дальше до подлости дошел. Ты мне не говори, я его тоже знаю. (Наклоняется над картами.) И выходит тебе, Маруся, казенный дом. А дальний дорожи тебе не выходит. Как тут жить, так и помрешь, дура душой. Вот сын твой придет с войны, он вас отблагодарит. Скажет: спасибо вам, родители, за то, что фамилию мою опоганили, отмыть нечем. Вот, что он вам скажет.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Если бы только жив был... Я от него из Тирасполя последнее письмо получила.

Стук в дверь.

МАРФА ПЕТРОВНА (идет к двери). Кто там?

ГОЛОС. Быстрей.

Марфа Петровна открывает крючок. Входят немецкий фельдфебель, солдаты Козловский. Козловский в пальто, в полувоенной фуражке, с полицейской повязкой на рукаве.

КОЗЛОВСКИЙ. Сюда женщина входила? (Замечает сидящую за столом Марию Николаевну, подходит, быстро поворачивает ее за плечи.) Простите. Как вы сюда попали?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Подруга детства. Здравствуйте.

КОЗЛОВСКИЙ. Здравствуйте... (Смотрит на карты.) Ах, гаданье... тройка, семерка, туз... Давно вы здесь?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Давно.

КОЗЛОВСКИЙ (поворачивается к фельдфебелю). В следующий дом. Тут нет. (Выходят.)

Марфа Петровна, заперев дверь на крючок, брезгливо вытирает руку о висящее у двери полотенце.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Козловский. Знаете, как первый день познакомились с ним, милый был человек. Каких-то родственников своих здесь вспоминал; дядю пятнадцать лет не видел, говорил. Сидел, чай пил... А сейчас просто страшен. Дергается весь.

МАРФА ПЕТРОВНА. Погоди, погоди, и твой тоже дергаться будет. Люди, когда до окончательной подлости доходят, так сразу дергаться начинают. Эх, ты! Взяла бы в платочек платяшки свизала, с чем пришла тридцать годов.

пазад, да и ушла бы от него. А немцам порошку бы на прощанье высыпала. Да где уж там... А ведь хорошая ты девка была, красивая, веселая. Где все, скажи, пожалуйста?..

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Я пойду. Поздно уже. Но только не думайте так плохо...

МАРФА ПЕТРОВНА. Иди уж! Тошню будет — заходи. Сперва поворчу, потом пожалую. Тебя, конечно. А твоего мне не жалко. Тыфу! Ну его к чорту. (Провожает гостью, закрывает дверь на крючок, прислушивается. Потом громко, повернувшись к печке, говорит.) Ну.

С печки легко соскакивает Валя в куртке и мужских сапогах.

МАРФА ПЕТРОВНА. Ну вот, и проехали гости. Сердце-то колотилось, небось?

ВАЛЯ. Ага.

МАРФА ПЕТРОВНА. Все ж таки страшно!

ВАЛЯ. Ага.

МАРФА ПЕТРОВНА. Эх ты, разведчица! Чаю-то хочешь?

ВАЛЯ. Ага.

МАРФА ПЕТРОВНА. Что ты мне все «ага» да «ага», как басурманка. Ты скажи: «Спасибо, тетенька, премного благодарна, налейте мне чаю».

ВАЛЯ. Спасибо, тетенька, налейте чаю.

МАРФА ПЕТРОВНА. Вот то-то.

Далекое выстрелы.

Опять стреляют. (Пауза.) Сказки-ка, девушка, а вот ко мне тут мужчина от вас явился, про сына говорил, привет передавал. Ну, это, конечно, прочих дел не считая. Где тот мужчина, цел или нет?

ВАЛЯ. Его вчера в бою убили. Потому меня и послали, что он не мог.

МАРФА ПЕТРОВНА. Да, видный был человек. А ты, что, девушка, через лиман выплавь, что ли?

ВАЛЯ. Выплавь. (Пауза.) Когда он придет, а?

МАРФА ПЕТРОВНА. Придет в свое время. Сейчас на улицах все патрули ихние топают. Вот оптопают, пойдут свой кофий пить, вот он и придет как раз. Человек он такой, аккуратист.

ВАЛЯ. Как его звать-то?

МАРФА ПЕТРОВНА. Как раньше звали, не помню, а теперь Василием зовут. Теперь всех у нас так зовут: кого Василием, кого Иваном...

ВАЛЯ. Я ведь тут раньше шофером у председателя горсовета работала, так что я многих знаю.

МАРФА ПЕТРОВНА. Шофером? Ну, тогда, может, и знаешь. Он, говорят, до немцев известный человек был в городе.

ВАЛЯ. Кто он?

МАРФА ПЕТРОВНА. Да Василий.

За окном близкий выстрел.

Воп, опять бьют. А ты говоришь, почему не идет. Придет в свое время. Ты лучше чайку попей.

ВАЛЯ. Ой, дайте.

МАРФА ПЕТРОВНА (наливает чаю). Ишь какая. Пришла, целый кувшин воды сразу, а теперь чаю.

ВАЛЯ. Да ведь нет у нас там воды. Водокачку взорвали. Стакан на день, хоть из лимана соленую пей!

МАРФА ПЕТРОВНА. Да... времена. (Пауза.) Ну, а сын-то, живой, что ли? Все командует у вас там?

ВАЛЯ. Командует. Он вам передавал поклон шизкий. (Замечает карточку на стене.) А это что, он?

МАРФА ПЕТРОВНА. Он. Да ты на карточку не гляди. Он не так, чтобы интересный из себя, но зато орен-парень.

ВАЛЯ. Его у нас любят все.

МАРФА ПЕТРОВНА. Это у него с детства. Он отродясь заводилой был.

ВАЛЯ. И маленький когда был, тоже?

МАРФА ПЕТРОВНА. Ох, не приведи господи. Только ко мне из ходили с жалостями на него. Ну, а я говорю: лови. Поймашь — уши надеру, а не поймашь, — значит ушел, его счастье. (Задумчиво.) А ты что это интересуешься, девушка?

ВАЛЯ. Так просто.

МАРФА ПЕТРОВНА. А-а. А то я подумала, вы...

ВАЛЯ. Что подумали?

МАРФА ПЕТРОВНА. Может, любовь у вас...

ВАЛЯ. Нет. Он только шутить любит. У меня, говорит, мой шофер вместо невесты. Меня невестой объявил. Все невеста, да невеста.

МАРФА ПЕТРОВНА. Невеста? Да разве это звание сейчас есть?

ВАЛЯ. А вы что, против него?

МАРФА ПЕТРОВНА. Я не против, а только не время сейчас в невестах-то сидеть. Сегодня невеста, а завтра вдова. Так женой я не будешь.

ВАЛЯ. Так «невеста» — это ж он в шутку.

МАРФА ПЕТРОВНА. Ну, если в шутку. (Пауза.) Сейчас жизнь такая, мало в ней шуток. Ты хоть глазком-то глянула, когда немцы были?

ВАЛЯ. Нет, я только голоса слышала. Я шевельнуться боялась.

МАРФА ПЕТРОВНА. По-русски говорили — это с ними Козловский был. Прекрасный человек и подлый. Они его из Николаева привезли. А это, я считало, хорошая примета, что привезли, потому что, значит, подлецов им в каждом городе нехватает. Одних и тех же из города в город возить приходится. (Прислушивается, потом смотрит на настенные часы — ходики.) Ну, вот, теперь они кофий пьют. Это скелет уж напрянут теперь, то, значит, бог попустил. (Не сходя с места, говорит). Василий? (Молчание.) А, Василий? (Валя невольно смотрит на дверь.) Василий? (Из-за занавески, в дверях соседней комнаты, потягиваясь, показывается бородатый мужчина.)

МОРОЗОВ. Ой, Марфа Петровна, и вздремнул я крепко.

МАРФА ПЕТРОВНА. Даже немцы не побудили?

МОРОЗОВ. Нет, на немцев у меня свое чутье, а как вы с девушкой журчать стали, так я опять заснул, — думаю, пускай поговорят. (Жмурясь от света, садится.) Ох, и темно же у тебя в подполье.

ВАЛЯ (внимательно всматривается в него и вдруг виласкивает руками). Сергей Иваныч!

МОРОЗОВ. Я вам, товарищ водитель, не Сергей Иваныч, а Василий. Ясно?

ВАЛЯ. Ясно.

МОРОЗОВ. П я вам, товарищ водитель, не Морозов, а тоже Василий Ясно?

ВАЛЯ. Ясно.

МОРОЗОВ. И я вам, товарищ водитель, не председатель горсовета, а опять-таки Василий. Тоже ясно?

ВАЛЯ. Тоже ясно.

МОРОЗОВ (шутливо). Ну, а раз все ясно, то где же машина? Опять наверно не в порядке? Опять что-нибудь там? Рессора лопнула, да? Или как?

ВАЛЯ. Все вы шутите, Сер... Все вы шутите.

МОРОЗОВ. Да. Все мы теперь шутим. Шутим, товарищ водитель.

ВАЛЯ. Мы, значит, вас-то и ждали?

МОРОЗОВ. Выходит, что нас. Ну, давай пыдульку-то. (Валя достает из-за пазухи маленькую бумажку.) Ну, а ежели бы немцы?..

ВАЛЯ. Проглотила бы.

МОРОЗОВ. Ну ладно, коли так. (Читает бумажку.) Да уж придется вам, товарищ водитель, тут суточку посидеть. Тут мне такое воззвание прислали. Это не просто гранату в комендатуру кинуть. Это размышлений требует. Ну, что там слышно у вас в обороне вашей?

ВАЛЯ. От лимана до поселка — наши. На Заречной — наши. И потом кругом по Рязской и до лимана обратно, а кругом немцы.

МОРОЗОВ. Ясно, немцы. Они на тридцать верст туда ушли уж. Вот, как говорят, не чаяли, не гадали, в тылу немецком оказались. Ну, что ж, война. Бывает. У вас-то хоть в полгороде, за лиманом, советская власть, а у нас — немецкая.

В дверь кто-то тихо скребется. Морозов вытаскивает револьвер. Марфа Петровна показывает, чтобы они уходили. Валя залезает на печку. Морозов уходит за занавеску. Марфа Петровна подходит к двери.

МАРФА ПЕТРОВНА. Кто там?

В дверь опять скребутся. Марфа Петровна открывает дверь внутрь, и через порог падает на пол комнаты окровавленный человек в штатском, видимо, сидевший, прислонясь к двери. Марфа Петровна молча втаскивает его и, закрыв дверь на крючок, становится около него на колени. Ты кто есть?

ЧЕЛОВЕК (слабым голосом). А тут кто?

МАРФА ПЕТРОВНА. Мы, свои.

ЧЕЛОВЕК. Воины...

МАРФА ПЕТРОВНА. Девушка!

Валя слезает с печки.

Подай воды. Подыдем его.

ЧЕЛОВЕК (услышав, качает головой). Не надо. Тут есть кто Мне сказать надо... Я помру сейчас.

МАРФА ПЕТРОВНА (оставляет Валу с ним). Пои, пои его, девушка. (Идет за занавеску и говорит негромко.) Василий!

ЧЕЛОВЕК. Это что, это свои?

ВАЛЯ. Свои, свои...

Входит Морозов.

ЧЕЛОВЕК. Я из окружения шел... Они... меня увидели и вот... А документы взяли они... моя фамилия... Водицы...

БАЛЯ (дает ему еще воды). Ну, фамилия?

ЧЕЛОВЕК. Моя фамилия... Ой, водицы...

Ему дают еще воды. Человек, вздрогнув, затихает. Валя опускает его голову. Смотрит на его пиджак, у которого выворочены карманы и распороты рукава.

БАЛЯ. Ой, как разорвали все. Искали.

МОРОЗОВ (поднимается, стоит — руки по-швам). Ну, что ж, прощай, неизвестный товарищ. (Молчание.) Следы крови, небось, на улице остались. Утром притти могут. Оденься-ка, мать, да на улицу с метелкой. Посмотри, как оно там? (Неожиданно стирает слезу рукавом.) Вот, кажется, и привык, а жалко людей. (Смотрит на Валу.) А ты что ж, водитель, не плачешь?

БАЛЯ. Не могу. Я уже все видала, Сергей Иванович, что и ты думала некогда видеть — видала. Не могу плакать. Слезы все.

### Конец картины

## Картина вторая

Штаб Сафонов. Рассвет. Прокуренная комната какого-то железнодорожного помещения. Несколько дверей. Сафонов, Ильин. За машинкой — Шура.

САФОНОВ. Одиннадцатый день. И Крохалева позавчера убили. Или нет, когда? Ты у меня какой день за комиссара? А, Ильин?

ИЛЬИН. Два дня. Нет, три.

САФОНОВ. Три? Дни через эту бессоницу мешаются. Ты вызвал этого... Василия?

ИЛЬИН. Вызвал.

САФОНОВ. Хороший старик, говорят?

ИЛЬИН. Говорят.

САФОНОВ. Он у меня начальником штаба будет, если хороший. А звание я ему восстановлю по случаю нашей полной осады. Да, Ильин, мало людей остается.

ИЛЬИН. Вали второй день нет. Неужели ее немцы взяли?

САФОНОВ. Не хочу я этого слышать. (Пауза.) Нет, ты мне скажи, почему мужики такие сволочи? Девка вызывается в разведку идти, а вы молчите.

ИЛЬИН. Женщине легче. Я могу пойти, если надо. Только толку не будет.

САФОНОВ. Это верно. А писателя вызвал?

ИЛЬИН. Вызвал.

САФОНОВ. Я его хочу начальником особого отдела.

ИЛЬИН. А разве Петров совсем?

САФОНОВ. Что, совсем? Умер. Вот тебе и совсем. Шура его вылечить обещала; а не вылечила, соврата.



ШУРА. Я около него двенадцать часов сидела. Я ему голову держала. У меня руки болят, я печатать не могу. Вот видите, как дрожат, а вы говорите...

САФОНОВ. Это все история. Это мы потом тебе благодарность вынесем, а теперь — не вытекла, соврала, вот что я сейчас знаю.

Открывается дверь. Входит Васин, очень высокий, сутуловатый, с бородой. В штатском пальто, подпоясан ремнем. На плече винтовка, которую он носит неожиданно ловко, привычно.

ВАСИН. По вашему приказанию явился.

САФОНОВ. Здравствуйте, садитесь.

ВАСИН. Здравия желаю.

САФОНОВ. Вы в техникуме военное дело преподаете?

ВАСИН. Преподавал. Сейчас, как вам известно, у нас отряд.

САФОНОВ. Известно. Сколько потеряли студентов своих?

ВАСИН. Шесть.

САФОНОВ. Да... Садитесь, пожалуйста. Курить хотите?

ВАСИН (берет напироску). Благодарю.

Зажигает спичку, дает прикурить Сафонову. Прикуривать тянется Ильин. Васин неожиданно тушит спичку. Ильин удивленно смотрит на него. Васин чиркает другую спичку.

Простите. Старая привычка: третий не прикуривает.

САФОНОВ. Блажь. Примета.

ВАСИН. Не совсем. Это, видите ли, с бурской кампании повелось. Буры стрелки весьма меткие. Первый прикуривает — бур ружье взял, второй прикуривает — прицелился, а третий прикуривает — выстрелил. Так что, вот откуда примета. Почву имеет.

САФОНОВ. Вы, я слышал, в русско-японской участвовали?

ВАСИН. Так точно.

САФОНОВ. И в германской?

ВАСИН. Так точно.

САФОНОВ. А в гражданской?

ВАСИН. В запасных полках, по причине инвалидности.

САФОНОВ. А в германскую войну, я слышал, вы напруды имели?

ВАСИН. Так точно. Три «георгия».

САФОНОВ. Целых три? А чем доказать можете?

ВАСИН. В данное время не могу, так как с собой не пишу, а доказать могу тем, что храплю.

САФОНОВ. Храпите?

ВАСИН. Так точно, храплю.

САФОНОВ. «Георгия» — это ведь за храбрость давали?

ВАСИН. Так точно.

САФОНОВ (после паузы). Вас Александр Васильевич зовут?

ВАСИН. Так точно.

САФОНОВ. Так вот, Александр Васильевич. Хочу я вас к себе в начальни-ки штаба взять. Как вы считаете, а?

ВАСИН. Как прикажете.

САФОНОВ. Да что ж, прикажу. Как здоровье-то ваше? Можете?

ВАСИН. Полагаю, что могу.

САФОНОВ. Город хорошо знаете?

ВАСИН. Здешний уроженец. Родился здесь в тысяча восемьсот семьдесят девятом году.

САФОНОВ (мысленно считая). Однако старый вы уже человек.

ВАСИН. Совершенно верно.

САФОНОВ. А вот опять вставать приходится.

ВАСИН (пожимая плечами). Разрешите приступить к исполнению обязанностей. Вы приказом отдали?

САФОНОВ. Отдам. (К Шуре.) Печатай: «Приказ № 4 по гарнизону. Начальником штаба обороны города назначаю...» (К Васину.) Вам же как звание-то? (Прислушивается. Прерывает. Слышится далекие пулеметные очереди.) Это на лимане, по-моему, а? (Прислушивается.)

ВАСИН (прислушиваясь). Так точно, на лимане у левого брода.

САФОНОВ (Нлину). Поди, свяжись с Заречной. (К Шуре.) Она где туда переходила?

Ильин выходит.

ШУРА. У брода.

САФОНОВ. Ведь все тихо было, а?

ШУРА. Тогда тихо.

САФОНОВ. Да. (В задумчивости ходит. Васин ждет.)

ВАСИН. Вы спросили...

САФОНОВ (спохватившись). Я говорю, вы какое звание в старой армии имели?

ВАСИН. Штабс-капитан.

САФОНОВ. Ну, штабс — этого теперь нету. Значит, капитан. А из Красной Армии с каким званием в запас уволены?

ВАСИН. В тысяча девятьсот двадцать девятом году, по инвалидности, в должности комбата.

САФОНОВ. Ну, комбата теперь тоже нет. Значит, майор. (К Шуре.) Значит, шипи: «...назначаю майора Василья А. В. (Пауза.) У меня шипели для вас нет. У меня тут только шипель комиссара моего осталась, так вы ее возьмите и носите.

ВАСИН. Разрешите заметить, что это будет незаконно.

САФОНОВ. Знаю, что незаконно. А что же мне прикажете, чтобы у меня начальник штаба вот так, в лапсердаке, ходил? Я вам должен звание присвоить, хотя и права не имею. Коли до наших додержимся, — так и быть, простят они это нам с вами. Что, еще возражать будете?

ВАСИН. Нет. Разрешите приступить к исполнению обязанностей.

САФОНОВ. Приступайте. Пойдем в ту комнату. Я тебе, Александр Васильевич, карту покажу. Только погоди. На дворе-то с утра холодно? Я еще не выходил.

ВАСИН. Так точно, холодно.

САФОНОВ. Шура! У тебя там где-то бутылка стояла, а? (Паливает в жестяные кружки.) Водку-то пьете?

Васин молча выпивает.

Как вижу, лишних слов не любишь?

ВАСИН. Точно так, не люблю.

САФОНОВ (вдыхая). А я вот, есть трех, люблю. Ну, это ничего, это пройдет. Ты мне напоминай, в случае чего. Будешь?

ВАСИН. Так точно. Буду.

Выходят. Шура, бросив машинку, прислушивается. Когда она не стучит, стрельба за окнами слышнее. Входит Панин в накинутаой на плечи шинели с одной ппалой. По-штатскому кланяется Шуре, сжимает и кладет мешающую ему фуражку.

ПАНИН. Здравствуйте, Шурочка.

ШУРА. Здравствуйте.

ПАНИН. Как поживаете, Шурочка?

ШУРА. Хорошо. (Возвращает ему тетрадку.) Я прочла, товарищ Панин. Мы вчера вечером сидели с Валечкой и плакали. Это вы сами написали?

ПАНИН. Нет, я стихов не пишу. Это мой товарищ написал. Мы с ним вместе на Западный фронт ездили.

ШУРА. А где он сейчас, здесь?

ПАНИН. Нет, его убили.

ШУРА. Неправда.

ПАНИН. Я тоже, Шурочка, сначала думал — неправда, а потом, оказалось, — правда.

ШУРА. Мы позавчера ночью сидели. Печку зажгли. Капитан на полчаса спать лег, а мы с Валечкой все читали и плакали. А потом Валечка собралась — и туда, в разведку пошла. А капитан открыл глаза и меня спрашивает: «Вы чего тут с ней читали?» И я ему опять прочла все. А он грустный лежал. «Хорошо», — говорит. Расстроился даже.

ПАНИН. Капитан?

ШУРА. Ну, да, капитан. А чего вы удивляетесь?

ПАНИН (пожимая плечами). Так...

ШУРА. Он еще оттого расстроился...

САФОНОВ (входя). А, писатель! Здорово.

ПАНИН. Привет.

САФОНОВ. Шура! Выдь-ка на минутку.

Шура выходит. Тихо.

Тут у нас теперь, писатель, дело такое. Сил нету больше. Мало сил. Ты себя к этой мысли приучил, что помирать, может, тут придется, вот в этом городе, а не дома? И вот сегодня-завтра, а не через пять лет. Приучил?

ПАНИН. Приучил.

САФОНОВ. Это хорошо. Жена у тебя где?

ПАНИН. Не знаю. Наверно, где-нибудь в Сибири.

САФОНОВ. Да. Она в Сибири, а ты вот тут. «В полдневный жар в долине Дагестана...» В общем, ей и не спилось, какой у нас тут с тобой переплет выйдет. Положение такое, что мне теперь писателей тут не надо. Так что, твоя старая профессия отпадает. (Пауза.) Член партии?

ПАНИН. Кандидат.

САФОНОВ. Ну, все равно. Петров ночью умер сегодня. Будешь начальником особого отдела у меня.

ПАНИН. Да... но...

САФОНОВ. Да — это правильно, а но — это уже излишнее. Мне, кроме тебя, некого. А ты — человек с образованием, тебе легче незнакомым делом заниматься. Но чтоб никакой этой мягкости. Ты забудь, что ты писатель.

ПАНИН. Я не писатель. Я журналист.

САФОНОВ. Ну, журналист, — все равно, забудь.

ПАНИН. Я уже забыл.

Открывается дверь и входит Валя. Она вся мокрая, в распахнутом пальто, в платке, сбившемся назад с головы.

ВАЛЯ. Товарищ капитан...

САФОНОВ. Будь ты неладная. (Бросается к ней, неловко целует в щеку, отпускает.) Что же ты людей с ума сводишь, а?

ВАЛЯ. Я все сделала, товарищ капитан.

САФОНОВ. Ну, и хорошо. Но ты что думаешь, нам только это и важно? А что ты есть — живая или мертвая, — нам это тоже важно, может быть. Понятно? В кого из пулемета стреляли? В тебя?

ВАЛЯ. Ага.

САФОНОВ. Да ты же обмерзла вся. Шура! (Кричит.) Шура!

ВАЛЯ. Товарищ капитан, разрешите доложить...

САФОНОВ. Никаких доложить. Сушись иди.

ВАЛЯ. Никуда я не пойду, прежде чем не доложу. Понятно?

САФОНОВ. Говорю тебе, иди сушись, потом... (Останавливается под ее взглядом.)

ВАЛЯ. Понятно?

САФОНОВ. Понятно, понятно. Ну, давай скорей. (Слушает ее нетерпеливо, стоя у стола и постукивая пальцами.) Была?

ВАЛЯ. Была.

САФОНОВ. Передала?

ВАЛЯ. Передала.

САФОНОВ. Пакет где?

ВАЛЯ. Вот.

САФОНОВ. Иди сушись.

ВАЛЯ. Нет, еще не все.

САФОНОВ. Ну?

ВАЛЯ. Морозов велел передать, что завтра ночью переправлять будут, что-бы не стреляли.

САФОНОВ. Все? Сушиться иди.

ВАЛЯ. Нет, не все.

САФОНОВ. Ты же зубами стучишь, дура. Сушись, говорю.

ВАЛЯ. Он велел передать, что в два часа ровно.

САФОНОВ. Все?

ВАЛЯ. Все.

САФОНОВ (входящей Шуре). Ну, иди, прей ее там. Я же не могу. Дай ей чего-нибудь. В крайнем случае, мой полушубок, штаны дай. Ясно?

ШУРА. Ясно, товарищ капитан. (Выходит в другую комнату.)

САФОНОВ. Проклятая девка.

ПАНИН. Почему проклятая?

САФОНОВ. Упорная.

ПАНИН. Это хорошо.

САФОНОВ. А я разве говорю, что плохо? Я любя говорю, проклятая.

ПАНИН. Любя?

САФОНОВ (услышав неожиданную интенцию этого слова). Ну, да, сочувствуя. Что же я, человека на смерть пустил, так я за него уже и волноваться не могу? А если его нет два дня?..

ПАНИН. Кого — его?

САФОНОВ. Ну, ее. Что ты ко мне, писатель, привязался.

ПАНИН. Опять писатель?

САФОНОВ (улыбнувшись). Прости, пожалуйста, товарищ начальник особого.

В комнату входит В а с и н. Он в сапогах и в кителе старого образца, с кожаными футбольными пуговицами. На плечах у него шинель с двумя полевыми шпалами.

ВАСИН. Товарищ капитан, португез у вас есть?

САФОНОВ. Что? Есть, есть португез, найдем. (Подходит к Васину, берет его за плечовицу, радостно.) Ага, помню. Это в тысяча девятьсот двадцать пятом году такие в армии носили; поминишь, Панин? С такими пуговицами. Да?

ВАСИН. Совершенно верно.

САФОНОВ. Хорошие пуговицы.

Из другой комнаты выходит В а л я в галифе капитана, в сапогах, закутанная в полушубок, крепко прижимая его руками к груди.

ВАЛЯ. Ох, как тепло, Шурка, в капитанском полушубке. Прямо мехом к телу... Хорошо. (Замечив Сафонову.) Спасибо, товарищ капитан. (Пауза.)

ИЛЬИН (входя). Капитан, к аппарату.

САФОНОВ. Пойдем, Александр Васильевич; пойдем, начальник особого. (Выходит.)

ВАЛЯ. А я их не заметила. Ну, ничего. Он и правда, знаешь, какой теплый. А я замерзала... вода, знаешь, даже льдинки в ней. Еще доплыла.

ШУРА. А он тут переживал.

ВАЛН. Кто это он?

ШУРА. Капитан.

ВАЛЯ. Это почему же?

ШУРА. Не знаю. Может, ты знаешь?

ВАЛЯ. Нет. (Пауза.) Все ты врешь, Шурка.

ШУРА. Ей-богу.

ВАЛЯ. Ой, холодно. (Поежливается.) Вот даже в полушубке, а все-таки холодно. А знаешь, Шура, я думаю, наверно, мне скоро опять идти.

ШУРА. Да ну?

ВАЛЯ. Наверно.

ШУРА. Неужели капитан тебя опять пошлет? Я просилась, а он не велит. Почему?

ВАЛЯ. Потому, что я здешняя. Вот и все. А ты не здешняя.

ШУРА. Опять тебя. А сам переживает. (Пауза.) Я на него иногда гляжу, — а у него глаза озорные, даже страшно. Он, наверно, до войны озорник был. Беда для баб.

ВАЛЯ. Он некрасивый.

ШУРА. Это ничего, что некрасивый. А все равно, озорник был, я знаю. А сейчас притих. Он что тебе, не нравится?

ВАЛЯ. Нет.

ШУРА. А когда поправится?

ВАЛЯ. После войны.

ШУРА. А война, она, знаешь, какая будет?

ВАЛЯ. Какая?

ШУРА. А вдруг длинная, предлинная. Нельзя после войны. Не скоро.

ВАЛЯ. Ничего, я терпеливая.

ШУРА. А я нет.

Молчание. Входят Ильин и Козловский, одетый в рваное штатское платье.

ИЛЬИН. Где капитан?

ВАЛЯ. В той комнате.

ИЛЬИН (Козловскому). Садитесь. Замерзли? Водки хотите?

КОЗЛОВСКИЙ. Не откажусь.

ИЛЬИН. Шура, налей водки товарищу.

Шура наливает в жестяную кружку водки. Козловский пьет.

КОЗЛОВСКИЙ. Ну, вот. А то прямо из воды — и еще ведут тебя через город.

ИЛЬИН. А вы что же думали? Сразу: переправился — полное доверие, да?

КОЗЛОВСКИЙ. Нет, я не думал, но все же... Немцы-то стреляли по мне. Довольно наглядно было. Как по-вашему?..

ИЛЬИН. Что верно, то верно. Потому и водки даем, что наглядно.

Входит Сафонов.

Товарищ капитан. Вот переправился с той стороны, от немцев.

САФОНОВ (подходя к Козловскому). Здорово! (Пожимает ему руку.) Откуда идешь?

КОЗЛОВСКИЙ. Из-под Николаева пробираюсь.

САФОНОВ. Так. Чего же это ты? Уже лиман перешел, а потом назад, к нам?

КОЗЛОВСКИЙ. Я узнал в городе, что тут, на поселке, еще наши, — хоть в окружении, да все-таки наши. Я и подумал: чем дальше идти, дойдешь ли — нет ли, а тут перешлы, и готово.

САФОНОВ. Документов, небось, нет?

КОЗЛОВСКИЙ. Есть.

САФОНОВ. Ишь ты. С документами.

КОЗЛОВСКИЙ. Девушки, у вас ножницы нет?

ШУРА. Зачем?

КОЗЛОВСКИЙ. Вот, пороть нужно рукав.

Валя подходит к нему, помогает распороть рукав.

Партбилет без корочки, конечно. Но главное сохранилось, верно?

САФОНОВ (рассматривая вымокший партбилет). Верно. Какое звание-то?

КОЗЛОВСКИЙ. Младший политрук Василенко, Иван Федорович.

САФОНОВ. Тезки, значит. Что, замерз?

КОЗЛОВСКИЙ. Замерз.

САФОНОВ. Сопрели тебя?

КОЗЛОВСКИЙ. Сопрели.

САФОНОВ. Это пачет воды у нас плохо, а водка — это у нас есть. Только, знаешь, такая жажда бывает, что без воды и водки пить не хочется. Ну, по случаю спасения придется тебе все-таки стакан чаю сварить. Шура, а Шура?

ШУРА. Сейчас.

САФОНОВ. Ты, давай, сейчас иди спи. Хочешь?

КОЗЛОВСКИЙ. Хочу.

САФОНОВ. Там моя шинель лежит. На ней устройся. А потом мы тебе проверку сделаем и к месту определим. Мне каждый человек нужен. Я тебе отпуск по случаю твоих переживаний не могу дать. Понятно?

КОЗЛОВСКИЙ. Понятно.

САФОНОВ. Иди. Она тебе чай туда принесет. (Похлопывая по плечу, провожает в другую комнату.)

ВАЛЯ (что-то мучительно вспоминая). Вот не видала я его. Не видала, а голос слыжала. Где я могла его голос слыжать?

САФОНОВ. Голос слыжала. Фантазия одна. Что он, Шаляпин, что ли, чтобы его по голосу запоминать?

ВАЛЯ. Нет, я слышала, Иван Никитич.

САФОНОВ. Опять свое. Ты чего бегаешь? Тебе тоже спать надо. Ясно?

ВАЛЯ. Ясно.

САФОНОВ. Ну, и иди, пожалуйста. А то: голос слыжала. Увидала — интересный военный, конечно, познакомиться сразу захотелось. «Где-то я вас встречала, да где-то я ваш голос слыжала...» Ну, это я шучу, конечно. Ты, главное, спать иди, вот что.

Валя и Шура выходят.

САФОНОВ (Ильину). Панин ушел, что ли?

ИЛЬИН. Нет, здесь.

САФОНОВ. Ты ему скажи, чтобы он потом зашел с этим, договорим. Человек этот, Василенко, вроде человек хороший. Я, конечно, с радостью. Но все-таки пусть поговорит, чтоб порядок был. Что меня волнует, Ильин, это меня то волнует, что где Глоба. Дошел ли Глоба до наших войск или не дошел Глоба, — это меня больше всего волнует. Потому что помирать я готов, но помирать меня интересует со смыслом, а без смысла помирать меня не интересует. Ну, пошли. (Выходит. В двери остаивается.) Вернись, скажи Александру Васильевичу, чтобы с нами шел.

Ильин пересекает сцену, заходит в одну из комнат. Из комнаты Сафонова выходит Козловский. Шинель внакидку, в руках бумажка,

приготовленная для закурки. Из двери выходит Ильин, проходит через комнату, вслед за ним неторопливо выходит Васин.

КОЗЛОВСКИЙ. Товарищ майор, разрешите обратиться?

ВАСИН. Да?

КОЗЛОВСКИЙ (вглядываясь в него). Только что из окружения. Закурить нет ли, товарищ майор?

Васин, достав баночку, аккуратно насыпает ему махорки.

КОЗЛОВСКИЙ (испытующе глядя на него). Товарищ майор, я вас где-то видал, по-моему.

ВАСИН (спокойно). А я вас нет. Простите, ваше звание?

КОЗЛОВСКИЙ. Василенко, младший политрук.

ВАСИН. А я вас нет, не видал, товарищ младший политрук. (Пауза.)  
Огонь у вас есть?

КОЗЛОВСКИЙ. Спасибо. Есть.

Васин прячет коробку и неторопливо выходит. Молчание.

Один на сцене. После паузы, удивленно присвистнув:

Дядя, а?

(Темнота.)

Конец второй картины

### Картина третья

Обстановка второй картины. На сцене загорается свет. На сцене Шура.

У нее опухшие, заплаканные глаза.

ПАНИН (входит). Почему глаза заплаканные?

ШУРА. Ничего. (Плача.) Если бы вы знали, как мне Ильина жалко! Так жалко. (Плачет.)

ПАНИН. Шура!

Шура плачет; не отвечая, уходит в другую комнату.

ВАЛЯ (входит). Здравствуйте, товарищ Панин.

ПАНИН. Здравствуйте, Валечка.

ВАЛЯ. Ох, дела! Сейчас ребятам патроны возила. Как начали строчить, мою машинку поранили всю, прямо жалко. А меня — нет.

ПАНИН. Что, совсем машинку?

ВАЛЯ. Нет, ходит. Я ей говорю: отправляйся на ремонт. А она говорит: разрешите, товарищ водитель, остаться в строю. Я говорю: ну, разрешаю. Так она и осталась. Храбрая у меня машина.

ПАНИН. С Ильиным утром вы ездили?

ВАЛЯ. Ага. И, главное, знаете, я ему говорю: «Дайте я вас еще подвезу, мы быстро проскочим». А он говорит: «Нет, тебе дальше нельзя, я пешком пойду». Ну, я пошумела, а потом осталась, — приказание! А если бы на машине, все в порядке было бы. Жалко мне его, товарищ Панин.

ПАНИН. Что же делать, Валечка, без этого не бывает и, главное, быть не может.



ВАЛЯ. Я ничего, а вот Шура — видели, наверное!

ПАНИН. Видел.

ВАЛЯ (почти шопотом, доверительно). Вы знаете, они ведь уже сговорились обо всем с нею, — что там после войны будет, неизвестно. Они тридцать первого вечером, когда тихо, уже свадьбу решили сделать, а вот сегодня, тридцатое — и убили его. Вы представьте себе, товарищ Панин, как это грустно. Вот она и плачет все.

ПАНИН (внимательно глядя на нее). А ведь это все неправда, Валечка.

ВАЛЯ. Что неправда?

ПАНИН. Да вот все, что вы говорите: свадьба... Тридцать первого. Просто так красивее, вот вы и придумали. И грустнее тоже.

ВАЛЯ. А разве это хуже, если красивее?

ПАНИН. Нет, лучше.

ВАЛЯ. Его и так жалко, потому что он, правда, хороший был. А так вот, если... так совсем жалко, до слез. У него, может быть, жена где-нибудь... Она, может, только через полгода узнает, а нам над этим сейчас ломаться хочется.

ПАНИН (задумчиво). Да, жена через год узнает. Это вы хорошо придумали.

ВАЛЯ. Правда? Вы не смеетесь?

ПАНИН. Нет не смеюсь. (Пауза.) Слушайте, Валечка, вы умеете пистолеты разбирать, а?

ВАЛЯ. Умею.

ПАНИН. Вы же шофер, вы все умеете. Сделайте мне одолжение, разберите его, а я его тряпочкой вытру. А то, вы знаете, что вчера случилось? Я ночью за свободой был. Там немножко любознателься панин. Ну, я же теперь начальник особого отдела. Я эту штуку в руки взял и пошел.

ВАЛЯ. Я слышала. Мне Иван Никитич говорил.

ПАНИН. Это он вам говорил, а самое главное, наверное, не сказал. Но мне потом лейтенант подходит и говорит: «Вы, товарищ комиссар, кому-нибудь прикажите ваш пистолет почистить, а то у вас в дуле набилось — не выстрелит».

ВАЛЯ (смеясь, берет пистолет). А мне про вас что говорили!

ПАНИН. Что?

ВАЛЯ. А мне говорили, что вы раньше в кобуре вместо пистолета одеколон послали, и щетку, и зубной порошок. Это правда?

ПАНИН. Правда. Это очень удобно.

Входит Козловский.

КОЗЛОВСКИЙ. Вы меня вызывали?

ПАНИН (тихо Вале). Вы его там, в уголке, почистите сами, а потом мы с вами поедem.

Валя отходит в угол, чистит пистолет.

ПАНИН. Да, вызывал.

КОЗЛОВСКИЙ. Позвольте узнать, зачем, а то ведь я с передовых приехал.

ПАНИН. Ничего. Я должен вам заметить, что в следующий раз, если вы произведете такой самовольный расстрел, я вас судить буду.

КОЗЛОВСКИЙ. Была такая обстановка, что один трус мог увлечь за собой всех, и мне пришлось...

ПАНИН. Ложь! У вас в роте не было такой обстановки. Вы не ребенок. Вы должны знать, когда нужно расстрелять на месте, а когда судить.

КОЗЛОВСКИЙ. Товарищ Панин, да все равно же... (Тихо.) Между нами говоря, конец... Где тут суды разводить! И я погибну и вы!

ПАНИН. Может быть, и вы погибнете и я, но это не при чем. Пока здесь есть армия и есть закон. Ясно вам это?

КОЗЛОВСКИЙ. Ясно.

ПАНИН. И бросьте мне эти разговоры: ах, была — не была, все равно пропасть. Это не храбрость — это разложение.

КОЗЛОВСКИЙ. Да я сам готов двадцать раз под пули!

ПАНИН. Возможно, но мне до этого дела нет. Все! Идите!

Козловский выходит.

Ну, как, Вальечка, собрались?

ВАЛЯ. Сейчас. Два, два — вот и все. Ой, ну скажите, товарищ Панин, ну где я раньше слышала его голос?

ПАНИН. Да чей голос?

ВАЛЯ. Василенко.

ПАНИН. Не знаю, Вальечка, откуда ж мне знать. Поехали! Только давайте договоримся так: где приказал стоять, там и стойте. За мной не ездить.

ВАЛЯ. Есть за вами не ездить, товарищ комиссар!

ПАНИН. Ну, то-то. А то я человек штатский, приказывать не умею, так я уж заранее на вас накричать решил. Чтоб с самого начала боялись. (Уходит.)

Из соседней комнаты выходят Сафонов и Васин.

САФОНОВ. В третью роту? Ну, что же, иди. Только ты, Александр Васильевич, там не очень. Понятно?

ВАСИН. Нет непонятно. Я выполняю свой долг. А если... Что ж, другим потом легче вперед будет идти.

САФОНОВ. Не хочу я этого от тебя слышать. Не другие, а мы еще с тобой вперед пойдем. Сталин что сказал? Сказал, что еще пойдем мы вперед. Пойдем, и все тут! (Задумчиво.) Сталин... И, Александр Васильевич, тому иногда не верю, другому иногда не верю, а ему всегда и везде верю. Я его речь по радио когда слушал, у меня контузия еще не прошла, слова в ушах мешались, но и вместо них все равно для себя его слова слышал: «Стой, Сафонов, и ни шагу назад! Умри, а стой! Дерись, а стой! Десять раз прими, а стой!» — Вот, что я слышал, вот, что он лично мне говорил.

ВАСИН. Фантазер вы, Иван Никитич.

САФОНОВ. Конечно, а как же? И ты тоже фантазер. Мы все, русские, фантазеры. От этого воюем смелей. Но смелость смелостью, а все-таки...

ВАСИН. Ничего. Меня, милый, в ту германскую войну шесть раз дырявили, а в эту еще ни разу. Так что у меня еще шесть раз вперед, а все жив буду.

САФОНОВ. Вот это верно. Ты, Александр Васильевич...

ТЕЛЕГРАФИСТ (из другой комнаты). Товарищ капитан, вторая рота на проводе.

САФОНОВ. Иду.

Сафонов выходит. Входит Козловский.

КОЗЛОВСКИЙ. Здравствуйте, товарищ майор.

ВАСИН. Здравствуйте, товарищ младший политрук.

КОЗЛОВСКИЙ. А где капитан?

ВАСИН. Сейчас придет. (Пауза.)

КОЗЛОВСКИЙ. Так где-то я вас все-таки видел, товарищ майор.

ВАСИН. Я уже вам говорил, что не помню, чтобы я вас видел.

КОЗЛОВСКИЙ. Но, может быть, вы меня не видели, а я вас видел?

ВАСИН. Может быть.

КОЗЛОВСКИЙ. Вы в Николаеве не жили?

ВАСИН. Жил с двадцать третьего по двадцать девятый год.

КОЗЛОВСКИЙ. Может быть, я вас там видел?

ВАСИН. Может быть, если вы там жили. Разрешите узнать, зачем явиться?

КОЗЛОВСКИЙ. За боеприпасами. Но это ведь к капитану.

ВАСИН. Нет, можете и ко мне. Вшиточных?

КОЗЛОВСКИЙ. Да.

ВАСИН. Двести штук дам. (Пишет.) Получите у Семененко.

КОЗЛОВСКИЙ (беря бумажку). А подпись капитана не нужна?

ВАСИН. Нет.

КОЗЛОВСКИЙ. Хотя ведь вы, в сущности, старший начальник.

ВАСИН (сердито). Старший начальник? Капитан Сафонов — начальник гарнизона, а я — его начальник штаба; и это вам должно быть известно.

КОЗЛОВСКИЙ. Конечно, но я так сказал, потому что меня удивляет несоответствие знаков различия...

ВАСИН (вставая). А меня удивляет несоответствие ваших знаков различия и ваших мыслей, товарищ младший политрук, и несоответствие количества высказанных вами слов о количестве дел, которые вы делаете. И несоответствие этого разговора с той обстановкой, какая у нас есть.

КОЗЛОВСКИЙ (присаживаясь). Ну, что это вы, товарищ майор, я же не хотел, что вы подумали?..

ВАСИН. Встать, когда с вами разговаривает старший!

Козловский встает.

Можете идти. Вы свободны.

САФОНОВ (входя). Что тут за шум? О чем спор идет?

ВАСИН. Тут спора не может быть, товарищ капитан. Я сделал замечание младшему политруку, и все. Разрешите отправиться в третью роту?

САФОНОВ. Да, да, Александр Васильевич, иди.

Васин выходит.

Ты, что это со стариком вздоришь? Ты мне не смей.

КОЗЛОВСКИЙ. Да я, Иван Инжигич, с ним по-простецки, по-нашему, а он, в общем... интеллигенция.

САФОНОВ. Что интеллигенция? Ты этого даже и слова не понимаешь. Что ты — некультурный, сукин сын, так этим гордишься? А, между прочим, если тебя, дурака, пять лет в университете обтесать, так ты тоже будешь интеллигенция, вот и вся разнища. А если не обтесать, так не будешь. Старика обижать никому не позволю! Ишь ты: «по-простецки», «по-нашему»... А он, что же, не наш, что ли? Ты еще под столом ползал, когда он за то, что немцев бил, три «георгия» имел, понятно?

КОЗЛОВСКИЙ. Понятно.

САФОНОВ. Зачем пришел?

КОЗЛОВСКИЙ. За патронами. Да мало дал он. Вот.

САФОНОВ. И смотреть не хочу. Раз мой начальник штаба тебе столько дал, — значит, столько мот. Ты мне тут это не заводи: сначала к одному, потом к другому. Иди.

Козловский выходит. За дверью шум, голос Глобы.

ГЛОБА. Да что ты меня не пускаешь? Вот, тоже!

Глоба в штатском платье. За ним красноармеец с винтовкой.

КРАСНОАРМЕЕЦ. Товарищ капитан, к вам. Разрешите пустить?

САФОНОВ. Ну, конечно, пускай, ведь это же Глоба!

ГЛОБА. Он самый.

Сафонов обнимает Глобу, затем, отойдя, щиплет его за руку.

САФОНОВ. Ой, Глоба, да ты ли это?

ГЛОБА. Я.

САФОНОВ. Живой?

ГЛОБА. Живой.

САФОНОВ. А, может, не ты? Может, дух твой?

ГЛОБА. Ну, какой же там дух! На пять пудов разве дух бывает?

САФОНОВ. Это верно. Убедил. Ну, садись. (Кричит.) Шура! Ты покушать дай. И воды там из бидончика стакан налей. Глоба пришел, ему порция приличается.

ШУРА (показываясь в дверях, смотрит на Глобу). Здравствуйте.

ГЛОБА. Здравствуй, Шура.

САФОНОВ. Ну, что же ты, радуйся, — живой пришел!

ГЛОБА (махнув рукой). Они на меня не радуются. Они меня считают за нехорошего человека. Я им откровенностью своей не нравлюсь.

САФОНОВ. Это кому же шм-то?

ГЛОБА. Вот Шура хотя бы, и вообще всем им, женщинам, сослуживо ихнему всему.

САФОНОВ. Был?

ГЛОБА. Да.

САФОНОВ. Что же слышно?

ГЛОБА. Слышно то, что наши наступать собираются.

САФОНОВ. Да? Может, и нас отобьют, Глоба, а?

ГЛОБА. Может быть.

САФОНОВ (закрыл в руках глаза). Эх, Глоба. Иногда так захочется, чтобы я живой был, и чтобы другие некоторые, которые... тут кругом, в общем, чтобы они живы были. Да. Так, говоришь, наступать будут?

ГЛОБА. Возможно. Я у генерала был, генерал тебе привет передавал. Говорит: «Как же, знало, — говорит, — знаю такого — Сафонова».

САФОНОВ. Не мог он мне привет передавать. Нет у меня знакомых генералов.

ГЛОБА. А он говорит, знает тебя.

САФОНОВ. А как фамилия-то?

ГЛОБА. Назвался Лукоинным.

САФОНОВ. Лукоинным? Неужто уже генерал?

ГЛОБА. А по всей форме генерал.

САФОНОВ. Скажи, пожалуйста. Ну, Глоба, это порядок будет. Этот генерал дойдет до нас. У него характер такой — непременно дойдет.

ГЛОБА. Вот и мне тоже вроде как показалося.

САФОНОВ. Как ты им доложил?

ГЛОБА. Как приказано, чтобы выручали сказал, но что если против плана это идет, то мы выручки не просим, сказал. Ну, и что все-таки жить нам, конечно, хочется, — это тоже сказал.

САФОНОВ. И это сказал?

ГЛОБА. И это сказал. Да и они сами, в общем, представляют себе это чувство.

САФОНОВ. Что приказывают нам?

ГЛОБА. Конечно, пакет с сургучом я нести не мог. Поскольку я шел как бегущий от красных бывший кулак, то мне, конечно, пакет с сургучом был ни к чему при разговоре с немцами. Но устный приказ дан такой: держись, держись и держись! А что и как — это, пришлю, говорит, делегата связи. На самолете.

САФОНОВ. А тебе больше ничего?

ГЛОБА. Ничего. Я думало, Иван Никитич, как и что — это еще там, где выше, решают. Этот генерал, твой знакомый, нам с тобой и мозги шутать не хотел. Говорит: держись! А еще говорил он, что — передай Сафонову, чтоб Халхин-Гол вспомнил, как там дрались, тогда все будет в порядке.

САФОНОВ. Тяжело добираться?

ГЛОБА. Да ведь я такой человек, где как: где — храбростью, где — скромностью, где просто на честное слово. Меня и то генерал отпустить не хотел, говорит: «Сиди тут, Глоба». А я говорю: «Характер мне не позволяет. Там, — говорю, — ребята будут страдать, ожидая делегата вашего». Он говорит: «Я скоро приплету». А я говорю: «Так он же на самолете, а я на своих на двоих, это быстрее». Что тут слышно, Иван Никитич?

САФОНОВ. Ну, что, как ты ушел, в ту ночь Крохалев от ран помер. Петров тоже. Сегодня утром Ильина убили. Так что я теперь и за командира и за комиссара. В общем, много кого уже нету. Ну, ладно, это лишнее.

КРАСНОАРМЕЕЦ (он пять открывает дверь). Товарищ капитан, к вам тут гражданский один.

САФОНОВ. Ну, давай. (Глобе.) Я же начальник гарнизона, у меня тут все дела. Давай гражданского.

Входит старик.

СТАРИК. У меня просьба к вам, товарищ командир.

САФОНОВ. Просьба? (Морщится.) Эх, мне просьбы эти...

СТАРИК. И не за себя только, а еще за двух человек.

САФОНОВ. Чего же вы от меня хотите? Нет у меня ничего, так что и просить у меня — это лишнее. Если вы насчет еды, то, сколько могу, даю. Всем поровну — как мне, так и вам.

СТАРИК. Нет, нам не то.

САФОНОВ. Если насчет воды, то опять же — вода, как мне, так и вам. Старый человек, уважаю тебя, но стакан на душу — это уж всем.

СТАРИК. Нам не воды.

САФОНОВ. А чего же вам?

СТАРИК. Нам бы трехлинеечки.

САФОНОВ. Это зачем же вам трехлинеечки?

СТАРИК. Известно, зачем.

САФОНОВ. Ты, значит, папаша, это за троих просишь? Это, значит, в твоих годах все? Приятели, что ли?

СТАРИК. Приятели.

САФОНОВ (Глобе). Видал? (Старику.) А вы что, в армии были, что ли, папаша?

СТАРИК. Все были, кто в германскую, кто в японскую. Я вот в японскую был. Мне в ту германскую уже года вышли. Ну, а в эту вроде как опять обратно пришли. Ну, как же насчет трехлинеечек?

САФОНОВ (вставая и подходя к нему). Ты понимаешь, папаша, что значит, если ты, чтобы человек плакал, сделать можешь? Я уж огонь, воды и медные трубы прошел. Я в шоферах таксомоторщиком десять лет был. Ты знаешь, что это такое? Это дело такое — тут плакать нельзя. А ты меня в слезу вогнал. (Вытирает глаза.) Дам я тебе, папаша, трехлинеечку. Только ты приходи вечером, когда у меня тут начальник штаба будет, тоже старичок, вроде тебя. Вы с ним сговоритесь, по-стариковски. Или, пожалуйста, в восемь часов приходи.

Старик выходит.

Да, значит, такое дело. Неизвестно еще, что и как, куда наши ударят. Ну, что же, придется тогда, что надумали, сделать. (Подходит к Глобе, закрывает дверь, тихо.) А надумали мы с теми, кто на немецкой части города сидит, мостик у них через лиман в тылу рвануть. Не миновать мне завтра ночью Валою опять туда посылать.

ГЛОБА. Жалко?

САФОНОВ. Мне всех жалко.

ГЛОБА. Да... А я на это просто смотрю. Смерть перед глазами. Счастье жизни нужно человеку? Нужно. Ты его видишь? Ну, и возьми его. Пока жив. Она девушка добрая. Вот, глядишь, и вышло бы все хорошо.

САФОНОВ. Отстань. Боюсь я за нее, вот и все.

ГЛОБА. А за себя не боишься?

САФОНОВ. За себя? Конечно. Но только мы с тобой, Глоба, другое дело... Мы себе не можем позволить бояться. Потому что если я себе раз позволю, то и другие позволят. А потом я уже не позволю, а они опять позволят. Мы с тобой, значит, ни разу позволить бояться себе не можем. Разве что ночью, под одеялом. Но одеял у нас с тобой нет, так что это исключается.

САФОНОВ. Что, привезла Палина?

ВАЛЯ. Нет, он там остался.

САФОНОВ. Где, там?

ВАЛЯ. Там, в первой фоте. Ух, устала. (Снимает рукавицы, садится.)

САФОНОВ (Глобе). Ну, что ты будешь делать? Как назначил его начальником особого отдела, так он все показывает людям, что не боится. А это, между прочим, все и так знают.

ВАЛЯ. Да, я уж его удерживала, удерживала.

САФОНОВ. Уж молчи. Удерживала она! Я знаю, как ты удерживаешь. Сама лезет не знаю куда, потом рассказывает — удерживала она!

ЛЕЙТЕНАНТ (в дверях). Товарищ капитан, к телефону.

Сафонов выходит.

ГЛОБА (Вале). Как живете, Валентина Николаевна?

ВАЛЯ. Как все, товарищ Глоба. Как все, так и я.

ГЛОБА. А как все живут?

ВАЛЯ. А что как.

ГЛОБА. Эх, времена пошли. Женщины вдруг на фронте. Я бы лично вас берог, Валечка. И вас, и вообще. Пусть бы вы нам для радости жизни живыми всегда показывались.

ВАЛЯ. У нас, что же, другого дела нет, как вам показываться для вашей радости жизни?

ГЛОБА. А то как же? Для чего создается женщина? Женщина создается для украшения жизни. Война — дело серьезное. Во время ее жизнь украшать больше, чем когда-нибудь, потому что сегодня она — жизнь, а завтра она — пар, ничего. Так что напоследок ее, жизнь-то, даже очень приятно украсить.

ВАЛЯ. Так что же, по-вашему, жизнь — елка, что ли, игрушки на нее вешать?

ГЛОБА. А хотя бы и елка. Вполне возможно. Я не про тебя говорю, ты девушка серьезная, тебе даже со мной разговаривать скучно. Но женщина, все-таки, — это радость жизни.

ВАЛЯ. Не люблю вас за эти ваши слова.

ГЛОБА. А меня любить не обязательно.

САФОНОВ (входя). Что за шум?

ГЛОБА. У нас тут с Валентиной Николаевной снова несогласие насчет роли женщины в текущий момент. До свидания, Иван Никитич, я в госпиталь пойду. И, как всегда, в медицинской профессии будут меня ждать неожиданности. Семь дней меня не было, и кто, я ожидал, будет живой, — умер, а кто, я ожидал, умрет, — непременно живой. Вот увидишь. (Входит.)

ВАЛЯ. Устали?

САФОНОВ. Ну да, устал. Мне же думать надо. Это же, Валька, Валечка, колокольчик ты мой степной, — это тебе не баранку крутить.

ВАЛЯ. Ну, вот, стали начальником, так уж — баранку крутить... смеется.  
САФОНОВ. А как же? С высоты моего положения. (Усмехается.) Хотя и баранку надо с соображением крутить, конечно. Не то, что ты вчера.

ВАЛЯ. А что?

САФОНОВ. А то, что, когда я с тобой ехал, сцепление рвала так, у меня вся душа страдала.

ВАЛЯ. Я не рвала. Оно отрегулировано плохо. Я ехала правильно.

САФОНОВ. Исправительно. И на ухабах педаля не выжимала.

ВАЛЯ. Выжимала.

САФОНОВ. Нет, не выжимала. Ты мне очки не втирай. Ты не думай, что если я с тобой тихий, так мне можно очки втирать.

ВАЛЯ. Я ничего про вас не думаю. Я только говорю, что выжимала.

САФОНОВ. Ну, бог с тобой. Выжимала, выжимала... Только глаза мне такие не делай, а то я испугаюсь, убегу.

ВАЛЯ. Я вас как возжу, так и возжу. Я над машиной начальник, раз я за баранкой. Понятно?

САФОНОВ. Понятно.

ВАЛЯ. Поспали бы. Ведь уже трое суток не спите.

САФОНОВ. А ты откуда знаешь? Ты сама только вчера от немцев вернулась.

ВАЛЯ. Знаю. Спрашивала.

САФОНОВ. Спрашивала?

ВАЛЯ. Так, между прочим спрашивала.

САФОНОВ. Да... (Пауза.) Тебе сегодня ночью, или завтра в крайнем случае, опять к немцам идти придется.

ВАЛЯ. Хорошо.

САФОНОВ. Чего же хорошего? Ничего тут хорошего. Послать мне больше никого, а то бы ты в жизнь не послал бы тебя в третий раз.

ВАЛЯ. Это почему же?

САФОНОВ. Не послал бы, да и все тут. И вообще, ты лишних слов начальству не задавай. Понятно?

ВАЛЯ. Понятно.

САФОНОВ. Придется тебе (отглянувшись на дверь) идти к Василию и сказать, что мост рвать будем, и все подробности, чего и как. Но только это заниской уже не годится. Это наизусть будешь зубрить, слово в слово.

ВАЛЯ. Хорошо.

САФОНОВ. Да уж хорошо, или не хорошо, а надо будет. Два раза ходила — в третий пойдем, потому что родина этого требует. Видишь, какие я тебе слова говорю.

ВАЛЯ. А знаете, Иван Никитич, все говорят: родина, родина... и, наверное, что-то большое представляют, когда говорят. А я — нет. У нас в Ново-Николаевке изба на краю села стоит, и около речка и две березки. Я качели на них вешала. Мне про родину говорят, а я все эти две березки вспоминаю. Может, это плохо?

САФОНОВ. Нет, хорошо.

ВАЛЯ. А как вспомню березки, около, — вспомню, — мама стоит, и брат. А брата вспомню — вспомню, как он в прошлом году в Москву уехал



учиться, как мы его провожали, — и станцию вспомню, а оттуда дорогу в Москву. И Москву вспомню. И все, все вспомню. А потом подумаю: откуда вспоминать начала? Опять с двух бережков. Так, может быть, это не хорошо? А, Иван Никитич?

САФОНОВ. Нет, это хорошо. Это мы, наверно, все так вспоминаем, каждый по-своему. (Пауза.) Ты только, как там будешь, ты матери скажи, чтобы она с немцами не очень ершилась. Она нужная нам, помимо всяких там чувств. И потом — ты ей это тоже скажи. Я ее еще увидеть надежду имею.

ВАЛЯ. Хорошо, я скажу. (Пауза.)

САФОНОВ. Да, ну и сама тоже. Осторожней, в общем. Понятно?

ВАЛЯ. Понятно. (Пауза.)

САФОНОВ. Сказал бы я тебе еще кое-что, да не стоит. Потом, когда опять придем.

ВАЛЯ. А если не приду?

САФОНОВ. А если не придешь, значит, все равно, не к чему говорить. (Накрывшись шинелью, укладывается на диване. Лежит, открыв глаза.)

ВАЛЯ. Ну, и засните. Хорошо будет.

САФОНОВ. Совсем спать отвык. Не могу спать.

ВАЛЯ. А вы попробуйте. Я вам песню спою.

САФОНОВ. Какую?

ВАЛЯ. Какую детям поют — колыбельную... (Залевает: «Спи, младенец мой прекрасный...») Вы бы уже побрились, что ли. А то какой же это ребенок, с бородой.

САФОНОВ. Хорошо, вот ты вернешься, я побреюсь.

ВАЛЯ. А если не вернусь, так и бриться не будете? (Молчание.) Придется уж вернуться, раз так.

САФОНОВ. Не могу спать.

ВАЛЯ. И песня не помогает?

САФОНОВ. Не помогает. (Пауза. Сафонов закрывает глаза и мгновенно засыпает.)

ВАЛЯ (не замечая этого). Знаете, Иван Никитич, а я вот не боюсь идти. В первый раз боялась, а теперь нет. Мне кажется, что приду обратно, чтобы вы побрились. А вы будете ждать. И все будут. Что же вы молчите?

Замечает, что Сафонов спит.

Вот и заснул. А говорил, спать не могу. (Тянется к нему. Ей, видимо, очень хочется разбудить его. Преодолевая это желание и уже не глядя на него, прислонившись к столу, тихо дошепает: «Провожать тебя он выйдет, ты махнешь платком...»)

Молчание.

Конец третьей картины и первого действия

## Картина четвертая

У Харитоновы. Старый добротный дом частного практикующего провинциального врача. Большая столовая, очевидно служащая общей комнатой. Несколько дверей. Два стальных шкафа — один с посудой, другой белый, аптечного вида. На сцене за чайным столом Розенберг и Вернер.

Вернер, прихлебывая из рюмки вино, зубрит что-то вполголоса.

РОЗЕНБЕРГ (открыв дорожный, на «молнии», чемоданчик, раскладывает перед собой разные сувениры: фотографии, документы). Что, Вернер, все практикуетесь в русском языке?

ВЕРНЕР. Да, практикуюсь.

РОЗЕНБЕРГ. Это хорошо. Нам тут долго придется быть.

ВЕРНЕР. По-вашему, война...

РОЗЕНБЕРГ. Война — нет, недолго, а вот после войны. Завоеватель может презирать народ, им покоренный, но он должен знать его язык, если бы даже ему пришлось лаять по-собачьи. В чужой стране никому нельзя верить, Вернер.

ВЕРНЕР. Но вы же верите Харитонову?

РОЗЕНБЕРГ. Да, потому что он мерзавец. И если русские придут, они его повесят; то есть нет, расстреляют. Они не вешают. Но его жене я уже не верю. Могут притти и не расстрелять. И уже по одному этому я ей не верю. (Продолжает разбирать карточки.) Сегодня Краузе подарил мне еще целый чемодан всего этого. Не смотрите так. Да, да, я люблю рыться в этом.

ВЕРНЕР. У вас привычки старьевщика.

РОЗЕНБЕРГ. Ничего. По этим бумажкам и фотографиям я изучаю нравы. Иногда при этом обнаруживаются любопытные вещи. Вот, например, удостоверение личности младшего лейтенанта Харитонova Н. С. Н. С. — замечаете? Оно разорвано нулей. Очевидно, его владелец убит. Но меня интересует не это. Меня интересуют инициалы Н. С., потому что нашего хозяина дома зовут С. А. Трудно предположить, но вдруг предположим, что это его сын. А у него сын в армии, это мне известно. Что мы можем из этого извлечь? Очень многое. Во-первых, если даже это просто совпадение, то на нем можно построить интересный психологический этюд: узнавание, неузнавание, ошибка, горе матери, и так далее. Все это входит в мою систему изучения нравов. Да, с чего же я начал?

ВЕРНЕР. Вы начали с жены Харитонova.

ХАРИТОНОВ (открывая дверь). Вы меня звали?

РОЗЕНБЕРГ. Нет, но раз вы уже вошли, — откуда у вас жена, доктор?

ХАРИТОНОВ. Из Вологды.

РОЗЕНБЕРГ. Вот видите, Вернер, она из Вологды, а мы еще не взяли Вологду. (Харитонову.) У нее есть родные?

ХАРИТОНОВ (растерянно). Есть немножко, есть.

РОЗЕНБЕРГ. Что значит — немножко?

ХАРИТОНОВ. Сестры.

РОЗЕНБЕРГ. Сестры, — это значит, по-вашему, немножко? Но у сестер ведь есть мужья? И, быть может, они, не в пример вам, русские люди, а?

ХАРИТОНОВ. Я не понимаю вас, господин капитан.

РОЗЕНБЕРГ. Вы меня прекрасно понимаете. Скажите вашей жене, чтобы она принесла нам чаю в самоваре.

(Харитонов уходит.)

Вот видите, Вернер, у ее сестер есть мужья. Может быть, один из них инженер, другой майор, это уж я не знаю. И, может быть, этот майор завтра окажется здесь. А она — сестра его жены, и она скорее позволит ему убить нас, чем нам — его. Это ведь, в сущности, очень просто.

Входит Мария Николаевна с чайной посудой.

Скажите, Мария Николаевна, у ваших сестер есть мужья?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Да, господин капитан.

РОЗЕНБЕРГ. Они русские?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Да. Вы будете пить молоко?

РОЗЕНБЕРГ. Нет. Вы не завидуете им, что у них русские мужья, а у вас неизвестно какой национальности?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. У меня тоже русский.

РОЗЕНБЕРГ. Я не об этом говорю. Не притворяйтесь, что вы меня не понимаете.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Может быть,нести вам самовар?

РОЗЕНБЕРГ (вставая). Несите. Мы сейчас придем.

Мария Николаевна уходит.

(Вернеру.) И после этого вы думаете, что я могу ей верить?

Выходит в свою комнату. Входит Мария Николаевна. За ней Харитонов. На улице несколько выстрелов. Мария Николаевна крестится.

ХАРИТОНОВ. Ну, что ты крестилась?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. За них.

ХАРИТОНОВ. За кого — за них?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. За наших.

ХАРИТОНОВ. Когда ты научишься держать язык за зубами?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Тридцать лет учусь.

ХАРИТОНОВ. Опять?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Да.

ХАРИТОНОВ (тихо). Маша, поди сюда. Ты была у Сафоновой?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Была.

ХАРИТОНОВ. Говорила все, что я велел?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Говорила. (Пауза.) Противно мне это.

ХАРИТОНОВ. Противно? А если я буду убить, тебе не будет противно?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. При чем тут ты?

ХАРИТОНОВ. Очень просто. Ты завтра же пойдешь к ней опять и упомянешь, между прочим упомянешь, что я страдаю. Понимаешь? Страдаю... Что мне надоело немцы, что я их не люблю и боюсь, что я предпочел бы от них избавиться, что я был не рад, когда меня назначили городским головой. Понимаешь?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Поняла. Только зачем тебе все это?

ХАРИТОНОВ. Затем, что это правда. Затем, что я предпочел бы сидеть весь этот месяц в подвале и не трястись за свою шкуру. Я больше чем уверен, что к этой старухе ходят... Да, да, партизаны. Немцам она все равно не скажет, что я их не люблю, а им, этим, может быть и скажет. В Херсоне уже убили городского голову. Я не хочу, чтобы они его убили здесь, потому что здесь «он» — это я.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Боже мой. Чем весь этот ужас, бросили бы все вещи и ушли, как я говорила, куда-нибудь в деревню, спрятались бы.

ХАРИТОНОВ (шипящим, злым голосом). Куда спрятались бы? А вещи? Мои вещи без меня всегда вещи, а я без моих вещей — дерьмо. Да, да, дерьмо, нуль. Понятно тебе, дура?

Кто-то стучится в сених.

Пойди открой.

Мария Николаевна выходит и сейчас же возвращается обратно. Вслед за ней Марфа Петровна — вне себя, простоволосая, со сбитым набок платком.

МАРФА ПЕТРОВНА. Изверги!

ХАРИТОНОВ. Тише.

МАРФА ПЕТРОВНА. Убили, на моих глазах убили!

ХАРИТОНОВ. Кого убили?

МАРФА ПЕТРОВНА. Таню, Таню, соседку. Я думала — чорт с тобой; но ты же доктор. Родить она собралась. Так повела к тебе. Нашла к кому! Лежит она там, у тебя под окнами.

ХАРИТОНОВ. Тише! При чем тут я?

МАРФА ПЕТРОВНА. При всем. Ты подписывал, чтобы после пяти часов не ходили, чтобы стрелять?

ХАРИТОНОВ. Не я — комендант.

МАРФА ПЕТРОВНА. Ты, ты проклятый!

На ее крик из соседней комнаты выходит и останавливается в дверях Розенберг.

РОЗЕНБЕРГ. Кто тут кричит?

МАРФА ПЕТРОВНА. Я кричу! За что женщину посреди улицы убили?

РОЗЕНБЕРГ. Кто эта женщина?

ХАРИТОНОВ. Это тут одна... Они шли ко мне. Там родила соседка у них... И вот, патруль выстрелил.

РОЗЕНБЕРГ. Да, и правильно сделал. После пяти часов хождение запрещено. Разве нет?

ХАРИТОНОВ. Да, конечно, совершенно верно.

РОЗЕНБЕРГ. Если кого-нибудь застрелили после пяти часов — женщина это или не женщина, безразлично — это правильно. А вас, за то что вы ходили после пяти часов, придется арестовать и судить.

МАРФА ПЕТРОВНА. Суди. Убей, как ее... (Наступает на него.) Так бы взяла за горло сейчас вот этими руками...

РОЗЕНБЕРГ (поворачиваясь к двери в соседнюю комнату). Вернер! Позвоните дежурному! (Спокойно.) Кажется, придется вас повесить.

МАРФА ПЕТРОВНА. Вешай!

РОЗЕНБЕРГ (Харитонову). Как ее фамилия?

ХАРИТОНОВ. Сафонова.

РОЗЕНБЕРГ. У нее, наверное, есть кто-нибудь в армии? Муж, сыновья?

ХАРИТОНОВ. Э-э. Нет. То есть, может быть, есть... я не знаю.

МАРФА ПЕТРОВНА. Есть. И муж есть, и сыновья есть. Все в армии.

РОЗЕНБЕРГ. Придется повесить!

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (вдруг бросаясь к Марфе Петровне, обнимая ее и став рядом с нею). И у меня тоже сын в армии. И меня вешайте! Я вас ненавижу. Ненавижу!

ХАРИТОНОВ. Маша, ты...

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. И тебя ненавижу! Всех вас ненавижу, мучителей! А вот мы — подружки, и сыновья у нас у обоих в армии. Да... (Рыдает.)

РОЗЕНБЕРГ. Возьмите... (Секунда колебания.) Вот эту. (На Марфу Петровну.) А эту оставьте.

ХАРИТОНОВ. Спасибо, господин капитан. Она не будет больше...

МАРФА ПЕТРОВНА. Благодарю, благодарю, Иуда, в ножки поклонись. (Солдаты хватают ее за руки. Харитонову.) Плюнула бы этому нещету в морду, да лучше тебе плюну! (Плюет в лицо ему.)

Солдаты выволакивают Марфу Петровну. Мария Николаевна, обессилив, плачет.

ХАРИТОНОВ. Господин капитан! Вы не обращайтесь внимания. Она это так... Нервная женщина. Они, правда, подружки были.

РОЗЕНБЕРГ. Ничего, доктор, я прощаю вашу жену, помня о ваших заслугах. (Говорит отчетливо, глядя на Марию Николаевну.) Я же не могу забыть ваших заслуг. Ведь вы же, как-никак, составили мне список на семнадцать коммунистов, и вчера еще на пять. Вы же мне указали местонахождение начальника милиции Гаврилова. Вы же меня предупредили, где спрятан денежный ящик вашего банка. Вы же... Впрочем, я не буду перечислять, этот перечень, кажется, расстраивает вашу жену. Она плачет, вместо того чтобы радоваться, что вы нам так помогли. Ну, ничего, успокойте ее. (Уходит в соседнюю комнату.)

Молчание.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (тихо). Это все правда?

ХАРИТОНОВ. Правда. Да, да, правда! Ты говори спасибо, что ты жива после того, что ты наделала!

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Я не хочу быть живой, мне все равно. Если бы не Коля, я хотела бы только умереть.

РОЗЕНБЕРГ (входя вместе с Вернером). Мария Николаевна, не забудьте про чай.

Мария Николаевна выходит.

РОЗЕНБЕРГ (Вернеру тихо). Сейчас мы произведем интересный психологический этюд. Еще немножко изучения правов, того самого, которое вы так не любите... Доктор!

ХАРИТОНОВ. Слушаю.

РОЗЕНБЕРГ. Я надеюсь, что вы ведь нам искренно преданы, доктор?

ХАРИТОНОВ. Искренно, господин капитан.

РОЗЕНБЕРГ. И все, кто борется против нас, — это ведь и ваши враги, доктор? Так, или не так?

ХАРИТОНОВ. Так, господин капитан.

РОЗЕНБЕРГ. Как так? Точнее.

ХАРИТОНОВ. Враги, господин капитан.

РОЗЕНБЕРГ. И когда они погибают, вы должны этому радоваться, доктор?

ХАРИТОНОВ. Да, должен, господин капитан.

РОЗЕНБЕРГ. Нет, точнее. Не «должен» — а «рад». Так ведь?

ХАРИТОНОВ. Рад, господин капитан.

РОЗЕНБЕРГ. Я надеюсь, что ваша жена сказала неправду, и ваш сын, конечно, не борется против нас?

ХАРИТОНОВ. Нет, господин капитан, к сожалению, это правда, он в армии. Я с ним давно уже в ссоре, но он в армии.

РОЗЕНБЕРГ. К вашему большому сожалению?

ХАРИТОНОВ. Да, господин капитан, к сожалению.

РОЗЕНБЕРГ. И если бы его уже не было в армии, то ваши сожаления кончились бы?

ХАРИТОНОВ. Конечно, господин капитан.

РОЗЕНБЕРГ. Подойдите сюда поближе. (Закрывая удостоверение одной рукой, оставляя только карточку.) Это лицо вам знакомо?

ХАРИТОНОВ. Николай!

РОЗЕНБЕРГ. Я вижу, знакомо. (Открывая все удостоверение.) Здесь, на этой дырке, доктор, ваши сожаления кончились. Вы можете быть довольны. Ваш сын уже не в армии. Правда, я лично не видел, но я в этом уверен. Можете уже не сожалеть.

Харитонов молчит.

Ну, как, вы рады этому, доктор?

ВЕРНЕР. Розенберг!

РОЗЕНБЕРГ (поворачиваясь к нему, холодно). Да? Одну минуту терпения. Значит, вы рады этому, господин доктор? (Резко.) Да или нет?

ХАРИТОНОВ (сдавленным голосом). Да, рад.

РОЗЕНБЕРГ (Вернеру). Ну, вот видите, Вернер, доктор рад. И мы с вами сомневались в нем совершенно напрасно. Вы можете идти, доктор. Мне все ясно. Спасибо за откровенность. Вы поистине преданный человек. Это очень редко в вашей стране, и тем более приятно.

Харитонов выходит.

ВЕРНЕР. Слушайте, зачем вся эта комедия? Если нужно расстрелять — расстреляйте, или скажите мне, если вы сами неврастеник и не умеете. Но то, что вы делаете, — это не солдатская работа.

РОЗЕНБЕРГ. У вас устарелые взгляды, Вернер. Изучение нравов входит в ваши обязанности.

ВЕРНЕР. Слушайте. Вы мне осточертели с вашим изучением нравов. Я, кажется, завтра же попрошусь в полк, чтобы больше не видеть вас с вашим

изучением правов. Я буду убивать этих русских, будь они прокляты, но без ваших идиотских предварительных разговоров, которые мне надоели.

РОЗЕНБЕРГ. Вы не будете пить чай?

ВЕРНЕР (выходя). Нет.

Харитонов входит и бессильно прислоняется к притолоке. Входит Мария Николаевна с самоваром.

ХАРИТОНОВ (тихо). Маша! Послушай, Маша!

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Что тебе?

ХАРИТОНОВ. Я хочу тебе сказать...

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Что еще ты хочешь мне сказать?

ХАРИТОНОВ. Я хочу тебе сказать... Нет, не могу. (Уходит.)

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Сейчас я принесу заварку.

РОЗЕНБЕРГ (искося смотрит на нее, держа в руке удостоверение). У вас, оказывается, был сын в армии?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Почему был? Он в армии и есть.

РОЗЕНБЕРГ. Нет, был. Или, как говорит ваш муж, — к сожалению, был. Но теперь, как говорит опять-таки ваш муж, его, к счастью, нет. Но знаете, ваш муж рад, что его нет.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Что вы говорите? Что вы говорите?

РОЗЕНБЕРГ. Нет... вы не думайте только, что это имеет какое-то прямое отношение ко мне. Я не был бы так жесток с матерью. Но ко мне случайно попал вот это. Поэтому я и говорю: «был».

Мария Николаевна сжимает в руках удостоверение, туго смотрит на него, и так, не выпуская, садится за стол. Сидит молча, оглушенная.

РОЗЕНБЕРГ (после паузы). Я бы не рискнул вам сказать, но я подумал, что вы разделяете взгляды вашего мужа, а ваш муж сказал, что он рад этому, несмотря на свои родительские чувства.

Мария Николаевна молчит.

Что же вы молчите? Да, да, он так и сказал. Доктор.

Входит Харитонов.

Доктор, ведь вы сказали, что вы рады, а?

Мария Николаевна поднимает голову, смотрит на Харитонova. Харитонов молчит.

Или вы мне сказали неправду? Вы не рады?

Харитонов молчит.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (молча кладет удостоверение и говорит механически). Сейчас я вам заварю чай.

РОЗЕНБЕРГ. Спасибо, прекрасно.

Мария Николаевна, за спиной Розенберга и Харитонova, подходит с чайником к одному шкафчику, потом к аптечному. Порывшись там, возвращается к столу.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Вот чай.

РОЗЕНБЕРГ. Пропу вас, пожалуйста. Знаете, солдатам всегда приятно, когда женская рука наливает им чай или кофе. Верно, ведь, а, доктор?

Харитонов молчит.

Что же вы молчите? Потеряли дар речи?

Мария Николаевна наливает Розенбергу чай.

Ну, доктор, может быть, вы выпьете чаю со мной, а? Вы взволнованы. Ничего. Выпейте. Вы же наш преданный друг. Я рад с вами сидеть за одним столом.

ХАРИТОНОВ. Спасибо.

РОЗЕНБЕРГ. Мария Николаевна, налейте чаю вашему мужу.

Пауза. Мария Николаевна смотрит на Харитонову, потом тем же механическим движением молча наливает ему чай.

РОЗЕНБЕРГ. Ну, доктор.

ХАРИТОНОВ. Я прошу простить, господин капитан, мне дурно... я не могу...

РОЗЕНБЕРГ. Ну, как угодно, как угодно.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (спокойно). Вам больше ничего не нужно, господин капитан?

РОЗЕНБЕРГ. Нет, спасибо. Вернер, я иду к вам! (Взяв чашку, выходит.)

Харитонов сидит на диване, опустив голову на руки. Мария Николаевна стоит у стены. Молчание.

ХАРИТОНОВ. Мама!

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Что?

ХАРИТОНОВ. Мама, я не могу так.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Оставь меня. Я не хочу тебя слушать.

ХАРИТОНОВ. Бросим все, уедем, убежим. Я боюсь их всех. Я ничего не хочу.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Поздно. Я же тебе говорила. А теперь поздно. Ты даже не знаешь, как поздно.

Раздается прохот отодвинутого стула в соседней комнате. Дверь открывается. Вбегает Розенберг и останавливается.

РОЗЕНБЕРГ. Что вы там намышляли?! Что вы там намышляли, вы, вы! (Падает лицом вперед на пол. Корчится.)

Мария Николаевна стоит неподвижно.

ХАРИТОНОВ (суетясь). Что с вами? Что с вами? (Подбегает к Розенбергу, пытается поднять его с пола, поворачивается.)

Мария Николаевна безучастно, молча стоит у стены.

ВЕРНЕР (четким шагом подходит к Розенбергу, нагнувшись, берет его за руку, поднимает). Кто это сделал?

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Мы. Мы его отравили, я и муж.



ХАРИТОНОВ (с колен). Нет, господин капитан, она говорит неправду. Это ничего... Это не мы.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Мы, мы. Встань. (Подходит к Харитонову, поднимает его подмышками.) Встань, Сапа, встань. (Быстро.) Это мы с ним. Мы вас ненавидим. Мы это сделали, мы оба — я и он.

ХАРИТОНОВ. Господи Вернер! Господи Вернер!

ВЕРНЕР. Вы думаете, что я вас буду отдавать под суд?

ХАРИТОНОВ. Господи Вернер, это не я, она все...

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. Да, мы это сделали. Вы убили нашего сына. Мы отравили этого вашего негодяя.

ВЕРНЕР. Я вас не отдам под суд. Я вас просто повешу обоих через две минуты. (Открывает наружную дверь.) Эй, кто-нибудь!

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (прижав к себе совершенно обезумевшего от ужаса Харитонова, кричит, прислонясь к стене). Ну и вешай! Вешай!

### Занавес

### Конец четвертой картины

### Картина пятая

Ночь. Берег лимана. Деревья. Спуск к воде. Задняя стена какого-то строения. Через сцену медленно идут Валя и Сафонов. У Сафонова правая рука на перевязи.

ВАЛЯ. А я прошлый раз как раз тут и перештывала.

САФОНОВ. Вот как раз потому, что прошлый раз тут, — сегодня в другом месте пошлывешь. (Смотрит на часы.) Сейчас поедем.

ВАЛЯ. Светятся. Хорошие.

САФОНОВ. В Улан-Баторе купил, еще давно.

ВАЛЯ. Где это?

САФОНОВ. Улан-Батор? Это город такой, в Монголии. Далеко... Сейчас меня на Южную балку отвезешь, провожу тебя там и... Запальники и шнур не забыла?

ВАЛЯ. В машине лежат. Что, поедем?

САФОНОВ. Сейчас...

ВАСИН (выходя из-за дома, вглядываясь). Товарищ капитан!

САФОНОВ. Я.

ВАСИН. Сейчас поедете?

САФОНОВ. Да, а что?

ВАСИН. Я, с вашего разрешения, останусь тут, в роте, до утра. Телефон все еще не починили, я сам здесь подежурю.

САФОНОВ. Только к рассвету в штабе будь, ладно?

ВАСИН. Так точно. (Уходит.)

САФОНОВ. Сейчас поедем... Да, вот тебе и последнее испытание, Валентина Николаевна... Ты у меня теперь старая разведчица. Я теперь тебя по имени-отчеству принужден звать.

ВАЛЯ. А «вы» — не надѣ.

САФОНОВ. Нет, теперь я уже принужден, ничего не поделаешь.

Опять слышна канонада.

Совсем наши близко к лиману подошли. Наступают. Ты представи себе: наступают наши!.. А то уж больно обидно помирать было, тем более, что лично я в запробную жизнь не верю. Теперь и сказать можно. Я только вчера, когда эту канонаду в первый раз услышал, в первый раз поверил, что живы будем. И поскольку у меня надежда быть в живых появилась, прошу тебя, Валентина Николаевна, делай, что надо, а так зря не прыгай. Я тебя очень хочу живой видеть.

ВАЛЯ. Я тоже. (Вдруг мечтательно.) Сафоныч, а Сафоныч?

САФОНОВ. Что?

ВАЛЯ. Ничего.

САФОНОВ. Ну, а все-таки.

ВАЛЯ. Я когда у твоей матери была, твою фотографию увидела и спрашивала про тебя разное. Она говорит: «Вот он маленький какой был». А мне интересно, какой ты был маленький! А она вдруг меня спрашивает: «А чего ты, девушка, так интересуешься?» Я говорю: «Ничего, просто так». А она говорит: «А я думала, любовь у вас». Я говорю: «Нет, я просто так».

САФОНОВ. Валя. (Хочет обнять ее здоровой рукой.)

ВАЛЯ. Не надо, Сафоныч, не перебивай, я тебе рассказать хочу. (Пауза.) Я ей говорю: «Он меня все известой в шутку зовет». А вернулась оттуда — ты меня сразу и звать так перестал. Почему? Это ведь в шутку....

САФОНОВ. Потому и перестал, что в шутку... А когда вернулась... (Снова пытается ее обнять.)

ВАЛЯ. Не надо. Это тебя Глоба научил, да?

САФОНОВ. При чем тут Глоба?

ВАЛЯ. Я знаю. Он всем это говорит: «Живем только раз. Она девушка добрая... а что завтра — неизвестно, может, умрем». А я не хочу только оттого, что, может, завтра умрем. Я хочу...

САФОНОВ (отпустив ее, только продолжая держать за руку, ласково). Ну, чего ты хочешь, колокольчик ты мой стелшшой? Чего ты хочешь? Что сделать мне для тебя?

ВАЛЯ. Проводи меня, Сафоныч. И что-нибудь хорошее на прощанье скажи. А то я что-то боюсь сегодня. Нет, ты не думай, я немножко... Это ничего?

САФОНОВ. Ничего. (Пауза.) Ты с собой револьвер взяла, в случае, если что?

ВАЛЯ. Нет. Я нагаль оставила, он тяжелый.

САФОНОВ (моргаясь, достает здоровой рукой маленький браунинг). Вот мой, возьми.

ВАЛЯ (берет, смотрит на браунинг). Это хорошо. Если что-нибудь, если немцы, — лучше тогда живой не быть. Верно?

САФОНОВ. Верно. И лучше мне тогда тоже живому не быть. Вот я что тебе сейчас скажу. А остальное после. После, когда наши придут, когда поверишь, что не потому, что завтра умереть можем. (Пауза.) Ну, поедem. (Идут к дому.) Ты куда его положила?

ВАЛЯ. В карман.

САФОНОВ. А ты лучше за лезуху, на грудь. Ворней. (Уходят.)

Некоторое время на сцене пусто. Потом снизу, из-за края обрыва, ведущего к воде, появляется голова. Тихий свист. Ответный свист. Входит Козловский.

КОЗЛОВСКИЙ. Вы здесь?

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Здесь.

КОЗЛОВСКИЙ. Черт бы их взял. Нашли место для прогулок.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Вы хоть слышали, о чем они говорили?

КОЗЛОВСКИЙ. Нет. А мне это не нужно. Я знаю и так. Передайте господину Розенбергу...

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Он убит.

КОЗЛОВСКИЙ. Убит! Кто же вас послал?

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Капитан Веригер.

КОЗЛОВСКИЙ. Передайте господину капитану: во-первых, в городе затевается какой-то взрыв или что-то в этом роде, что — я пока не знаю, но затевается; во-вторых, примерно через час у Южной балки будет переправляться тот эскадрон, которую вы здесь видели. Фамилия — Анощенко, зовут — Валентина.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Это связано со взрывом?

КОЗЛОВСКИЙ. Очевидно, да.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. У нее будут документы?

КОЗЛОВСКИЙ. Очевидно, нет. Но, если как следует взяться...

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Конечно. Но это будет точно, сегодня?

КОЗЛОВСКИЙ. Да, через час.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Тогда я спешу.

КОЗЛОВСКИЙ. Да, конечно. Передайте господину капитану: то, что я задумал с дядей...

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Что?

КОЗЛОВСКИЙ. Передайте господину капитану: то, что я задумал с дядей, — он знает, — пока не выходит. И начальник гарнизона и он пока держатся друг за друга. Попробую еще.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Все?

КОЗЛОВСКИЙ. Все. Да, я вас хотел спросить: из-за лимана слышна близкая канонада...

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Русские начали наступать и подошли ближе. Ну, все? Я спешу.

КОЗЛОВСКИЙ. Все.

Неизвестный исчезает. Долгое молчание. Слышны тихие всплески воды. Откуда-то сверху раздается близкий выстрел, потом второй. На сцену, не замечая Козловского, входит Васин с красноармейцем.

У Васина в руках карабин.

ВАСИН. Плохо следите. Когда сменитесь, будем судить! Здесь кто-то подплывал к берегу.

КРАСНОАРМЕЕЦ. Так вы же стреляли, товарищ майор. Ничего же не видно.

ВАСИН. Не видно, потому что поздно заметили. Вызовите мне караульного начальника! Быстро! Я буду ждать здесь. (Всматриваясь в темноту.)

Козловский пытается незаметно пройти.

Стой! (Вскладывает карабин.)

КОЗЛОВСКИЙ (видя, что ему не уйти). Это свои.

ВАСИИ. Кто сви?

КОЗЛОВСКИЙ. Я, товарищ майор, — Василенко.

ВАСИИ (подходя к нему вплотную и продолжая держать карабин наизготовку). Что вы здесь делаете?

КОЗЛОВСКИЙ. Товарищ майор... Да опустите карабин, это же я. Я там сейчас объясню...

ВАСИИ (не обращая внимания, продолжает держать карабин). Что вы здесь делаете?

КОЗЛОВСКИЙ. Да вот, пошел проверять посты, — как и вы, очевидно.

ВАСИИ. Это не ваша рота. Что вы здесь делаете?

КОЗЛОВСКИЙ. Я же говорю, товарищ майор. Проверяю посты. Ну, что ж, что не моя рота. Мы, политрабантики, обязаны всюду иметь глаз.

ВАСИИ. Политработа тут ни при чем. Это не ваша рота. Извольте ответить, что вы здесь делаете, я вас в последний раз спрашиваю.

КОЗЛОВСКИЙ (вдруг решившись). Александр Васильевич! (Пауза). Дядя Саша!

ВАСИИ. Бросьте глупые шутки. Племянник!

КОЗЛОВСКИЙ. Да, племянник.

ВАСИИ. У меня нет племянника Василенко.

КОЗЛОВСКИЙ. Да, но у вас есть племянник Николай Козловский, Коля.

ВАСИИ. Так.

КОЗЛОВСКИЙ. Александр Васильевич, я вам сейчас все объясню.

ВАСИИ. Так. Я слушаю.

КОЗЛОВСКИЙ (с надеждой). И вы меня поймете, вы поймете. Я вам только добра желаю. Вы слышите?

ВАСИИ. Я уже сказал вам, что слушаю.

КОЗЛОВСКИЙ. Вы меня плохо помните?

ВАСИИ. Да. Плохо.

КОЗЛОВСКИЙ. Но вы вспомните Николаев, вспомните, как вы бывали у мамы на Треховатской улице. Мне тогда было пятнадцать.

ВАСИИ. Вы что, действительно мой племянник?

КОЗЛОВСКИЙ (торопливо). Действительно. Действительно. Я с вами поэтому и говорю сейчас так. Я же мог бы ничего не сказать.

ВАСИИ. Что вы здесь делали?

КОЗЛОВСКИЙ. Я... я буду говорить с вами начистоту. Вы должны понять меня, как бывший офицер, как дядя, как брат моей матери, наконец.

ВАСИИ. Ну? Я вас слушаю.

КОЗЛОВСКИЙ. Я хочу вас спасти. Завтра же немцы предпримут последнюю атаку города. Мы все погибнем. И вы погибнете, если...

ВАСИИ. Если что, разрешите узнать?

КОЗЛОВСКИЙ. Если я не спасу вас и себя. Зачем вам погибать? Вы же с нами ни душой, ни телом. Зачем?

ВАСИИ. Вы за тем и явились сюда под чужой фамилией, чтобы меня спасти?

КОЗЛОВСКИЙ. Нет, не буду лгать. Не только за этим. Но и за этим. Да, за этим. Мы не должны забывать своей родни и крови. Я не забываю. Я знаю, что вы здесь.

ВАСИИ. Что же вы мне предлагаете?

КОЗЛОВСКИЙ. Спаситесь.

ВАСИИ. Позвольте спросить, как?

КОЗЛОВСКИЙ. К утру переплыть туда, там будет все готово. Вместе — вы и я. Вас хорошо встретят, я вам ручаюсь. Они поймут, что вы только по необходимости... Я уже говорил там о вас.

ВАСИИ. Говорили?

КОЗЛОВСКИЙ. Да, говорил. Я говорил, что у меня здесь дядя, что он нам не враг, и что его нужно спасти.

ВАСИИ. Так. А сюда вы пришли зачем?

КОЗЛОВСКИЙ. Оттуда переплывал человек. Я с ним говорил... Я хотел переправиться туда с вами под утро, и договорился об этом. Я все равно хотел отсюда идти к вам, так что даже лучше, что мы встретились здесь.

ВАСИИ. Весьма возможно.

КОЗЛОВСКИЙ. Вы согласны?

ВАСИИ. Мне надо подумать.

КОЗЛОВСКИЙ. Соглашайтесь. Другого выхода все равно нет. Вы выдадите меня, — ну меня расстреляют. Я смерти не боюсь, иначе я сюда не переправился бы. Но что из этого? Погибну я, — через полдня погибнете вы: я — от руки русских, вы — от руки немцев. Зачем вам это? Что вам хорошего сделали они, чтобы из-за них губить и себя и меня? Если бы не все это, не эта революция, вы бы давно имели покой, уважение, вы были бы генералом, наконец. Но это левашно, не в этом дело. Дело в том, чтобы спастись сейчас. Ведь так? Вы согласны?

ВАСИИ. А вы точно знаете, что завтра предстоит атака?

КОЗЛОВСКИЙ. Да, да. Точно.

ВАСИИ. Хорошо. Пойдемте в штаб и там у меня спокойно обсудим, как лучше это сделать.

КОЗЛОВСКИЙ. Зачем? Что ж тут обсуждать?

ВАСИИ. Как что? Вы говорите со мной, как мальчишка. Если это делать, то делать, как следует. Надо захватить штабные документы, бумаги, карты. Если переходить, надо переходить так, чтобы ценили; делать это, как взрослые люди, как офицеры, капитаны, а не как дети. Неужели же вы не понимаете?

КОЗЛОВСКИЙ. Да. Вы совершенно правы, но...

ВАСИИ. Но вы бонтесь, что я вас там выдам? Я мог бы сделать это и здесь, не таская вас туда. Не ваяйте дурака. Сейчас придет караульный начальник, и пойдем. И скорей, потому что если делать — то делать, нам с вами некогда терять время. Кстати, вот вы — так называемый разведчик, а вы знаете, что сегодня, через полчаса у Южной балки должна туда переходить Ающенко? Вы сообщили это вашему лазутчику? Не догадались, наверно?

КОЗЛОВСКИЙ. Нет, я догадался, я сообщил. Вы обо мне слишком плохо думаете.

ВАСИИ. Ну, простите, если так, то это хорошо.

Входят караульный начальник и красноармеец.

ВАСИИ. Товарищ сержант, сменило часового. Тут, очевидно, кто-то подплыл к берегу. Я слышал всплеск, а он ничего не слышал. Немедленно сменийте его и арестуйте.

КАРАУЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНИК. Есть, товарищ майор.

ВАСИН. Я взял у вас в караульном помещении карабин, возьмите его обратно. (Козловскому.) Ну, скорей. (Взглянув на часы.) До рассвета осталось три часа, пошевеливайтесь! (Скрывается.)

Конец пятой картины и второго действия

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

### Картина шестая

Штаб Сафонова. Ночь. За столом — очевидно, после ужина — Глоба, Панин, лейтенант Васильев. Шура убирает со стола. Глоба мурлычет себе под нос. Молчание. Лейтенант, вынув из кармана гимнастерки фотографию, разглядывает ее.

ГЛОБА. Это что у тебя?

ЛЕЙТЕНАНТ. Девушка.

ГЛОБА. А ну, дай.

Все молча, по очереди, смотрят на карточку.

ГЛОБА. Интересная из себя. (Передает Панину.)

ПАНИН. Да, красивая. (Отдает лейтенанту.)

ЛЕЙТЕНАНТ. Полгода не видала. Забыла уже, наверно.

ГЛОБА. Дай-ка! (Смотрит еще раз. Отдает карточку.) Нет, не забыла.

ЛЕЙТЕНАНТ. Не забыла?

ГЛОБА. Факт. Очень симпатичная девица. Полное доверие у меня лично вызывает. Не забыла. Ты не беспокоиться брось.

ЛЕЙТЕНАНТ (смотрит на карточку. Панину). А у вас есть, товарищ старший политрук?

ПАНИН. У меня? Где-то есть.

ЛЕЙТЕНАНТ. Показали бы.

ПАНИН. Далеко где-то.

ЛЕЙТЕНАНТ. Показали бы.

ПАНИН (роется в карманах, вынимает карточку). Измялась вся.

ЛЕЙТЕНАНТ (смотрит). Ишь, какая!.. (Перевортывает.) Простите, тут письмо... Я случайно...

ПАНИН. Ничего, тут ничего особенного не написано.

ЛЕЙТЕНАНТ. А глаза какие! Эта — ждет! Эта непременно ждет...

САФОНОВ (входит, отряхиваясь). Дождь пошел. (Пауза.) Что, дом вспомнить потянуло? Далеко теперь твой дом, а, писатель?

ПАНИН. Далеко...

САФОНОВ. Глоба, а твоя где фотография, не вижу?

ШУРА. А ему, по его характеру, целый альбом нужно возить.

ГЛОБА. Вот это уж неверно, Шурочка. Человек я, правда, холостой, но, чтобы целый альбом возить, — это нет. Если возить, так это уж надо одну

какую-нибудь, чтобы сердце билось при взгляде, — например, хотя бы вашу. Но вы же мне не подарите?

ПУРА. Нет, не подарю.

ГЛОБА. Ну вот, видишь. Хотя у капитана, впрочем, тоже нет фотографии. То есть она могла бы тут рядом сидеть, да он все отсылает ее от себя.

САФОНОВ. Ты не трогай этого. Знаешь же, что больше некого...

ГЛОБА. А хотя бы меня.

САФОНОВ. Твое время еще придет. Я тебя на крайний случай держу.

ГЛОБА. Это на какой же такой крайний случай?

САФОНОВ. Крайний случай? А вот если пропадет она, ты и пойдешь.

Молчание.

Теперь еще отсидеться два дня — и порядок. (Панину.) И придется тебе, начальник особого, сдать свои дела и опять в писатели податься.

ПАНИН. Да, в газете уже, наверное, думают, что пропал их собственный корреспондент... Когда мы соединимся, я напишу статью «Мой немец»: о том, как я убил первого немца своими руками, вот этими, которыми до войны только карандаш держал.

Быстро входит Васин, за ним Козловский.

ВАСИН. Товарищ капитан, переправилась Анощенко?

САФОНОВ (взглянув на часы). При мне нет, но сейчас уже, должно быть... А что?

ВАСИН. Где, у Южной балки?

САФОНОВ. Да, а что?

ВАСИН. Товарищ лейтенант, соедините со второй ротой! Быстро!

Во время последних слов Козловский, стоявший рядом с Васиним, выхватывает револьвер, но Васин, очевидно, незаметно следивший за ним, поворачивается, легким движением перехватывает его руку и вывертывает ее. Револьвер падает.

Прежде чем брать в руки оружие, надо уметь с ним обращаться.

САФОНОВ. Что это значит?

ВАСИН. Сейчас, товарищ Панин, возьмите красноармейцев и выведите его отсюда.

ПАНИН (открыв наружную дверь). Дежурный! (Входит красноармеец.) Взять ко мне!?

ВАСИН. Нет, пока куда-нибудь сюда. И последите за ним.

ПАНИН (отворив дверь в соседнюю комнату). Идите. (Козловский не двигается.) Ну! (Козловский, Панин и красноармеец выходят.)

САФОНОВ. Что случилось, Александр Васильевич?

ВАСИН. Сейчас. (Лейтенанту). Соединили?

ЛЕЙТЕНАНТ. Есть. Соединили.

ВАСИН (в телефон). Задержите Анощенко, если еще не переправилась. Я спрашиваю: переправили или нет? (Пауза.) Я знаю, о чем можно по телефону разговаривать и о чем нельзя. Переправили или нет? Понятно. Так. Переправили. Опоздал.

САФОНОВ. Александр Васильевич, может, объяснишь, все-таки?

ВАСИН. Так точно. Сейчас объясню. (Бивает на дверь, в которую увели Козловского.) Вот этот, мой племянник, объяснит. Пойдемте. (Проходят в ту же комнату.)

ШУРА. Иван Иванович!

ГЛОБА. Ну?

ШУРА. Что же это? Неужели пропадет Валечка? А?

ГЛОБА (угрюмо). Молчи.

ШУРА. Неужели пропадет?

ГЛОБА. Молчи.

ШУРА. Неужели вам даже сейчас ее не жалко, что пропадет?

ГЛОБА (хватив кулаком по столу). Молчи об этом. Не будет этого!

САФОНОВ (показываясь в дверях). Глоба!

ГЛОБА. Да?

САФОНОВ. Глоба, одевайся в штатское. Скорей. Где оно у тебя?

ГЛОБА. В госпитале.

САФОНОВ. Бегн. (Закрывает дверь.)

ГЛОБА. Вот и пришел мой крайний случай, Шурочка. (Идет к двери, оборачивается.) Там у тебя, наверно, из-под одеколона пузырек есть, так ты мне водки в него приготовь, чтобы, как перепью, треться было чем. (Выходит.)

ШУРА (одна) (подходит к столу, где стоит ее машинка, роется в ящиках, достает флакон, задумчиво смотрит на него). Валечкин. Осталось немножко... Все равно теперь...

Входят Сафонов, Васин, за ними, между Паниным и красноармейцем, Козловский, без пояса, с сорванными петлицами.

САФОНОВ. Глоба ушел?

ШУРА. Да.

САФОНОВ. Хорошо. (Васину.) Ну что ж. Надо кончать. По-моему, все ясно.

ВАСИН. Я не видел его четырнадцать лет, и он значительно изменился. Но, все-таки, очевидно, мог бы узнать... если бы был внимательнее. Готов за это понести ответственность.

САФОНОВ. Да что там ответственность, Александр Васильевич. Подумаешь, из-за такой сволочи расстриваться. Ну, племянник он тебе, ну и шут с ним. Расстреляем — и не будет у тебя племянника. Товарищ Панин! Пойди к себе, протокол составь. Только не долго занимайся. Ему до утра незачем жить, лишнее ему жить до утра. Понятно?

ПАНИН. Понятно.

Козловский, съжившись, стоит у стенки.

КРАСНОАРМЕЕЦ. Пойдем!

КОЗЛОВСКИЙ (проходя мимо Васиной). Я умру, но будьте вы прокляты!.. Вы... вы мне не дядя... вы...

САФОНОВ. Конечно, он тебе не дядя. Кто же захочет быть дядей такой сволочи.

Панин, красноармеец и Козловский выходят.



ВАСИИ. Я подам рапорт, товарищ капитан, и буду просить расследовать это дело, со своей стороны...

САФОНОВ. А иди ты со своим рапортом, Александр Васильевич. Нам с тобой некогда рапорты писать, нам еще завтра драться нужно. (Опускает голову на стол, молчит.)

ВАСИИ. Что с вами, Иван Никитич?

Сафонов молчит.

Что с вами, Иван Никитич?

САФОНОВ (глухо). Про мост она им не скажет, это мы поправим. Глобу пошлем. Она не скажет... А если... Все равно не скажет. А ты понимаешь, Александр Васильевич, что это значит — не скажет?

ДЕЖУРНЫЙ (открывает дверь). К вам из армии, товарищ капитан.

САФОНОВ. Из армии? Кто из армии?

ГАВРИЛОВ (входя). Капитан Гаврилов, из штаба сорок третьей.

САФОНОВ (поднимаясь ему навстречу). Здорово. Сафонов, капитан. На самолете?

ГАВРИЛОВ. Да. Признаться, замерз.

САФОНОВ. Давай, Шура, быстрее! И насчет чайку.

Шура что-то тихо шепчет ему на ухо.

Ну, что же делать. Все равно, давай из завтрашнего. Это насчет воды, — мол, воды нет. Ничего. Найдется. Садитесь, знакомьтесь. Кто прислал-то вас?

ГАВРИЛОВ. Генерал-майор Луконин.

САФОНОВ. Ну, как там?

ГАВРИЛОВ. Подходит.

САФОНОВ. Ишь ты! Значит, через день-другой здесь будете?

ГАВРИЛОВ. Похоже на то. Сейчас я вам вручу приказ.

САФОНОВ. Хорошо. Давно я приказов не получал. Устала у меня голова от самостоятельных действий.

Гаврилов передает ему приказ.

САФОНОВ (разрывая пакет). А мы тут вам навстречу сюрприз приготовили. (Тихо.) Мост должны сегодня к утру рвануть, все, что на той стороне лимана, у немцев, там и останется.

ГАВРИЛОВ. Мост?

САФОНОВ. Ага! (Читает приказ.) Так, так... Да... Вот оно какое дело. Что ж, придется мост... отставить придется мост, Александр Васильевич.

ВАСИИ. Отставить?

САФОНОВ. Отставить. (Присвистнул, протягивает ему приказ.) Васильев!

ЛЕЙТЕНАНТ. Я!

САФОНОВ. Позвони командирам, кто на месте есть. Скажи, я собираю. (Гаврилову.) Они быстро. Небольшой у нас тут кусок земли остался, всех за полчаса собрать можно. Прочел, Александр Васильевич?

ВАСИИ. Прочел.

САФОНОВ (тихо). Придется нам, кажется, с тобой, Александр Васильевич, отложить эту мысль — насчет в живых остаться. А?

ВАСИИ. Так точно.

ГАВРИЛОВ. Вам еще личная записка от генерала.

САФОНОВ. Вот оно как! Ну, давай. (Берет записку, читает про себя.) Ишь ты! «Дорогой мой бывший водитель, а ныне капитан! — Это верно. — Вспомните Халхин-Гол». Что же вспомним. Ну, и там всякие еще слова. От генерала — приятно, а от старого знакомого — вдвойне. Ну, что ж, вспомним Халхин-Гол, вспомним, товарищ генерал. Авось никто нас не попрекнет. Будем живы — не попрекнет, умрем — тоже не попрекнет. (Входит Панин.) Ну что, закончили?

ПАНИН. Да. А насчет протокола...

САФОНОВ. Не надо, это теперь прошлое. Эти подробности мне теперь лишние. Панин, вот получил я приказ. Армия к лиману подходит. Немцы находятся прижатые к воде. И что была мысль взорвать мост у них в тылу, так теперь мысль эта неправильная. Вот товарищ капитан привез приказ оставить город, собрать все силы и захватить мост хотя бы за два часа. До подхода наших частей. Чтоб они по этому мосту потом дальше могли идти. Ясно?

ПАНИН. Ясно.

САФОНОВ. Ясно, но тяжело. Придется нам с тобой, Панин, с людьми говорить. Потому что взорвать мост — это пустяки рядом с тем, чтобы взять мост. Потому что люди устали, они уже надеялись, что им переждать теперь два дня, пока наши придут. — и все. А им еще надо теперь мост брать, жизнь свою класть за этот мост. Это объяснить надо людям. Понимаешь, Панин?

ПАНИН. Объясним.

САФОНОВ (Гаврилову). Это вроде как человек воюет полгода, потом ему отпуск на завтра дают, а перед отпуском за два часа говорят: иди опять в атаку. Вот для него эта атака самая тяжелая. Сделаем, но тяжело. Мост — это я лично на себя беру. А ты, Александр Васильевич, чтобы их с толку сбить, ты, что от второй роты осталось, — возьмишь и у Северной балки будешь вид делать, что прорваться хочешь. Но такой вид делать, Александр Васильевич, чтобы похоже было; чтобы они про мост забыли, совсем забыли, чтобы на тебя все внимание обратили.

ВАСИИ. Значит, демонстрация?

САФОНОВ. Да, демонстрация. Но только ты забудь это слово. Люди всерьез должны у тебя идти: это не всякий выдержит, чтобы знать, что без надежды на смерть идешь. Это ты можешь выдержать, а другой может не выдержать. Вот Панин с тобой пойдет на комиссара.

ВАСИИ. Я только опасался, что они не попадутся на эту удочку.

САФОНОВ. Попадутся, я так придумал, что попадутся.

Входит Глоба в штатском.

Вот Глоба поможет, чтоб попались. Иди сюда, Глоба!

Глоба встает перед ним.

Вот какое дело. Пойдешь на ту сторону, найдешь Василия, передашь ему, что взрыв моста отставить. Ясно?

ГЛОБА. Ясно.

САФОНОВ. Сделаешь это...

ГЛОБА. И обратно?

САФОНОВ. Нет, сделаешь это и... потом пойдешь в немецкую комендатуру.

ГЛОБА. Так.

САФОНОВ. Явившись к немецкому коменданту, или кто там есть из начальства, скажешь, что ты есть бывший кулак, лишенец, репрессированный, — в общем, найдешь, что сказать. Понятно?

ГЛОБА. Понятно.

САФОНОВ. Что угодно скажи, но чтобы поверили, что мы у тебя в печенках сидим. Понятно?

ГЛОБА. Понятно.

САФОНОВ. Так. И скажешь им, что бежал ты отсюда, от этих большевиков, будь они прокляты, и что есть у тебя сведения, что, ввиду близкого подхода частей, хотим мы из города ночью вдоль лимана прорваться у Северной балки. Ясно? И в котором часу скажешь. Завтра в восемь.

ГЛОБА. Ясно.

САФОНОВ. Ну, они тебя, конечно, в оборот возьмут, но ты стой на своем. Они тебя под замок посадят, но ты стой на своем. Тогда они поверят. И тебя они держать как заложника будут: чтобы, ежели не так выйдет, то расстрелять.

ГЛОБА. Ну, а как же выйдет: так или не так?

САФОНОВ. Не так. Не так, Иван Иванович, выйдет, не так, дорогой ты мой. Но другого выхода у меня нету. Вот приказ у меня. Читать тебе его лишнее, но имей в виду: большая судьба от тебя зависит, многих людей.

ГЛОБА. Ну, что ж. (Пауза.) А помпирать буду, песни петь можно?

САФОНОВ. Можно, дорогой, можно.

ГЛОБА. Ну, коли можно, так и ладно. (Тихо.) В случае чего, встречусь я с ней там, на один цугундер посажены будем, — что передать, что ли?

САФОНОВ. Что ж передать? Ты ей в лицо посмотри: если увидишь, что ей, может, это ни к чему, то не говори; если увидишь — к чему, то скажи: просил Сафонов передать, что любит он тебя. И все тут.

ГЛОБА. Хорошо.

САФОНОВ. Ну, что же...

ГЛОБА. Говорят, старая привычка есть: посидеть перед дорогой, на счастье. Давай-ка сядем.

Все садятся.

ГЛОБА. Шура!

ШУРА. Да?

ГЛОБА. Ну-ка, мне полетаканчика на дорогу.

Шура наливает ему водки.

ГЛОБА (выпив залпом, обращается к Гаврилову). Что смотришь, товарищ капитан? Это ведь не для храбрости, это для тешкоты пью. Для храбрости это не помогает. Для храбрости мне песни помогает. (Пожимает всем руки. Дойдя до двери, поворачивается и вдруг запевает: «Соловей, соловей-пташечка». С песней скрывается в дверях.)

Молчание.

САФОНОВ. Ты слышал, или нет, инсатель? Ты слышал, или нет, как русские люди на смерть уходят?

Конец шестой картины

### Картина седьмая

Обстановка четвертой картины. Дом Харитонов. Хозяев нет. Столовая обращена в караульное помещение. Все опустошено. Полотняная мебель, изорванные занавески, забытые портреты на стенах. Огни забыты спарухи крест-накрест деревянными планками. Одна из внутренних дверей обита железом и закрыта на засов. Через застекленный верх наружной двери от времени до времени видны каска и штык часового. На стене за столом Вернер с обвязанной головой и писарь Краузе.

ВЕРНЕР. Вы дурак, Краузе, потому что, когда взяли эту девицу, надо было сначала ее допросить (живнув, на обитую железом дверь), а потом уже сажать с остальными.

БРАУЗЕ. Разрешите доложить, господин капитан, ее посадили с остальными, потому что вас не было.

ВЕРНЕР. Все равно, был я или не был, ее нельзя было сажать с ними. Теперь она говорит только то, о чем они говорились. Теперь она уверяет, что она была прислана к этой старухе, и все. А причиной этому только то, что вы дурак. Ясно вам это?

БРАУЗЕ (встава я). Так точно, господин капитан.

ВЕРНЕР. Введите ее.

Солдат вводит В а л ю. У нее измученный вид. Руки бессильно висят  
вдоль тела.

ВЕРНЕР. Я слышал, что вас избили?

ВАЛЯ. Да.

ВЕРНЕР. И вас опять избьют завтра, так же, как и сегодня, если вы сегодня будете говорить то же, что и вчера. Но если вы скажете что-нибудь новое, то вас больше не будут бить, вас просто расстреляют. Вы слышите, даже не повесят, а только расстреляют. Даю свое солдатское слово.

Валя. молчит.

## Зачем вы переправились?

ВАЛЯ. Я уже сказала. Я перетравились сюда (говорит смертельно усталым тоном, видимо, заученные слова), чтобы успокоить мать одного нашего командира, чтобы сказать, что вскоре их всех освободят. Она сидит здесь, она может сказать, что я говорю правду.

ВЕРНЕР. Конечно, она может сказать это после того, как вы сговорились, благодаря тому, что мой писарь — идиот. А зачем у вас с собой был браунинг? Для того чтобы передать сыновиний подарок, что ли?

ВАЛЯ. Нет. Брауништ... я взяла его для того, чтобы застрелиться, если...

ВЕРНЕР. У нас не дают стреляться женщинам. Мы их избавляем от этого труда. Имейте это в виду.

ВАЛЯ (все тем же смертельно усталым тоном). Я же ска-  
зала: я пришла к матери одного из наших командиров...

ВЕРНЕР (хлопнув по столу кулаком). Я слышал это! Краузе!

КРАУЗЕ. Да.

ВЕРНЕР. Давайте старуху.

Краузе вводит Марфу Петровну. У нее растрепанные седые волосы и руки висят так же неподвижно, как у Вали

ВЕРНЕР (Марфе Петровне). Для чего вот эта (кивает на Валу) приходила к вам? Должна была прийти к вам, если бы мы не задержали ее?

Марфа Петровна молчит.

Сколько раз она у вас была?

Марфа Петровна молчит.

Вот сейчас без двух минут семь. Если до семи ты мне не ответишь, будешь повешена. Все. (Откидывается на спинку кресла в позе ожидающего человека.)

МАРФА ПЕТРОВНА. Я вам отвечу, господин офицер. Если уж две минуты осталось, то я вам отвечу.

ВЕРНЕР. Ну?

МАРФА ПЕТРОВНА. Я слыхала, что вы из города Штеттина, господин офицер.

ВЕРНЕР. Ну?

МАРФА ПЕТРОВНА. Хотела бы полететь к вам туда невидимо, в ваш город Штеттин, и взять ваших матерей за шиворот и перенести их сюда по воздуху и сверху им показать, чего их сыновья наделали. И сказать им: «Видите, вы, суки, кого вы родили! Каких жаб на свет родили! Каких вы гадюк на свет родили!» И если бы они своих сыновей не проклинали после того, то убила бы я их вместе с вами, с сыновьями ихними!

ВЕРНЕР. Молчать!

МАРФА ПЕТРОВНА. Молчу! Я тебе все сказала. Прошли две твоих минуты. Вешай.

ВЕРНЕР (смотрит на часы). Еще десять секунд. Я жду.

МАРФА ПЕТРОВНА. Нечего мне больше тебе говорить.

Пауза.

ВЕРНЕР (смотрит на часы). Ну? (Пауза.) Вывести и повесить.

Краузе уводит Марфу Петровну. Она в дверях молча поворачивается к Вале и низко ей кланяется. За дверью передав ее солдатам, Краузе возвращается. Пауза.

ВЕРНЕР (взглянув еще раз на часы). Ну, вот сейчас ее повесят. Да, да, через минуту. Только потому, что ее сейчас все равно повесят, я решил ей сказать то, что она сейчас сказала. Вы будете говорить?

ВАЛЯ. Я уже вам сказала, меня прислали сюда от одного из командиров, чтобы сказать...

ВЕРНЕР. К кому вы сюда шли?

ВАЛЯ. Я уже сказала.

ВЕРНЕР. Хорошо. Значит, вы взяли браунинг на тот случай... Я сам, правда, не одобряю этих случаев, но вот Краузе, он их любит. Когда вы сменитесь с дежурства, Краузе, вы можете взять ее к себе под домашний арест. Ясно?

КРАУЗЕ. Ясно, господин капитан.

ВЕРНЕР. Он сменится с дежурства в десять, если вы, конечно, до этого не передумаете.

СОЛДАТ (входя). Господин капитан, явился перебежчик. Разрешите?  
ВЕРНЕР. Давайте его.

Входит Глоба.

ВЕРНЕР. Откуда?

ГЛОБА. Оттуда, господин офицер, сам перешел.

ВЕРНЕР. Кто вы?

ГЛОБА. Я фельдшер. Глоба моя фамилия.

ВЕРНЕР. Садитесь.

ГЛОБА. Покорно благодарю, господин офицер.

ВЕРНЕР. Почему перешли?

ГЛОБА. Да что же, господин офицер, своя рубашка ближе к телу. Не пропадать же всем русским людям через этих большевиков.

ВЕРНЕР. Ну, говорите, что вы хотели сказать. Наверное, что-то хотели?

ГЛОБА. Конечно, господин капитан. Я во сне видел, как уйти оттуда, они у меня все отняли. Сам лет пять сидел, а теперь через них же и попадай. У меня сообщение важное есть, но только вот (оглядывается на В а л ю).

Валя молча, с ненавистью, оглядывается на него.

ВЕРНЕР. Ничего. Ее сегодня все равно... Можете при ней.

ГЛОБА. Разрешите папирсочку, господин офицер.

ВЕРНЕР. Краузе, дайте ему папиросу.

ГЛОБА (закуривая). Покорно благодарю! (Тихо, перегибаясь через стол.) Господин офицер, у них воды совсем больше нет. Патрон нет. Они решили, кто здоровы, особенно из начальства, сегодня к ночи у Северной балки вдоль лимана пробиваться. Они ночью атаку там думают делать. Они думают, что не ждет немец этого, — то есть, простите, не ждете, значит, вы этого... и вот хотят.

ВЕРНЕР. Это правда?

ГЛОБА. Истинная правда, господин офицер. Я как только узнал, так сразу же и перебежать решился, потому что, думаю, ежели так просто, то, может, и расстреляете вы меня, а ежели сообщение я принесу, то вы сразу, что я человек преданный, увидите.

ВЕРНЕР. Когда это должно быть?

ГЛОБА. Скоро, в восемь часов.

ВЕРНЕР (задумывается, вынимает из планшета карту). Подите сюда. Здесь?

ГЛОБА (заглядывает). Так точно, здесь.

ВЕРНЕР. А чем вы можете доказать?

ГЛОБА. Так через полчаса же начнется. Сами увидите.

ВЕРНЕР. А вы знаете, что русские подошли к самому лиману? Слышите?

Слышна канонада.

ГЛОБА. Слышу, господин офицер. Так ведь это же тут. А у меня домик был под Винницей. И жена там, и все. Я через вас только туда и попасть могу. А что все правда, вы не сомневайтесь. Я же у вас, господин капитан. Вы, если что, меня раз-два — и готово. Это же мне вполне ясно.

ВЕРНЕР. Да, это должно быть вам ясно, очень ясно. Краузе, уведите их.

Краузе выводит Валу и Глобу в комнату с железной дверью, возвращается.

А теперь соедините меня со штабом.

Краузе берется за телефон.

КРАУЗЕ. Готово, господин капитан!

ВЕРНЕР (по телефону). Господин майор, тут прибыл перебежчик отсюда — из той половины города. Он заявляет, господин майор, что у них ни воды, ни патронов, что они отрезаны от своих и не знают, что происходит на самом деле. Он сообщает точные сведения. Сегодня в восемь они будут пробовать прорваться из города у Северной балки, вдоль лимана. Он сообщает, что это должно начаться в восемь часов. Да. Да. По-моему, взять туда четвертую роту от моста. Да. Ну, что ж, на мосту останутся два взвода, и потом... потом они никогда не решатся из города идти на мост... Да, конечно, проверю. Слушаю. Будет сделано. (Кладет трубку, встает.) Краузе! Сегодня вы им дадите есть. Ясно?

КРАУЗЕ. Ясно.

ВЕРНЕР. Вы вызовите их сюда, дадите им по куску, и, когда подойдет этот Семенов, вы передадите ему с куском незаметно эту записку. Это уже не в первый раз, он поймет.

КРАУЗЕ. Может быть, просто вызвать его одного, господин капитан?

ВЕРНЕР. Это слишком просто. Это просто для нас, но просто и для них. Мы его спросим через час. (Пауза.) Да, когда дадите им хлеб, до моего прихода оставьте их здесь. Здесь у них скорее развяжутся языки. А сами, сами выйдите и поглядывайте через эту дверь.

КРАУЗЕ. Хорошо, господин капитан.

Вернер выходит.

КРАУЗЕ (отворив железную дверь). Эй, вы! Идите сюда.

Выходят Семенов, Глоба и Валя.

КРАУЗЕ (взяв тарелку с несколькими кусками хлеба). Берите хлеб. Господин комендант приказал вам выдать хлеб. (Вале.) Вы берете?

Валя молчит.

КРАУЗЕ (швыряет к ее ногам кусок хлеба Глобе). Вы?

Глоба подходит и берет хлеб. Краузе подходит к Семенову и дает ему хлеб в руки. Семенов ест хлеб, стоя спиной ко всем. Глоба внимательно смотрит на него. Краузе выходит.

ВАЛЯ (тихо). Ну Иван Иваныч, скажите, что это неправда, что вы это все придумали. Скажите, мы же здесь все свои, а?

ГЛОБА (громко). Отстань ты. Довольно я там унижался. Я теперь за все отплачу. За ваши пакости. За дом мой поломанный. За тюрьму, где я сидел, за все.

ВАЛЯ. Какой же вы мерзавец. Если бы я только знала! Я бы вас убила! И Иван Пикитич убил бы!

ГЛОБА. Ну, это если бы да кабы... А теперь руки коротки.

ВАЛЯ (Семенову). Товарищ, вы слышите, что он говорит. Ведь вот он же сейчас пришел и всех выдал и рассказал, как наши хотят из города выйти, и где, и когда. Они все погибнут из-за него. Если бы у меня что-нибудь было. (Подходит близко к Глобе, с трудом поднимает руку.) Вот! (Ударяет его. Глоба с силой отталкивает ее. Она пошатнулась, садится на стул у стены.)

Долгое молчание.

ГЛОБА (заметив, что Семенов отвернулся, подходит к Вале, тихо толкает ее). Валя!

ВАЛЯ (громко). Что?

На ее голос оборачивается Семенов.

ГЛОБА. (меняя тон). Вот что я вам скажу, барышня. Вы не очень! Я не люблю, когда меня руками трогают. Это я вам, конечно, на первый раз по вашей женской слабости прощу. А там, имейте в виду, и до вас руками коснуться можно.

ВАЛЯ. Как я могла раньше не догадаться? Вы же всегда такие вещи говорили, что мне противно было. Вот вы какой. А я не догадалась.

СЕМЕНОВ (быстро подойдя к ней). А ты не огорчайся! (Кивнув на Глобу.) Это же свой товарищ, это же он так. Для осторожности. (Глобе, сердито.) Что ты в самом деле дурака валяешь? Что мы, немцы, что ли? Всем нам один конец. Что же, до самой смерти, что ли, теперь друг друга подозревать? Смотри, до чего ее довел. С заданием ведь перешел? Я-то знаю, как это бывает.

ГЛОБА. А иди ты, знаешь, куда? Все вы думаете, что для вас с заданиями ходят. Жить я хочу. Понятно? Вот и все мои задания. Ничего мне такого наша советская власть не дала, чтобы помирать мне за нее.

ВАЛЯ (Семенову). Они у меня все руки вывернули. Ну, ударьте ж хоть вы его, ради бога, чтобы почувствовал он, какой он гаюка.

Семенов подходит к Глобе и замахивается.

ГЛОБА (выкрутив ему руку). Ну, ну, потише, а то я сейчас в дверь стукну, скажу немцам, что ты тут партизанскую войну разводишь. Ям, знаешь, какие сведения принес? Они тебе за меня ноги переломают. (Пауза. Внимательно смотрит на оставшиеся от Харитоновы старые дубовые часы с маятником. На часах ровно восемь.) Что, часы правильные?

Все молчат.

Часы, говорю, правильные?

СЕМЕНОВ. А что тебе часы? (С интересом.) Зачем тебе, который час знать надо?

ГЛОБА. Я спросил, часы правильные? И больше я вопросов к тебе не имею, так что молчи. (Прислушивается.)

Из тишины доносятся первые далекие выстрелы.

Свет гаснет.

Конец седьмой картины



## Картина восьмая

Обстановка пятой картины. Берег лимана. Тревожная музыка близкого боя. Два красноармейца, поддерживая, вводят на сцену Васина. Сажалот его.

ПЕРВЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ. Ну, как, товарищ майор?

ВАСИН. Ничего.

ВТОРОЙ КРАСНОАРМЕЕЦ (отодрав рукав рубашки, перевязывает Васину грудь). Ишь, как бежит. Сейчас я стяну, товарищ майор, потуже: оно легче будет.

ВАСИН. Кого-нибудь из командиров ко мне.

ПЕРВЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ. Сейчас, товарищ майор. (Уходит.)

ВАСИН. Седьмая и, кажется, последняя.

Входит Панин.

Кто это?

ПАНИН. Панин.

ВАСИН. Седьмая и, кажется, последняя. Как там, товарищ Панин?

ПАНИН. Немцы, видимо, ждали. Их много. Были готовы и встречают.

ВАСИН. Это хорошо. Хорошо, что встречают. Очень хорошо, что встречают...

(Пауза.) А от капитана никого нет?

ПАНИН. Пока нет. Что прикажете делать, товарищ майор?

ВАСИН. По-моему, нам приказ не меняли: наступать. Сейчас третий взвод подойдет, поведете его.

ПАНИН. Есть.

ВАСИН. Вместо меня примите команду.

ПАНИН. Есть.

ВАСИН. Кажется, слышно кто-то от моста... а?

КРАСНОАРМЕЕЦ. Так точно. Слышно, товарищ майор.

ВАСИН. Я уже плохо слышу. Сильно стреляют, а?

КРАСНОАРМЕЕЦ. Сильно, товарищ майор.

ВАСИН. Это хорошо.

Вбегает лейтенант.

ЛЕЙТЕНАНТ. Где майор?

ВАСИН. Я здесь. Откуда?

ЛЕЙТЕНАНТ. Товарищ Сафонов просил передать, что наши уже у самого моста. Уже идет бой. Вы можете отходить.

ВАСИН. Хорошо! (Вдруг громким голосом.) Последний раз в жизни хочу сказать: слава русскому оружию! Вы слышите: слава русскому оружию! (Панину.) Прикажите начать отход! (Лейтенанту.) А капитану передайте, капитану передайте, что... (Опускается на руки красноармейца.)

Панин наклоняется над ним, потом выпрямляется, снимает фуражку.

ПАНИН. А капитану передайте, что майор Васин пал смертью храбрых, сделав все, что мог, и даже больше, чем мог. И еще передайте, что команду над ротой принял начальник особого отдела Панин. Можете идти.

Конец восьмой картины

## Картина девятая

Обстановка седьмой картины. Свет загорается снова, на часах десять. Глоба попрежнему ходит по комнате. Валя полулежит на стуле. Семенов из своего угла внимательно наблюдает за обоими. Слышна близкая канонада.

ГЛОБА (прислушиваясь). Десять... Что ж, десять — хорошее время. Подходящее.

СЕМЕНОВ. Для чего?

ГЛОБА. Для всего. Смотря, что кому надо. Совсем забыли о нас хозяева.

Видать, не до того им, а?

СЕМЕНОВ (угрюмо). Не знаю.

ГЛОБА. Не знаешь? А я думал, как раз ты и знаешь.

За стеной раздаются совсем близкие выстрелы и пулеметная трескотня.

СЕМЕНОВ (испуганно). На улицах стреляют, а? Уже на улицах!

ГЛОБА. А чего ты боишься? Это же ваши, небось, стреляют. Небось, в город входят! Это мне бояться надо. А тебе что?

ВАЛЯ. Неужели пришли? (Семенову.) Пашни идут, а?

СЕМЕНОВ. А ну тебя... (Прислушивается.)

ГЛОБА (подходя к нему). Ты что же? Тебе что, не нравится, что ли?

СЕМЕНОВ. Отстань. (Прислушивается.)

ГЛОБА. А ну, повернись-ка!

Семенов поворачивается.

Дай-ка я на тебя посмотрю, какой ты был? Так. Ну, а теперь, какой будешь? (Бьет его по уху.) А это — для симметрии. (Снова бьет по уху, и третьим ударом валит на пол.) А теперь лежи, тебе ходить по земле нечего. Привыкай лежать. Расстреляют — лежать придется.

ВАЛЯ. Что вы делаете?

ГЛОБА. А то я делаю, Валечка, что морду ему бью, сволочи. Пашни в город ворвались. Теперь кончена моя конспирация. А то, значит, что немцы тикают. И сейчас нас стрелять будут. Это уж точно, это у них такая привычка. И не хочу я перед смертью, чтобы ты меня по ошибке за сволочь считала. Вот, что значит!

ВАЛЯ. (бросаясь к нему, обнимает его). Иван Иванович, милый! Иван Иванович!

ГЛОБА. Ну, чего?

Валя молча прижимается к нему.

Ну, чего там? Чего расплакалась? Как на меня кричать, — так ты плакала. А теперь в слезы? Сердитая ты, девка. Я думал, глаза мне выпарапашешь.

ВАЛЯ. А я так измучилась. Если бы вы только знали, как измучилась.

ГЛОБА. А я — на тебя глядя. Ничего, Валечка, ничего. Ты уж извини. Мы еще с тобой сейчас «Соловей, соловей-пташечка» споём. Только ты, голуба, имей в виду, сейчас расстреливать придут. Это уже непременно.

ВАЛЯ. Пускай, это пускай. Мне уж теперь все равно... Но наши, наши ведь войдут?

ГЛОБА. Войдут! А как же! Потому нас и расстреляют, что наши непременно войдут. Это, как пить дать.

Семенов порывается к двери.

ГЛОБА (опять сваливает его на пол). Ну, куда? Ты же сидел с нами, ты еще посиди. Тебе же немцы с нами сидеть встали. Ну, и сиди. (Обращаясь к Вале.) Ты что же? Слезы-то вытри. Ну их к чорту. Мне их показать можно, а им, сволочам, не надо. Дай-ка я тебе в глаза погляжу. (Смотрит.)

ВАЛЯ. Что?

ГЛОБА. Мне Иван Никитич наказал: в глаза тебе посмотреть и сказать, если вместе помирать будем, одно слово.

ВАЛЯ. Какое слово?

ГЛОБА. Что любит он тебя, просил сказать. Вот и все. Больше ничего.

ВАЛЯ. Правда?

ГЛОБА. Что ж, разве я перед смертью неправду тебе скажу?

Совсем близкие выстрелы. Дверь с треском открывается, вбегают Краузе и солдат с автоматом.

КРАУЗЕ. Все в камеру.

ГЛОБА (обняв Валу за плечи). Пойдем! (Проходят в камеру.)

КРАУЗЕ. Быстрее! (Семенову.) Ты!

СЕМЕНОВ (бросаясь к нему). Господин Краузе... я же ваш. Вы же знаете. Меня нарочно сюда...

КРАУЗЕ (отпихивает его сапогом). В камеру!

СЕМЕНОВ. Подождите! Я должен вам сказать очень важное.

КРАУЗЕ. Ну, быстрее!

СЕМЕНОВ. Этот человек: он — эх. Он все лгал.

КРАУЗЕ. Теперь нам это все равно. В камеру!

СЕМЕНОВ (хватает его за руку). Господин Краузе, позвольте хоть господина капитана, я сам его позову! (Бросается к наружной двери. Когда он оказывается на пороге ее, Краузе стреляет ему в спину. За дверью слышно падение тела.)

КРАУЗЕ (солдату). Ну!

Солдат, подойдя к двери камеры, выпускает внутрь ее автоматическую очередь. Оттуда слышен голос Глобы, поющий: «Соловей, соловей-пташечка, канарсечка жалобно поет... Эх, раз, эх, два!..»

КРАУЗЕ. Ну!

Солдат выпускает вторую очередь. Короткая тишина. За окном близкая трескотня выстрелов. Краузе и солдат выбегают. Снова выстрелы, потом долгая тишина. В дверях камеры появляется Валя. Она трогает себя за плечо, за руку. Рука не действует. Видимо, она ранена в плечо и в грудь. Прислоняется к стенке.

ВАЛЯ (обращаясь назад, в камеру). Иван Иванович, Иван Иванович.

Тишина.

Иван Иванович, Иван Иванович, вы живой? (Молчание.) Иван Иванович, милый, что же это? Смотрите, а я живая. (Молчание.) Неужели я одна живая? (Молчание. Опускается на кресло у стены.)

Слышны выстрелы и грохот шагов. В комнату вбегают красноармейцы и Гаврилов.

ГАВРИЛОВ (останавливается в дверях). Товарищи!

Молчание. Он всматривается.

Товарищи, есть тут живой кто?

ВАЛЯ. Я.

ГАВРИЛОВ (подходит к ней). Это что? Это они сейчас вас, да?

ВАЛЯ. Да, да. Чего-нибудь перевязать... Или нет. Вы сначала посмотрите, может быть, он там живой... Он меня собой заслонил, когда они... но, может, он все-таки живой, а?

Панченко проходит в камеру, возвращается, качает головой.

ГАВРИЛОВ. У меня индивидуальный пакет есть. Я вам сейчас дам.

ВАЛЯ. Дайте. Это наши совсем вошли, да?

ГАВРИЛОВ. Совсем.

ВАЛЯ. А с ним ничего?

ГАВРИЛОВ. С кем?

ВАЛЯ. С Сафоновым?

ГАВРИЛОВ. Ничего. Он такой мужик, бессмертный. Пате, вот бинт.

Валя пробует перевязать себя здоровой рукой, и не может. В комнату входит Сафонов в сопровождении лейтенанта и красноармейца.

САФОНОВ. Ну, вот тут ихняя комендатура была. Тут у них арестованные где-нибудь поблизости... (Замечает происходящую сцену.) Валя!

ВАЛЯ. Я...

САФОНОВ (одному из красноармейцев). Давай кого есть врача, или Шуру. Давай скорей. (Бросается к Вале.) Что это? Что ты молчишь?

ГАВРИЛОВ. Должно быть, сознание потеряла. Только что говорила.

САФОНОВ (берет ее за руку). Правда? Пройдет? Будет она живая, а, Гаврилов?

ГАВРИЛОВ. Будет. Она-то будет. (Кивая на дверь камеры.) А вон там...

САФОНОВ (вскочив, проходит в камеру, возвращается с обнаженной головой). Глоба... Погиб Глоба... Хороший был человек. Ты его мало знал. (Вытирает глаза рукавом.) Много у меня потерь, Гаврилов. Почти сил нет все это выдержать. Но надо.

Вбегает Шура.

ШУРА. Ой, Валечка! Господи ты, боже мой...

САФОНОВ. Не кудахтай. Перевяжи лучше, пока врача нет. (Подходит к столу, наливает стакан воды, возвращается к Вале.) Вот воды ей дай... (Отходит.) Скажи, пожалуйста, Глоба погиб, а?

На пороге появляется Луконин с адъютантом.

САФОНОВ (поворачиваясь). Товарищ генерал-майор...

ЛУКОНИН. Не надо, не докладывайте. Все, что можешь доложить, знаю. Здравствуй! (Обнимает его.) Здравствуй, Сафонов. С разных сторон в одном месте сошлись. Такая встреча — к счастью. (Отстраняет от себя Сафонову.) Э, брат, да ты постарел. Вон ты какой стал!

САФОНОВ. А что?

ЛУКОНИН. Скоро, брат, меня догонишь. (На мгновение снимает фуражку с головы. Голова у него совсем белая.) Видел? Скоро догонишь. Ну, что же, поскольку ты тоже город брал, придется тебе пока тут комендантом гарнизона быть. Но это не надолго, мы дальше пойдем. Теперь уж точно.

САФОНОВ. Точно?

ЛУКОНИН. Точно. Ты же меня знаешь, — как сказал, так и сделаю. (Улыбнувшись.) Если даже лишнее скажу, и лишнее потом сделаю. (Адъютанту.) Ну-ка, на этот стол давай карту. Что стоишь, Сафонов? Садись.

САФОНОВ. Горе у меня, товарищ генерал-майор.

ЛУКОНИН. Ну?

САФОНОВ. Народу много пропало. Хорошие люди были.

ЛУКОНИН. Ну, что же сделаешь. Многих лет. Ничего не сделаешь. Са-востьянова помнишь, на Холхин-Голе?

САФОНОВ. Помню.

ЛУКОНИН. Погиб недавно.

САФОНОВ. А Гулиашвили?

ЛУКОНИН. Живой. Два раза ранили его, опять воюет. Тут, по соседству. (Адъютанту.) Фамилии товарищей, которых немцы здесь повесили, узнали?

АДЪЮТАНТ. Узнали.

ЛУКОНИН. Завтра будем похороны делать. Последнее слово скажем погибшим товарищам. Последнее прости... (Пауза.) Так как же фамилии?

АДЪЮТАНТ (читает). Антонов Иван Николаевич, Петрова Анна Сергеевна, Синцов Петр Андреевич, Неизвестный, Никольский Василий, — это мальчик, — Полуяров Антон Андреевич, Сафопова Марфа Петровна, Гамныкин Алексей Тимофеевич, Дубов Семен Иванович...

ЛУКОНИН. Что с тобой, Сафонов?

САФОНОВ. Ничего. Ничего, товарищ генерал-майор. Ничего. (Вставая и выходя на авансцену.) Ничего такого. Только очень жить я хочу, долго жить. До тех пор жить, пока я последнего из них (схватив из рук адъютанта список), которые это сделали, своими глазами мертвыми не увижу. самого последнего, и мертвым. Вот здесь вот, под ногами у меня.

Занавес

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

## ЛЕНИНГРАДСКИЕ СТИХИ

Эти стихотворения, за исключением стихотворения «Красная Армия», написаны осенью 1941 года, в те достопамятные, драматические дни, когда немецкие орды неуклонно шли к Ленинграду. Тогда народное ополчение широким потоком влилось в ряды армии. Тогда началась бомбежка города, и героические отряды ПВО стали бороться против воздушных пиратов. Тогда явились на подступах к Ленинграду батальоны Бондарева, отразившие попытки немцев прорваться к городу.

И они не прорвались. Ленинград есть и был недоступной для врага крепостью. В те дни осени он был полон неиссякаемой творческой энергии и воли к победе.

## КРАСНАЯ АРМИЯ

В ее тени играли наши дети,  
Поля шумели, жили города,—  
Нет армии любимее на свете,  
Хранительницы мира и труда.

Пройди весь свет, проверь всех  
армий славу,

Пересмотри бывшие времена,—

Нет армии, которая была бы

С народом слита больше, чем она...

Немецких орд железная комета

Явилась на наших рубежах,—

Нет армии, которая б, как эта,  
Комету эту бросила во врах.

И яростная битва закипела,  
Как никогда, безумна и грозна,—  
Нет армии, которая б имела  
Вождей вождей такого, как она.

Народам сон освобождения снится  
В истерзанной Европе наших дней,—  
Нет армии, которая сравнится  
Своею правдой с правдой твоей!

## НАРОДНЫЕ ОПОЛЧЕНЦЫ

Г полнотой избы и до юга страны  
не услышали Сталина речь.

Их речь пронеслась над полями

войны

об народное сердце зазвучь.

Знамя, № 5—6

И повсюду по явился советский народ,  
Ополченец оружие берет,

Как в году девятнадцатом выйдя в  
поход,

Как в ветхилый двенадцатый год.

Снова светит нам солнца геройского  
Дней ли Пулков да дальний мостер,  
Снова ленинский видится нам  
броневик,  
Под которым он руку простер.

И боец запевает о городе несешь:  
Мы не будем о битвах гадать,  
Мы родились, любили, работали  
здесь —  
Этот город врагу не видеть!

Паш город! В нем увидишь ты  
Закалку ленинской черты,  
Неиссякаемую волю —  
Вглядишь: в нем — сталинская статуя  
Не может в битве он устать,  
Врата он к бегству приневолит!

Трясе же, фаллист, головою,  
Гляде, обалделый солдат,  
Как море шумит грозное,  
Шумит грозной Ленинград.

По все это только начало,  
Та буря копилась давно,  
То море уже закачалось,  
Уже не утихнет оно.

Всей кровью фашистскою, черной  
Той бури врагам не залить —  
Так жги их, наш гром рукотворный,  
Гроза ленинградской земли!



Враг ломится в наши ворота,  
В страну нашей светлой зари,  
Учись же владеть пулеметом,  
Винтовку, приятель, бери!

Так бей его пулей на месте,  
Колн его крепче латыжом.

Мы жили, товарищ, богато,  
Позарился враг на добро —  
Бери же на пояс гранату,  
И острое пуль серебро.

Победа! Наш клич и награда,  
Врагу не сносить головы,  
Выходят полки Ленинграда,  
Полки светозарной Москвы.

Мы мирно трудились все вместе,  
А враг подобрался тайком —

Пусть трусу не будет прощенья,  
Пусть множится доблесть в борьбе,  
Пусть песня народного мшеля  
Замечит все песни тебе!

---



## ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ

### РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ

#### ПОДХОДЯЩИЙ СЛУЧАЙ

**Д**еревушка была крохотная, и, что называется, на отшибе. Ютилась она в пустом лесу, вдали от больших дорог.

Немцы, продвигаясь вдоль автострады, прошли и не заметили этой деревни. Так оставалась она больше месяца в глубоком немецком тылу нетронутой.

Сильные мужчины и женщины ушли партизанить, а старики и старухи остались. Они постановили: печей днем не топить, чтобы не обнаружить себя дымом, и никому не разрешали выходить за околицу, чтобы не было троп. Постепенно дороги занесло снегом, пушистым, сдобным, нетронутым.

И вот стукнули наши бойцы немцев. Дороги стали проходить на свалку, где вперемежку с разбитыми немецкими танками валялись мороженые трупы солдат. Немцы кинулись в лес. Небольшой отряд их набрел на притаившуюся деревушку и занял ее. Уже неделю жили немцы в деревне; свою шпивую одежду они выбросили на мороз, оделись во все хозяйское, целыми днями варили в горячей воде ноги с обмороженными, подгнившими пальцами, резали скотину и жрали.

Немцы начали погромы, разбои и расстрелы населения. Они успели расстрелять трех колхозников и одного повесили — Аркадия Григорьевича Мальцова. Повесили в коровнике, потому что на улицу им для этого дела выходить не хотелось — было очень холодно.

Жители деревушки каждый день ждали прихода Красной Армии. Они тайком связывались с партизанами и готовились уничтожить немецких оккупантов.

Ефрейтор Кузьмин тоже случайно набрел на эту деревушку с четырьмя своими разведчиками. Деревушка, запорошенная снегом, стояла, как неживая.

— Вот интересно, — сказал Кузьмин, — дома все целые, а людей не видно, словно захлебнулись они тут в снегу.

И, приказав бойцам ждать его, пошел один в деревню.

Не успел он дойти до гумна, как навстречу ему попала старая женщина. Она шла на коромысле мокрое белье. Остановил ее Кузьмин и спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, гражданка, какая у вас здесь власть?

Женщина сердито на него посмотрела и говорит:

— Известно какая, советская.

Кузьмин обрадовался и спрашивает:

— А где тут у вас отдохнуть и закушать можно?

— А много вас?

— Много.

Женщина задумалась, потом сказала:

— Хорошо, мы согласны вас принять, только вы темною погодя зайдите со своими людьми, а мы пока хаты приберем.

Кузьмин ушел за бойцами, и когда он снова вернулся в село, то увидел на улице человек тридцать народу и знакомую женщину. В руках у нее было знамя, на нем надпись: «Да здравствует 1 Мая».

Кузьмин подошел, поздоровался, и, указав на знамя, спросил:

— Что это, товарищи, у вас за праздник?

Ему сказали:

— Да как же не праздник, когда к нам Красная Армия снова пришла. Зовите, товарищ командир, ваших бойцов. Мы все приготовили для их встречи.

Кузьмин, показав на своих четырех разведчиков, сказал:

— А вот и все мои бойцы.— И тут он увидел, как граждане, словно растерявшись, стали встревоженно шептаться между собой.

Кузьмин спросил:

— В чем дело?

Тогда женщина ему обижено сказала:

— Зачем вы нас обманули, товарищ командир? Вы сказали, что вас много, а вас вовсе не много. А мы из-за вас сейчас своих немцев порезали. Чего ж нам теперь делать?

Кузьмин задумался, потом улыбнулся и сказал:

— А чего вы сейчас с ними делаете, то и делайте.— Потом серьезно добавил: — Только, я думаю, больше вам кустарничать не придется. Ведь я вас не сильно обманул. И хотя немцы здесь еще бродят, только вы теперь не у них в тылу находитесь, а у нас. Потому что Ильинское давно уже в наших руках, и там наши главные силы.

Все закричали «ура» и после митинга повели бойцов к себе ободать. А пожилая женщина, шатая рядом с Кузьминым, твердым голосом сказала:

— А ведь я вас тоже не обманывала, товарищ, когда сказала, что у нас советская власть. Хоть немцы у нас тут и были, но я, как председательница, давно их обсудила с народом, только вот подходящего случая ждали. Ну и дождалась!

## УЖИН НА РАССВЕТЕ

К вечеру немцы были выбиты из села. Первая рота ворвалась с западной окраины, вторая — с юго-восточной, третья находилась в засаде. Но остатки немецкого отряда бросились не к болыпаку, как рассчитывал командир роты, а, прорвав цепи, ушли по целине.

Командир батальона вошел в первую появившуюся избу, разложил на столе карты и сел за стол, злой, пахмуренный, но снимая шапку.

Хозяйка, пожилая, высохшая женщина, с каким-то молитвенным восхищением смотрела на озабоченное, в грубых, резких морщинках лицо командира и все никак не решалась сказать, что петух, которого она целый месяц прятала от немцев в подполье, уже зажарен и не пора ли его подавать.

И когда командир, переключивая листы карты, уронил карандаш, женщина поспешно наклонилась и, шаря по полу в поисках карандаша, жарко, обрадованно зашептала:

— Голубчики вы наши, спасители...

Командир, смутившись, сказал:

— Зачем это вы, гражданочка, я и сам мог...

— Милый ты мой, — запричитала женщина, — да ведь радость-то какая! — И, став вдруг смелой, она сняла со стола карты и, вытащив из печи протопленку с жареным петухом, все с той же поспешной жадностью, заговорила:

— Кушайте, товарищ командир, поправляйтесь, чтоб извергов, палачей наших...

Командир поморщился так, словно ему не петуха предлагали, а жареную собаку, и, пробормотав что-то невнятное, вышел из хаты на улицу.

Приказав связанному вывезать командира третьей роты Савчука, комбат сел на заснеженную скамью, стал жадно курить.

Ночь была чистая, морозная, и снег сверкал так, словно фосфоресцировал.

Немного погодя пришел командир третьей роты Савчук. Коренастый, широкоплечий, в белом покоробившемся маскокомбинезоне с капюшоном, он походил на родолаза. Но лицо у него было явно встревоженное.

Комбат встал и сказал глухо:

— Люди нас тут курятиной угощают. Почести воздают. А мы что же? Упустили немцев.

— Так ведь штук восемьдесят уничтожили, — сказал Савчук и повел плечами, отчего весь его маскокомбинезон затрепал.

— А остальные ушли?

— Ушли, — тихо произнес Савчук.

— А что догонять надо, об этом разве приказа не было?!

— Был.

Савчук задумался, потом вдруг взволнованно сказал:

— Товарищ командир, пришло.

— Что пришло?

— Мысль пришла, — и Савчук, торопясь и захлебываясь, стал излагать свой план. — Нужно в санбате собачьи упряжки попросить — рапных все равно нет. Усадим на сани пулеметчиков, автоматчиков и в дорогу.

Комбат испытующе посмотрел в глаза Савчука.

— Будьте уверены, — сказал Савчук бодро, — полный расчет будет.

Комбат вернулся в хату.

До рассвета просидел командир, склонившись над картой возле чадающей котилки, и жевал черные сухари.

Когда на улице раздался собачий лай и топкий визг полозьев, комбат вскочил и бросился к выходу.

В хату вошел Савчук. Лицо его было багрово-синего цвета, брови, ресницы покрыты белым мхом инея, но глаза блестели весельем.

Стягивая через голову хрустящий маскокомбинезон, Савчук говорил:

— Поимели вчистую. Прямо на ходу. С нашей стороны потерь нет. Двух собак убили гады. Ну, уж это на мою шею — в санбате отчитываться.

Комбат, усадив Савчука к столу, взял ухват, вытащил из печки жареного петуха и, торжественно ставя его на стол, сказал:

— Теперь у нас совесть чистая. А то что получалось?

— Это верно, согласился Савчук, наливая себе в стакан,— некрасиво получалось.— Потом, глядя на жареного петуха, задумчиво произнес:— А гордая, видать, птица была.

— Ну, будем здоровы,— сказал комбат и первый раз улыбнулся.

И сразу стало видно, что это еще совсем молодой человек с застенчивым лицом, а вовсе не тот человек, каким мы его видели все время, с грубыми морщинами на щеках и ледяными, невозмутимыми глазами.

## ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Во время штурмовки вражеского аэродрома осколками зенитного снаряда лейтенанту Коровкину перебило обе руки, а осколками разбитого козырька кабины жестоко разрезало лицо.

Истекая кровью, Коровкин дотянул поврежденную машину до аэродрома и совершил посадку.

В госпитале он спросил врача:

— Скажите, доктор, я смогу летать?

Доктор посмотрел в глаза молодому пилоту и сказал просто:

— По-моему, летать вам еще нескоро придется.

— Ну, это мы посмотрим,— сказал Коровкин.

Ночью, когда в палате все заснуло, Коровкин сунул забинтованную голову под подушку и стал плакать. К утру у него поднялась температура. Доктор, встряхнув термометр, сообщил:

— Если будете перешищать, то прав буду я, а не вы.

Шел снег, сухой, чистый, и в воздухе было бело и сумрачно. Погода была полетная.

Мы сидели в тепло натопленном блиндаже и говорили о Коровкине.

Приборист Вася Бодров, сидя на корточках перед открытой дверцей печи, чинил какой-то аэронавигационный прибор. Низко наклонившись к огню, он сказал печально:

— Коровкин книгу какую-нибудь просил. А где подходящую достать? Нужна такая, чтоб настроение подняла, а то совсем заскучал парень.

Я стал рыться в крохотной библиотечке эскадрильи, целиком уместившейся в железном ящике из-под ракет. Но ничего подходящего найти не мог.

Волею генерала Галаджий. Сев на пары, застланные соломой, он спросил, чего я ищу. Выслушав, сказал:

— Книжки, конечно, на любой случай жизни еще не написано. Но вот я в одной статье прочел, что, когда Владимир Ильич Ленин был болен и раны его от отравленных пуль открылись, он тоже попросил принести ему что-нибудь почитать. Сочинение американского писателя Джека Лондона принесли ему. И Ленин там один рассказ похвалил: «Любовь к жизни» называется. Интересно было бы такую книгу достать.

— А где достать ее тут, в степи?

— Достать все можно, если надо.— Галаджий выжмурил папиросу, пошел и вышел из блиндажа. Когда он откидывал палатку, повешенную на входе, пахнуло яростным ветром, колючим, сухим снегом.

Бодров, прислушиваясь к тикам механизмов, сказал:

— Коровкин Миша милой души человек, а вот рапкин — и сдал. Ну, разве от первого промирают? — Повернув ко мне лицо, озаренное красными движущимися бликами огня, он громко произнес: — Галаджий говорит, что кто смерти не хочет, тот должен уничтожать ее, убивая врага.

Зазвонил телефон. Бодров взял трубку.

— Гранит у аппарата! Галаджий!? Да разве он улетел? Нет, еще не вернулся. Доложу, товарищ командир! — Положив трубку, Бодров заветливо сказал: — Вот отчаюга Галаджий! В такую пургу вылетел. Тут дров махать в два счета можно. Видимости никакой.

Трещали в печке сырые дрова. Мирно тикал прибор, исправленный Бодровым. Несколько раз звонил командир полка, осведомляясь, не вернулся ли Галаджий.

И вот послышался стонущий рев мотора. Он то пропадал, то возникал с новой силой.

Бодров схватил полушубок и, накинув его на плечи, прыкнул мне:

— Галаджий прилетел! Аэродром ищет. Плутает. Ах ты оглашенный какой человек! — и выскочил наружу.

Минут через двадцать Бодров и Галаджий вошли в блиндаж. Отряхнув с себя снег, Бодров спросил, глядя с тревогой на Галаджия: — Где это вы так извозились?

— Маслопровод лопнул. Всего захлестало, — равнодушно объяснил Галаджий и полез в карман. Когда он вынул оттуда пропитанный маслом, слипшийся ком бумаги, лицо его вытянулось, и он дрогнувшим голосом растерянно произнес: — А я еще библиотекаршу будил. Ругался. Насилу вытащил. И вот надо ж случиться такой катастрофе.

Галаджий попытался выжать из книги масло, но бумага только разлезалась. Тогда он взял телефонную трубку и вызвал синаптика.

— Через час меня разбудить, — сказал Галаджий Бодрову и лег на нары.

— Так вы снова полетите?!

— А ты как думал? На весь город у них один экземпляр, что ли, — грубо сказал Галаджий и, нагнув на голову одеяло, сразу уснул.

## ГВАРДЕЙСКИЙ ГАРНИЗОН ДОМА № 24

Из окна коммандатуры застучали станковые пулеметы. Очередь прошла сначала над головами бешено скачущих лошадей, потом расщепила оглоблю, и пули, глухо шлепая, пробили коню брюхо, по-птичьей вытянутую шею.

Вторая упряжка свернула на тротуар и помчалась дальше. Став в саях на колесах, Горшков метнул в окно коммандатуры гранату. Савкин, лежа в саях, был вдоль улицы из ручного пулемета. Кустов, наматывая на левую руку вожжи, сбросив с правой рукавицу, свистел. Этот злобный свист, полный удали и отваги, сильный и трепетный, врезался в сердце леденящим восторгом.

Чутунная тумба пошла под сапги. Бойцов вышибло из разбитых саней. Волоча обломки, лошади усекали.

Улегшись в канаве, Савкин отстреливался от голубомундирных эскадронов, уцепившихся в коммандатуру. Горшков вскочил в двери ближайшего дома. Через секунду он выбежал паружу, и, приклонясь к косяку, метнул вгущь гранату.

Взрывом вырвало стекла вместе с рамами.

Поднявшись с земли, Горшков крикнул:

— Сюда, ребята!

Кустов вошел в наполненное дымом здание. За спиной у него был миномет, два железных ящика с минами висели по бокам. В руках он держал за веревочные петли ящики с патронами. Продолжая отстреливаться, вышел Савкин. Но оглядываясь, он последние приладил на подоконнике пулемет и продолжал бить веротопиачи очередами.

Немецкий офицер, шатаясь, поднялся с пола. Кустов, руки у которого были запяты, растерялся. Потом высоко поднял ящик с патронами и с силой обрушил на голову немца.

Ящик треснул от удара, и пачки патронов посыпались на пол.

Пули с визгом ударялись в стены и крошили известку. Протирая слезящиеся от известковой пыли глаза, Савкин перебегал от одного окна к другому, меняя огневую позицию. Поставив стол, на него табуретку и забравшись на это сооружение, Горшков стрелял по автомата в круглое отверстие для вентилятора.

Немецкие солдаты вытащили на крышу соседнего здания тяжелый станковый пулемет. Тяжелые пули, ударяясь о каменную стену, высекали длинные белые искры. Но прибежал взволнованный офицер и приказал солдатам прекратить стрельбу.

Дело в том, что немецкий гарнизон, оставленный в укрепленном городе, должен был прикрывать отступление своих сил. Они были обречены, эти солдаты, и знали об этом.

Первым, обеспокоившись наступившей тишиной, утрюмо сказал Горшков:

— Что же такое, ребята, получается! Приехали три советских гвардейца, а немцы, выходит, на них внимания не обращают.

Савкин, зажав в коленях диск и закладывая патроны, оторченно добавил:

— А командиру чего обещали? Не получилось шаники.

— Получится, — сказал глухо Кустов и, взвалив на спину миномет, полез по разбитой лестнице на чердак.

Ожору здание начало мерно вздрагивать. Это Кустов уже работал у своего миномета. Прорезав кровлю, выставив ствол наружу, он вел огонь по немецким окопам, опоясавшим город.

И немцы не выдержали. Они открыли яростный огонь по дому, в котором были гвардейцы.

Горшков, прижавшись к стене, радостно кричал:

— Вот это запаривали, вот это да!

Горький дым пошел из чердачного люка, обдавая утарным теплом.

Командир батальона сказал:

— Boys, вы слышите эти выстрелы? Это дерутся наши люди. Тысячи людей, которые обрушились на них, могли обрушиться против вас. Пусть знают, что из них будет жечь ваше сердце. Вперед, товарищи!

Батальонный любил говорить красиво. Но в бою он не знал страха. И если бы сейчас можно было ходить с развевающимся знаменем в руках, он держал бы это знамя.

Бой пошли в атаку.

А крыша дома № 24 уже валил черный дым, и яркое пламя шевелилось на чердаке, порываясь взлететь в небо.

Спустившись с чердака в тлеющей одежде, жмурясь от дыма, Кустов прилаживал к окну миномет.

Немецкие солдаты пытались взять дом штурмом. Взрывом гранаты выпило дверь. Ударом доски Кустова бросило на пол. Напарив в дымном мраке автомат, прижав приклад к животу, он дал длинную очередь в пустую дверную нишу, и четыре солдата растянулись на пороге.

Тогда немцы выкатили пушку.

Савкин гордо сказал:

— До последней точки дошли. Сейчас из пушки шуметь будут.

Горшков добавил:

— Выходит, ребята, мы задание перевыполнили.

Кустов, глядя на свои раненые ноги, тихо произнес:

— Уходить даже неохота, до чего здорово получилось!

В грохоте взрывов тяжелые осколки битого кирпича вырывало из шатающейся стены.

Батальон ворвался в город и после короткой, тесной схватки занял его.

Командир батальона выстроил бойцов перед развалинами разбитого дома и стал произносить речь в память трех павших гвардейцев.

В это время из подвального окна разбитого дома показался человек в дымящейся одежде, за ним другой, третьего они подвинули и повели под руки. Став в строй, один из них сильно осведомился: «Что тут происходит?» И когда боец объяснил, Савкин сердито сказал:

— Немцы похоронить не могли, а вы хороните.— И хотел доложить командиру.

Но Кустов сказал:

— После доложим. Интересно послушать все-таки, что тут о нас скажут такого.

И командир произносил пламенную речь, полную гордых и великолепных слов.

А три гвардейца стояли в последней шеренге крайними слева с вытянутыми по швам руками и не замечали, как по их утомленным, закопченным лицам катились слезы восторженной скорби.

И когда командир увидел их и стал упрекать за то, что не доложили о себе, три гвардейца никак не могли слова произнести, так они были изволнованы.

Командир, махнув рукой, сказал:

— Ступайте в санбат,— и спросил: — Теперь, небось, загоритесь?

И два гвардейца повернулись, щелкнув каблуками, и, взяв на руки третьего, понесли его в санбат.

---

## ШТУРМАНСКОЕ САМОЛЮБИЕ

Полковник вызвал к себе командира корабля капитана Ильина и штурмана, старшего лейтенанта Фирина.

По тому, как их принял полковник, оба летчика сразу поняли, что предстоит нахлобучка.

Полковник, не предлагая сесть, спросил:

— Вы доложили, что мост через реку взорван?

— Точно, — подтвердил Ильин.

— А что вы скажете на это? — и полковник бросил на стол аэрофото-снимок.

Оба летчика, встревоженно наклонились над снимком. Выпрямившись, с покрасневшим лицом, штурман Фирин растерянно произнес:

— Курс был точный. Ничего не понимаю.

— А я понимаю, — сухо сказал полковник. — Вы не выполняли боевого задания! Можете идти.

Летчики вытянулись и, резко повернувшись на каблуках, вышли. На улице они остановились.

— История! — печально вздохнул Ильин. — Я же собственными глазами видел. А тут поди ты. Фотография же врать не может.

— Костя, — возбужденно хватая друга за плечо, сказал Фирин. — Ведь ты пойми, тебе что! Тебя я веду. И вдруг у меня, у первого штурмана нашей эскадрильи, такая история. Нет, не могу! Пойду, попрошу полковника.

— Да о чем просить? Ты подожди, не волнуйся.

По Фирин уже открыл дверь в хату, где находился командный пункт.

Ильин сел на завалинку, закурил и, печально глядя перед собой, стал жать.

Скоро Фирин появился. Лицо его сияло.

— Разрешил, — заявил он с воодушевлением. — Разрешил лично проверить. Я за свой курс жизнью отвечаю. Не может этого быть, чтобы мост целым остался. Никогда не может...

Вечером Фирин пришел на аэродром. Поверх комбинезона у него была брезентовая сумка, в которой обычно подрывники носят взрывчатые вещества.

Тяжелый бомбардировщик готовился к полету в глубокий рейд над расположением противника.

Фирин показал разрешение полковника и, надев парашют, поместился в качестве пассажира в отсеке бортмеханика.

Тяжелая машина легко оторвалась от земли и ушла в темное, ночное небо.

Фирин часто вставал и выходил в штурманскую рубку, сверить курс. После двух часов полета он обратился к бортмеханику и знаками попросил его открыть бомбовой люк. Когда люк был открыт, Фирин наклонился над ним, пристально разглядывая покрытую дымкой землю. Вдруг он сделал такое движение, какое делает пловец, бросаясь с вышки в воду, и исчез в голубом провале бомбового люка.

Бортмеханик замер у пульта приборов с поднятой рукой.

Самолет продолжал лететь в сумрачной чаще облаков, даже не дрогнув.

Пришло немало дней. Ильин летал теперь с новым штурманом. Ревнуя к памяти своего друга, он относился к новому штурману неприязненно и говорил с ним только по вопросам, касающимся их совместной летной работы.

И вдруг Ильину говорят:

— Вернулся Фирин.

— Да где же он?

— А в бане.

Прямо в меховом комбинезоне, в унтах Ильин ворвался в баню. Он сразу узнал такую фигуру своего друга, усердно мылвшего голову на третьей полке, обнял его и прижал к своей груди.

Вырвавшись из объятий Ильина, Фирин сказал с грустью:

— Придется теперь опять мыться, — и снова полез на полку.



Вечером они сидели друг против друга и пили чай.

Фирин рассказывает:

— Ну что ж. Ну, выпрыгнул. Потом пешком пошел. В сумке у меня, конечно, взрывчатка. Раз с воздуха не подорвали, значит, с земли придется. Ну. Ну, конечно, встреча была. Отстрелялся все-таки. Приполз к мосту. А его нет. То есть, пожалуй, он есть, но только вроде как не настоящий, фальшивый. Поверх взорвавшихся пролетов они деревянный настил положили и черной краской под металл выкрасили, а обложки ферм, которые рядом валялись, — покрыли известкой. Вот на фотографии оскорбительная для нас картина и потучилась. Сами немцы, конечно, в другом месте переправу навели. Я ее потом нашел. Думал, неудобно домой обратно взрывчатку тащить. Ну, и не пользовал. Потом, конечно, все пешком, да пешком. Летать, не понимая толком, что такое расстояние, а тут, брат, до того ноги свели, что теперь только летать могу.

— А полковнику докладывал? — глядя с нежностью и восторгом на Фирина, спросил Ильин.

— Докладывал. Он сказал: «Хорошо! Самолюбие, — говорит, — у летчика — его дополнительная мощность». А я ему говорю: «У летчиков, конечно, тоже огромное самолюбие, но, вы извините, товарищ полковник, вы еще нашего штурманского самолюбия не знаете». А он говорит: «Знаю, теперь очень хорошо знаю. И раз вы себя в нашей ориентировке тоже отличным штурманом показали, я теперь вас с Ильиным по одному интересному заданию пошлю». А я сделал вид, что не очень обрадовался. «Спасибо», — говорю, трясущей ему руку, а у самого дыхание и все такое. А он говорит: «Вы не радуйтесь. Вы у меня сначала отдохнете, как следует». — И Фирин грустно закончил: — Должен я теперь отдыхать. А у меня ноги болят. И по земле мне ходить невозможно. Мне летать надо.

— Ничего, Вася, — сказал Ильин мечтательно, — мы еще с тобой когда-нибудь летаем. — Потом Ильин взял гитару и сказал: — А я тут про тебя песню сочинил.

Фирин вежливо уверял, что она ему очень понравилась.

## КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ БОЙЦА СИМУКОВА

Боец Симук с двумя товарищами пробрался к вражескому ДЗОТу, уничтожили всю его команду. Вооружившись трофейным станковым пулеметом, бойцы сняли охранение и открыли огонь по немецкой пехоте. Их окружили фашистские автоматчики. Один боец был убит, другой ранен. Симук вел огонь, пока были боеспособны, а потом двух фашистов заколов штыком, он вырвался из вражеского кольца и вынес своего раненого товарища.

Я разыскал этого человека, совершившего подвиг, чтобы написать о нем в газету.

Мы встретились в лесу, таком белом, словно каждое дерево было сделано из матового стекла. Высушенный стужей воздух был голубым, чистым.

Симук сидел на снегу. Перед ним была разложена плащ-палатка. А на плащ-палатке лежали золотой грудой патроны, которую он тщательно осматривал, прежде чем заложить в крутые патрассы автомата.

Симуков радушно предложил мне сесть на плац-палатку и сказал:

— Очень во-время вы, товарищ корреспондент, пришли, а то я сам было собирался заметку в газету писать и все боялся, как бы порохово не получилось.

Потом, вынув кисет, он предложил:

— Вы закуривайте, а я расскажу. Записывать не надо. Если у вас память человеческая есть, тогда все запомните.

Село тут недалеко было от Боровска. В нем немцы. Село это подступом к городу служило. Приготовились немцы к обороне хорошо. На восточной окраине села перед открытой поляной устроили засаду: два миномета, четырнадцать станковых и много ручных пулеметов. Немцев мы решили в клещи взять. Одна группа пошла с запада, лесом, а другая с востока, через переправу. Переползли мы по льду так ловко, что немцы нас не заметили. Но заметили нас наши русские люди. И вот, глядим, бежит по кочегору мальчишечка. Бежит, руками машет, а по нему немцы уже из автоматов бьют. Скатился он к нам с крутого берега прямо на спяне. Поднялся, сердитый, красный такой. Вытряхивает снег из валенок и спрашивает, кто у нас здесь командир.

«Ну, я командир»,— говорит ему капитан Иванов.

Паренек насушился, сердито так блестя глазами и кричит: «Так куда же вы шлете? Не видите, что у немцев там засада? Теперь я вас поведу, как надо».

Командир задумался, потом с беспокойством спрашивает: «Слушай, мальчик, может, тебя подослал кто?»

«Меня мать послала, вот кто!» — ответил мальчик, гордо он ответил.

И провел нас этот мальчик лощиной, вышел на другую окраину села, балочкой; задворками, по деревне пробрались мы в тыл немецкой засады, и упичтожили мы немцев, но не очень шумно — штыками.

Симуков задумался и, поджав голову, сказал:

— Теперь вы мне, товарищ корреспондент, скажите: где еще есть на свете такие матери, которые могут так свою землю любить, как наши русские женщины? Ведь она сына на смерть посылала. Ради нас, бойцов. Вот ведь что-то в чем.

Потом он озабоченно сказал:

— Фамилию и имя паренька уж вы запишите — Андрианов Иван. Наше козачество его к ордену представило. Вот ведь какие интересные люди живут в нашей стране!

---

ЕВГ. ВОРОБЬЕВ

## НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ ГВАРДЕЙСКОЕ ЗНАМЯ

Скупой ноябрьский закат отгорел быстро, и все вокруг стало синим — небо, сосны, снег.

Конники выстроились полукругом на лесной прогалине. Раздалась команда: «Шашки к бою!» — и пятьсот клинков сверкнули стальной синевой.

Конники подняли шашки над головой, а затем приложили острия клинков к плечам. Кони переступали с ноги на ногу, стоя в глубоком снегу.

На торжественную церемонию съехалось три эскадрона. Все другие оставались за дальним синим лесом, откуда доносилась канонада.

Генерал-майор Доватор спешился, опустился перед знаменем на колени, поцеловал древко и принял его из рук представителя Генерального штаба.

Доватор сказал казакам короткую речь и впервые назвал их гвардейцами. В лесу прозвучала клятва: «Москвы не отдавать!»

Командир эскадрона Георгий Соболев подбежал к генералу на своем Нарциссе. То был темногнедой жеребец донских кровей с золотистой гривой, с лысиной на лбу, которая сейчас казалась синей, и в «чулках», которые были скрыты глубоким снегом.

Соболев вложил в ножны шашку с рукоятью из черного серебра, ладную дедовскую шашку, которая переходит от отца к сыну в казацком роду Соболев из донской станицы Усть-Медведицкой.

Он принял знамя, поставил его у стремена на носок сапога, развернул своего допчак и пустил вдоль фронта. На пол-лошади сзади с шашками наголо ехали ассистенты Соболева — Саркисян и Воробьев.

Казаки стояли в строю, держа равнение направо, и провожали глазами шуршащее гвардейское знамя с изображением Ленина.

Знаменосец с ассистентами проехали на правый фланг.

Эскадроны тронулись с места. Кони утапывали синий снег. Тихо было в лесу. Слышались только приглушенные снегом удары копыт, поскрипывание седел, бречанье уздечек и ржанье коней.

Синее высокое небо родины стояло над эскадронами.

Конногвардейцы направлялись в ту сторону, где недавно отгорел закат.

## КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ

У меня была банка рыбных консервов. Я хотел открыть ее ключом, но мой спутник запротестовал:

— Зачем, у меня есть консервный нож.

Случайные знакомые, фронтовые попутчики, мы сидели на обочине дороги, свесив ноги в кювет.

Вместе мы «голосовали» с утра под Дорогобужем, вместе «голосовали» на фронтовых дорогах и добирались в одну и ту же часть.

Спутник мой вытащил из кармана пригоршню всякой металлической дребедени и выложил ее на траву.

Здесь были шинельные пуговицы, запал от гранаты, мундштук, связка ключей, листовые патроны, огрызок карандаша и обещанный консервный нож.

Я взял консервный нож, а спутник мой начал один за другим прятать обратно свой нехитрый карманный скарб.

Когда дошла очередь до связки ключей, мой попутчик подбросил ее на ладони, прежде чем спрятать в карман.

— Ключи от моей квартиры. Минск, улица Горького, дом номер тридцать один, квартира девять.

Он задумчиво перебирал ключи, нализанные на кольцо.

— Вот этот, большой — от парадного, узенький — от входной двери, там у нас французский замок. Этот — от Люсиной комнаты, а этот — от моего письменного стола... Знаете, — добавил мой случайный знакомый с грустной улыбкой, — я очень боюсь потерять эти ключи. Возможно, конечно, что дом сгорел. Но это не обязательно. А в Минск я все равно еще вернусь.

И он бережно спрятал в карман ключи от своей квартиры.

## ДЕРЕВЕНСКИЙ ПЕЙЗАЖ

На какое-то мгновение все стихает. Непрочная, обманчивая тишина будет длиться всего несколько минут — до нового разрыва снаряда.

Проселочная дорога изрыта воронками. Опережая меня, по дороге во весь опор скачет всадник. Батальон ушел вперед, связной спешит ему вдогонку. Острелянная, непутливая лошадь умело, не замедляя бега, огибает воронку.

Из клубов дорожной пыли вырисовывается силуэт раненого. Даже на каске его — пыль. Раненый ступает трудно, преодолевая боль, но не бросает винтовки. Он несет ее не по уставу — ремень на шее, винтовка поперек груди, — он все-таки несет ее, а это самое главное.

Я даю ему свою флягу с водой. И пока раненый жадно пьет, ухватив флягу обеими руками, показываю дорогу на медпункт.

На обочине, в голубой дорожной пыли — немецкая каска. Она продырявлена осколком, который, очевидно, пришелся кому-то по темени.

Где похоронен бывший владелец каски? Здесь же по соседству или, быть может, дальше у околицы деревни, где немцы устроили целое кладбище?

Песев выбили из Березни уже давно — минут сорок назад.

Батальон прошел вперед, не оставив в деревне никого.

Я отстал, так как шел вместе с медсестрой Марией Ивановной. По пути в Березню она сделала три перевязки.

На краю деревни горит дом, и пожар тушить некому. Березня — как будто вымерла.

Раньше я всегда думал, что пожар — это крики, паника, суматоха. Со свистом поджигают машины. Из окон летят вещи. Выбегают полурасдетые люди. На лестницах у самого огня — мокрые пожарные.

А этот дом на окраине деревни горит сам по себе. Это странно и страшно. Крыша уже рухнула. Сейчас занялись наличники на окнах, перила крыльца, лавочка и дверь.

Немцы подпалили свой вчерашний кров, который оказался для них столь неприятным и недолговечным.

Через дорогу от горящего дома — остов русской печи. Он высится по середине черного квадрата, среди утлей и золы, — все, что осталось от дома. По кучкам золы на траве можно определить также, где стояли надворные постройки.

Изгородь у палисадника сгоревшего дома и забор спасены. Но ворота и калитка стоят нетронутые. Ворота заперты на засов, калитка прихвачена щеколдой.

В палисаднике, как ни в чем не бывало, отцветают подсолнухи. На березе, спаленной зноем пожара, живут в скворечнике скворцы.

Пчелы жужжат, как пули, много бездомных пчел. Немцы разорили ульи на колхозной пасеке.

Цыплята вразброд бегут по улице, одни желтоклювые цыплята без квочек. Всех кур успели выловить немецкие постоляны.

Цыплята бегут по безлюдной улице, где, уткнувшись лицом в пыль, лежит мертвый немец.

Он лежит, и рядом с ним не видно даже маленькой струйки крови. Земля высохла до трещин. Кровь впитывается в нее сразу, она не успевает растекаться.

Я прошел всю деревню насквозь, не увидев ни одного жителя. Уже в дальнем конце Березня, за околицей, я увидел женщину.

Она выбежала на дорогу из нескошенной, шпикшей ржи и бросилась навстречу.

Тотчас же во ржи показалось двое ребятишек — мальчик постарше и девочка. Очевидно, они отсиживались во время боя где-нибудь в воронке от снаряда.

Хорошо помню темное от загара, еще молодое лицо женщины и тяжелые, большие руки, брошенные мне на плечи.

— Роденький мой, освободитель жизни! — запричитала женщина. — Цей тебе бог здоровья и силушки, стреляй немецких продов, как сегодня. Спасибо, спасибо тебе, освободитель наш.

В тот августовский день я не сделал ни одного выстрела. Тем не менее, я не чувствовал никакой пеловкости от того, что меня благодарят за освобождение деревни Березня. Позже я бывал во многих освобожденных селениях и городах, когда еще зола на пепелищах была горячее и рядом отгорал уличный бой. Но Березня была первой отбитой у немцев деревней, в которой мне довелось побывать. Очевидно, поэтому так хорошо запомнился деревенский пейзаж.

Нескошенная рожь, в отчаянии подступившая к самой околице.

Ворота, ведущие в чистое поле.

Цыплята, бегущие без квочки.

Горький запах гари, который, казалось, подымается до самого неба.

Построенный блиндаж набит битком. Начподив делает инструктивный доклад, сидя на койке. Он часто закрывает глаза и каждый раз с трудом подымает тяжелые веки.

Политруки сидят на пустых ящиках из-под мин, на постели адъютанта в дальнем углу, на полу, устланном соломой.

«Летучая мышь» висит на земляной стене рядом с противогазом и пузатой полевой сумкой. Лампа не столько светит, сколько чахнет.

Но политруки сидят с блокнотами в руках и в полумраке записывают указания начальника.

Политрук второго батальона Дорохов сидит, сгорбившись, на ящике около печки. Дорохов держал блокнот на коленях, и никто не заметил, когда блокнот упал на солому.

Дорохов попрежнему держал карандаш в руке и сидел в позе пниущего человека. Но тем не менее он спал.

Я перестал прислушиваться к словам начподива, немного сухим, официальным. Я смотрел на Дорохова, уронившего голову на грудь, как будто он рассматривал свой пистолет и думал о границах человеческой усталости.

Помимо всего прочего, люди на войне очень много работают и смертельно устают.

Люди валяются с ног, подожженные переутомлением, отвыкают от отдыха. Люди спят стоя, сидя в седле, лежа под дождем.

Я видел сапера, который опал под проливным дождем. Это было на берегу Днестра, в нескольких шагах от моста, который сапер строил. Сраженный усталостью, сапер упал на взмокший прибрежный песок. Капли дождя струились по его лбу, щекам, подбородку, затекали за шиворот. А человек крепко спал под холодным сентябрьским дождем.

Я видел, как сон настит телефониста батареи. На линии работал его сменщик, и батарея могла обойтись без спящего. Для того чтобы войти в землянку, нужно было переступить в полумраке через тело бойца. Телефониста пытались будить из всех сил. Его трясли за плечо, тянули за нос, наконец, выстрелили над ухом из пистолета — напрасно!

Я видел хирурга, который заснул, сидя на табурете, в перерыве между двумя перевязками. Хирург спал, опустив голову на грудь. По руки в мутно-желтых резиновых перчатках он держал в воздухе, на весу, согнутыми в локтях. Даже во сне хирург боялся прикоснуться к чему-нибудь стерильными перчатками.

Я видел лыжников-автоматчиков, которые умулялись засыпать в минуты остановки отряда для перекурки. Они спали, стоя на лыжах, опершись руками на палки, прямо воткнутые в снег. Ременные петли шалок охватывали их запястья.

Я видел бойцов батареи в дни, когда они, зачехлив орудия, передвигались по размокшей дороге. Артиллеристы умели спать на передке орудия, на облучке зарядного ящика, под железное промывание батареи. Они спали сидя, ни к чему не прислонясь спиной. Выбоина на дороге — орудие с грохотом подсакивает, бойцы просыпаются, чтобы через минуту снова забыться. Жесткая, походная жизнь, о которой сами артиллеристы говорят: «Ходя наешься, стоя выспишься».

Я вспомнил обо всех этих смертельно уставших людях, глядя на Дорохова. Он ровно дышал, уронив голову на грудь. Подбородок его касается рукоятки пистолета, засунутого за отворот шинели.

Кто-то из соседей толкнул Дорохова в бок. Всем было как-то неудобно. На таком совещании, во время доклада начподива — и вдруг заснуть!

Начподив поднял руку.

— Не трогайте. Не спал три ночи. Из разведки, — сказал начподив, беря под защиту спящего политрука.

— Вот и прикорнул. Я его утречком отдельно проинструктирую. Передайте его блокнот. В батальон же мы пошлем связного. Предупредим людей. Чтобы не беспокоились о своем политруке.

Он продолжал беседу приглушенным голосом. И даже сухие, холодные слова вроде «недооценки» и «проработки» казались теперь теплыми, задушевыми.

После беседы политработники задавали вопросы также полупрошептом.

А Дорохова не разбудила бы в ту минуту очередь из автомата, пущенная над самым ухом.

---

## ТРАМВАЙ

Черные стекла. Пустые скамейки. Кожаные петли, не согретыые теплом человеческих рук. Петрунутый снег на ступеньке вагона.

В жуткой ночной темени, где-то на юге, за поселком Рогожинским, возникают и гаснут далекие отсветы. Они напоминают трамвайные зарницы, отблески вольтовой дуги.

Бьет немецкая батарея. Вспышки опережают оружейные раскаты. Нарастающий вой снарядов. Они рвутся где-то на соседней улице.

Трамвайные стекла дребезжат так, будто вожатый только что резко затормозил вагон у остановки. Но это только кажется. Трамвай необитаем. Рельсы засыпаны снегом. Снег лежит на высокой круглой табуретке вагоновожатого.

Еще недавно моторный вагон № 232 ходил по улице Коммунаров в поселок Рогожинский.

На трамвае можно было подъехать к самой линии фронта. Вез трамвай необычных пассажиров: парней с винтовками на плечо и с вещевыми мешками за спиной, девчат с санитарными сумками через плечо.

Потом немцы овладели Рогожинским, и трамваю не стало пути в поселок. Уже в конце улицы Коммунаров поперек рельсов лежал трамвайный столб.

Ночью вагон № 232 покинул трамвайный парк, чтобы совершить свой последний рейс по городу.

Трамвай шел медленно. Стрелочниц не было. Вожатый сам сходил с лошадки в руках и переводил стрелки на разъездах.

Я живо представляю себе трагическую картину. Вот вагоновожатый подъехал к баррикаде. Трамвай остановился. Человек сошел с вагона и, сгорбившись, тяжело шагая, пошел прочь, куда-то в темноту. Нелегко, впервые в жизни, возвращаться в трампарк пешком, оставив свой вагон на черной, злобшей улице у баррикады.

Баррикада! Для молодых туляков она была только символом, романтической подробностью революционных битв. Сейчас она пришла в город «весомо, грубо, зримо».

Если подойти к ней вплотную, можно и ночью увидеть амбразуры, рогожные кули, набитые землей, бойницы с козырьками, покрытыми снегом.

Вагон № 232 готовился умереть героической смертью. Он стоял, как часовая на посту, охраняя счастье и будущее своего города...

После памятной ночи прошло полтора месяца, и мне вновь довелось проездом на фронт побывать в Туле.

В поселке Рогожинском подняли и поставили на место трамвайные столбы, заново натянули провода.

Трамвай снова шел, весело позванивая, по улице Коммунаров, по старому, наезженному маршруту, где водителю знакомо все — вывески, киоски и вернувшиеся дворники, которые прилежно скалывают сегодня ледок на тротуаре.

К остановке подошел трамвай, и я увидел на моторном вагоне его номер: 232.

Водитель резко затормозил, и белые заиндевелившие стекла задребезжали так, будто вблизи прогрехотал орудийный выстрел.

Но вокруг все было спокойно. Город жил размеренной, спокойной жизнью.

Через переднюю площадку трамвая входили женщины с детьми на руках. В вагонах — суголока и толчея, на подножках полным-полно «висунов». Мальчишки с нетерпением ждут, когда трамвай отчалил от остановки, чтобы продолжить заманивающую поездку на «колбасе».

Вагон № 232 миновал баррикаду через узкий проезд, пересек квартал, где проходила ранняя линия фронта.

Баррикада осталась далеко сзади. Она стоит нетрошутая и сейчас, оберегая счастье и будущее города.

## СВЕЧКА

Отряд решил переходить реку ночью.

В трехстах метрах выше по течению чернел мост. Там стоял немецкий караул. Но нам не было смысла рисковать и тратить последние гранаты ради протопки по мосту.

— Только предупреждаю, — наставлял старшой отряда Костенко, — пошлывем медленно. Чтобы без бульканья, без плеска. Сами знаете, как над водой звук бежит. Зубами стучать про себя, не на всю округность. Выйдем на берег — за берестой. Костер разжигает Махоткин. Обсушимся, протрем оружие, отдохнем.

Семеро пошли к воде, и один только Григорий Свечка, фотограф дивизионной газеты «Защитник родины», остался на берегу.

— Мне прация не дозволяет купаться, — сказал, тяжело вздохнув, Свечка.

За пазухой у него лежал ФЭД, и пленка была заснята. Из-за фотоаппарата Свечка и отказался лезть в воду. Он жалел своего «Федю» и кадры, заснятые в бою.

Там был заснят и комиссар Кожухарь. Последний снимок комиссара перед смертным боем. Свечка обещал Кожухарю в случае чего отправить фото его брату, куда-то в Забайкалье...

Я познакомился со Свечкой летом, на правом берегу Днестра, когда он, по его выражению, находился «на партийной работе» — фотографировал принятых в партию. Каждый день Свечка, засунув ФЭД за голенище, ползал к



окопам. Каким-то образом он ухитрился там, под опшем, фотографировать людей, которые еще не успели получить партийных документов.

Ничьи уговоры не могли заставить сейчас Свечку изменить решение и поплзеть в реку с ФЭДом. Он отматывался япти отвечал односложным «ни».

Свечка заверил старшего, что отвинтит борт от кузова грузовика и с помощью шеста переплывет реку на плоту и придет утречком на левую опушку рощи.

— Ось свисне трини хтось — це значит, що я їду, — напомнил Свечка с берега, когда мы уже были по пояс в воде.

В темноте переплывали мы через реку и осторожно выбрались на противоположный берег, окоченевшие, промокшие до нитки.

На том месте, где остался Свечка, ничего нельзя было разглядеть. Ясно, что и он не видел нас. Тем не менее, все помахали на прощание касками.

Мы предполагали разжечь костер ночью. Но пад рекой ночью раздались выстрелы, взрыв гранаты. И костер пришлось отложить предосторожности ради до утра.

Еще не все успели обошпиться, как в березняке послышался троебратный свист. Костенко тихо отклонился.

У костра появился Свечка.

Он припел в сухой шинели, с непокрытой головой, а каску держал в руках. Свечка сделал еще шаг к огню и бросил каску. Она с дребезжаньем ударилась о корневиче.

Мы увидели, что на плече у него вырван кусок шинельного сукна, а рукав пропитан кровью. Из левого уха тоже сочилась кровь.

— Та ось бачитэ, трохи ранен, — выповато сказал Свечка.

— Плот? — спросил Махоткин, осторожно разрезая рукав шинели по шву.

Свечка отрицательно покачал головой.

— С плотом багато мороки. Довелось шукать другу дорогу, щоб притти панишвидче.

— Значит, мост? — вскрикнул Махоткин, остолбенев.

Свечка утвердительно кивнул.

— Подчасок, чертяка, гранату швырнул. Як жажнуло — у меня из каски зробилась пилотка. Вся зморщилась.

Костенко поднял каску. Она и в самом деле «зморщилась». Каким образом Свечка остался жив и отделался ранением — непонятно.

— Подчасок, бисов сын, — ругнулся Свечка, — слухастый какой! Не забачив я подчаска.

— Подчасок, подчасок, — ворчал Махоткин, бинтуя плечо. — Ведь их на мосту двое околачивалось. Часовой-то куда девался?

— Та хйба я вам не казав? — удивился Свечка. — Часового я покарав раньше. Тихесенько. Та ось подчасок, чертяка, паникодив маленько...

Я снял с себя каску, достал из нее пилотку — она выполняла у меня роль подкладки — и отдал пилотку Свечке. За это он обещал меня снять, когда развиднеется, на карточку.

Свечка сообщил мне по секрету, что пленка заснята не вся и он еще может зробить три кадра.

Печь раскалилась. В землянке стало жарко.

Люди все сразу начали расстегиваться, откидывали кашпоны, снимали перчатки, каски, подшлемники, и от этой возни и сумятицы землянка оказалась очень тесной.

Иней оттаивал всюду — на бревенчатом потолке, на бровях и ресницах Федора Карасюка, на затворах автоматов, на бинокле сержанта Жаркова. В оправу окуляров, как в чашечки, налилась вода.

Белые мастировочные халаты оттаяли, стали мягкими. Несколько минут назад, когда разведчики входили в землянку, обледеневшие халаты гремели, будто жестяные.

Разведчики быстро отогрелись. Пора бы кому-нибудь забренчать котелком, подать голос, откликнуться какой-нибудь шуткой.

Но люди сидели молча. По всему видно — разведчиков постигла неудача.

Сержант Жарков сидел насупившись, мрачный и с каким-то иступлением подтапливал печь, которая и так уже успела раскраснеться.

Помолчали еще несколько минут.

— Да, — сказал, наконец, Жарков, с досадой сплевывая в пламя, — проморгали мы офицера. Прямо из рук выпустили. И как это тебя, Карасюк, угораздило?

— Затмение шло, товарищ сержант, — виновато откликнулся из угла молодой боец.

Он прилежно, даже слишком прилежно, протирал запотевший оптический прицел винтовки, не поднимая головы.

— Другой — с него спрос мелкий, — не отставал сержант, — а ты стрелок опытный. Звание снайпера занимаешь. Тебя виноватить следует.

Карасюк молчал, ожидая, что разговор на эту тему иссякнет сам собой.

А Жарков не унимался:

— Проморгали. И как это тебя угораздило?

— Рука дрогнула, товарищ сержант.

— На руку сваливать нечего. Рука сюда не касается. Нечего было мушкетером обрезать каску наводить — вот что!

Карасюк опять промолчал.

— Другое дело — проштрафиться на два, на три пальца. А то — снайпером числится: бьет в ноги, а попадает в лоб! Вот «языка» и утятил. Очень просто. Наповал.

— Привычка такая, товарищ сержант, виноват, — сознался, наконец, Карасюк, тяжело вздохнув.

— С этой привычкой разведчику не всегда сподручно, — наставительно заметил сержант. — Разведка, она соображения требует; когда в голову, а когда и в ноги немецкие. А то выдумал тоже: рука дрогнула. На руку сваливать нечего. Рука сюда не касается.

Карасюк сидел попрежнему с опущенной головой, расстроенный сверх всякой меры.

Сержанту стало жаль снайпера, и он сказал каким-то сразу подобранным голосом:

— На вот, Федя, закури лучше перед ужином.

И протянул кисет с махоркой.

Пушка тоже изнашивается и стареет.

После определенного числа выстрелов нарезка ствола срабатывается, орудие дряхлеет, выходит из строя.

Где-то составляют акт об «износе материальной части», и орудие отправляют на переплавку.

Иногда проходит какое-то время, прежде чем батарея получает новенькие свежеевыкрашенные орудия. На щитах у них нет ни одной царапины, а вмятины от осколка не найти и поныне.

Артиллеристы ждут новую материальную часть с острым нетерпением людей, которые временно оказались не у дел. Чувство, хорошо знакомое шоферу, который остался без машины, кавалеристу, который в бою потерял коня.

Когда часть майора Меликяна вела бой за Малоярославец, орудийные расчеты Капитонова и Чухинна действовали в пешем строю. Наводчик Никитин и замковый Суханов числились в саперной роте, Гарцеву и Панкову довелось стать связными, Крючков сделался санитаром, еще кто-то работал повозочным.

Все они успели сменить свои батарейные карабины без штыков на винтовки, но черных петлиц на гимнастерках никто не спарывал.

На привале у костра артиллеристы обычно собирались вместе, и разговор у них шел, как в прежние времена, главным образом на темы, связанные с батареей.

Уличный бой свел артиллеристов вместе. Стоя у орудий, они привыкли держаться во время боя поближе друг к другу.

Первым увидел немецкие орудия подносчик снарядов Усачев. Орудия стояли на огороде, позади одного из домов Колодезной улицы.

Командир батареи старший лейтенант Рысьев быстро перемахнул через забор и подбежал к бронированным орудиям. Одно, два, а куда-то и третье.

Он тотчас же убедился в их исправности. Даже замков не успели снять беглецы.

— Замки? — в один голос закричали издали Капитонов и Чухинн. Они бежали быстро, опережая друг друга, а когда добежали, долго не могли отдышаться.

— Замки на месте, — успокоил их комбатр.

— А ключи мы к ним подберем быстро. — Он огляделся, увидел ящики со снарядами и отдал команду. — А ну, повертай орудие в немецкую сторону!

С того дня три 105-миллиметровые пушки прилежно бьют по своим бывшим владельцам. Каждое орудие уже успело сделать по врагу около 400 выстрелов.

Снарядов — сколько угодно. Начальник боепитания лейтенант Гачна подвозит снаряды со всей округи.

На лесной опушке около огневой позиции стоят заснеженные штабеля снарядных ящиков.

Там же, на опушке, у коловязи мирно жуют овес трофейные лошади.

Газовые накрыли могучих коней попонами.

— Не одобряют зловещий климат, — сочувственно сказал ездовой Карасев, делая ударение на букву «а». — Организм боязливый, не принимает мороза.

Пришлось Утюгу свою плащ-палатку одолжить. Пусть греется себе на здоровье.

Артиллеристы уже успели дать клички всем двенадцати брабансонам: «Тигра», «Манька», «Бородавка», «Градуслик», «Перчик», «Утюг», «Ранса», «Золотистый», «Вахламон», «Гильза», «Катюша» и «Фриц».

Вороного мерина прозвали «Фрицем» за то, что он был самым злым и перальным в своей запряжке. Все остальные клички были плодом фантазии артиллеристов трофейной батарее.

Неисповедимы и таинственны пути, по которым следует воображению ездовых, дающих клички батарейным лошадям.

Но дело не в кличках. Важно, что есть лошади. Эти лошади возят пушки. Пушки стреляют по немцам.

---

## ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА

Письмо не пропито пятами, сургучные печати не стерегут его тайны. С ним не мчался на взмыленном коне фельдгегерь, его не вез в полевой сумке офицер связи.

Оно пришло по почте, обычное письмо без марки, со штампом «красноармейское».

Письмо в толстом конверте адресовано генерал-лейтенанту Говорову. Генералу вручили письмо поздно ночью, когда он сидел в штабе над картой-полувёрсткой.

Карта была испещрена черными и красными кружками, полукружками, дугами, стрелками — многозначительными штабными иероглифами.

Значки на карте двигались влево, на запад. Одни шли вслед за фронтом, другие опережали события на несколько дней. Полки еще не знали задачи, которую только что, сидя за картой, разработал полководец.

Генерал урвал минуту, распечатал и прочел письмо.

«Простите, — говорилось в письме, — что в такое время дерзаю к вам обратиться, глубокоуважаемый товарищ Говоров. Вам пишет гражданка Л. С. Самелкина из Москвы. Вот уже скоро пять месяцев, как я лежу в больнице. Муж в армии. Когда ему довелось по долгу службы побывать в Москве, он свез сынишку в деревню к своей сестре. Вот о сынишке-то я и хочу вас просить. Дело в том, что ребенок не на востоке, а остался там, где побывал немец: представьте себе весь ужас этого положения. Ребенок находится в деревне Новинское, в семье учителя Николая Васильевича Наумычева. Товарищ Говоров, не откажите в просьбе и, если возможно, узнайте о судьбе нашего сынишки. Я буду вам благодарна так, как может быть благодарна мать. Может быть, вы сами отец и меня поймете. Сынишку моего звать Минутка Самелкин. От всей души желаю вам здоровья и дальнейших успехов.

Уважающая вас Л. С. Самелкина».

Генерал знал деревню Новинское. Вот она на карте. Его армия выбила из деревни немцев. Это было на днях. Сейчас линия фронта передвинулась на запад, и в Новинском, пожалуй, не слышно сегодня даже далеких орудийных раскатов.

На голубом конверте не было никаких пометок, обычных для корреспонденции, которую привык получать командующий армией: «Срочно», «Не задерживать», «Аллюр три креста» и т. д.

Тем не менее, прочитав письмо, генерал Говоров вызвал адъютанта и отдал приказ — немедленно, во что бы то ни стало, разыскать Мишутку Сапелкина.

Порученец помчался в деревню Новинское с приказом генерала.

Через два дня генералу доложили, что Мишутка найден. Семилетний мальчик вместе с семьей учителя Наумычева все это время скрывался в лесу. Он жил в землянке и благодаря заботам старого учителя избежал встреч с фашистскими постояльцами.

Той же ночью, когда вернулся порученец, генерал отправил ответ Л. С. Сапелкиной.

Он сообщил все, что знал о Мишутке — одном из миллионов Мишуток, ради которых генерал далеко за полночь сидит в штабе, склонившись над картой.

---

И. РУЧИЙ

## В БОЯХ ЗА РОДИНУ

I

Шорох сада. Рассвет соловьиный,  
Над рекою темнеющий тай.  
Снова снишься ты мне, Украина,  
Мой вишневый, мой солнечный край.  
Вновь я вижу степные просторы,  
Серебристую снпь тополей,  
Небеса, голубые, как море,  
Золотистые волны полей...  
Вот такой я тебя и запомнил.  
И нигде не забуду вовек.  
Твой простор, голубой и огромный,  
Ширь степей и мерцающие рек.

II

Ой, Днiпро мой, Днiпро величавый,  
Расскажи мне, что случилось с тобой?  
Вспомнишь ли прошлую славу,  
Или в новый готовишься бой?

Что гремит там над степью туманной?  
Запорожские ль скачут полки?

Действующая армия  
Северный флот

Блещут сабли, синеют туманы  
Или мреют в степях бунчуки?

Или солнце туманится мглой,  
Половецкие кони пылят?  
Или вьюнь под монгольской ордою  
Задымилась родные поля?

Нет, прошли времена Тамерлана,  
Черный путь их развеял и стерт.  
Не слышать половецкого стана,  
След затерян батыевых орд.

Только там, на старинных могилах,  
Где незваные гости легли,  
Кичут совы степные уныло  
Да под ветром шумят ковыли.

Да проходит казацкая слава  
По днепровским крутым берегам,  
Над землей, над рекой величавой  
Нам на радость,  
На гибель вратам!

# НА МИНСКОМ ШОССЕ

Лето 1941 г.

Пти устали маленькие ноги,  
Но он послушно продолжает путь,  
Еще вчера хотелось у дороги  
Ему в ромашках полевых уснуть.

Но мать несла его, теряя силы,  
В пути минуты длились, словно дни.  
Ему все время непонятно было,  
Зачем свой дом покинули они?

Зачем старик, их утопивший медом,  
На пасеке колызистой угли жет?  
Он многое увидел мимоходом,  
Но в первый день понять еще не мог.

Что значат взрывы, птач, дорога эта?  
И чем он хуже остальных ребят,  
Что на траве зеленой у кювета  
Раскинув руки, рядом с мамой спят?

Как тяжело выслушивать вопросы!  
Могла ли малышу ответить мать,  
Что этим детям, спящим у березы,  
Что этим мамам никогда не встать?

Но сын вопросы задавал упрямо,  
И кто-то объяснил ему в пути,  
Что это спали неживые мамы,  
От бомбы не успевшие уйти.

И он затих под лязг машин железных,  
Как будто горе взрослых понял вдруг,  
В его глазах, недавно безмятежных,  
Уже блуждал проснувшийся испуг.

Так детство кончилось, он прежним  
быть не был,  
И чтобы мать от бомб убийц спасти,

Следил ревниво за июльским небом  
Малыш, седой от пыли, лет шести.

Убийцы на дорогу налетели.  
Боец в кювете спрятал малыша.  
Мать плакала. Вокруг дрожали оги,  
Летели бомбы, воя и визжа.

Свой дом боец покинул по тревоге,  
С женой ребят оставив семерых,  
И этот мальчик, встреченный в дороге,  
Ему напомнил одного из них.

В отцовском сердце стоном отзывалось  
Биенье детских торестных сердец.  
И этот мальчик, так ему казалось,  
Взывал безмолвно: «Отомсти, отец!»

Он будто говорил: «Я с мамой выпел,  
Покинув детский сад, друзей, подруг,  
Где нам на радость мирно зрели вишни  
И по утрам так звонко пел петух».

Он будто говорил: «Мне объяснили,  
Зачем жгут улы, утоняют скот.  
Ты думаешь, что я седой от пыли? —  
Нет, я седой от горя и забот.

Мой путь тяжел, в пути несу я  
стражу —

Как за огромным небом уследить.  
Отец, запомни эту встречу напу,  
Я подрасту, я тоже буду мстить!»

Бойна на запад месьт вела святая,  
И был землистым цвет его лица,  
Когда он шел в атаку, исполняя  
Штыком и пулею свой долг отца.

## И. РАХТАНОВ

### МГУ

Я решил взять с собой только полевую сумку, где в полной боевой готовности лежали: полотенце, мыло, зубная щетка, чернила для вечного пера, блокноты и НЗ — неприкосновенный запас — коробка трубчатого табаку, вывезенная еще из Москвы. На неделю всего этого добра должно хватить!

Никогда прежде не ездил я с такой легкостью. Теперь дорога стала для меня родным домом, и, вероятно, после войны мне трудно будет привыкнуть к оседлой жизни. На войне день не приходится на день и ночь не похожа на ночь — никогда утром не знаешь, что будет с тобой вечером, где приклянешь ты голову. Мелькает дорога, мелькают деревни на пути, мелькают люди — быть может, ты встретишься с ними вновь, быть может, они уйдут от тебя совсем. Вот мы вместе вытягивали из грязи непослушный буксовавший ЗИС, вместе грызли последний взятый со дна непромокаемого мешка черный просоленный сухарь, и когда снова встречаешься с этим человеком, пусть даже незнакомым, оказывается, что твоя жизнь сопряжена с его жизнью и разорвать вас не просто. Перед тем, как расстаться, мы даем друг другу свои адреса и телефоны. Это адреса мирного времени, и мы не знаем, работает ли телефон, не веселил ли управдом в комнату новых тыловых жильцов. Вы всегда найдете меня по телефону, он висит над кроватью, и мне ничего не стоит протянуть руку — звоните, обязательно звоните! После войны... Ох, и нитя же будет после победы!

Дорога идет лесом. Русские леса осенью... Никогда не предполагал я, сколько очарования в кленовом листке, чуть поернутом первым осенним багрянцем. Задумчивый, величавый, спокойный стоит лес. Стоит, как будто люди не ведут войну, будто нет на свете фашистов и Гитлера нет. В этом году весь лес пророс грибами; спрятанные в опавших пожелтевших листьях головки белых так и просят — остановись, найди, сорви нас.

Мы обедаем в городе. Этот город стал уже своим; все в нем теперь мило сердцу — и сквер, у входа в который с фанфарами палотоме застыли мраморные пионеры, и редакция местного органа, где печатается наша фронтовая газета.

Перед поездкой надо хорошо и плотно пообедать — кто знает, где будет следующая остановка. Мы едем на самые передовые позиции, с нами камуфлированная в фантастические цвета осени тяжелая передвижная радиостанция. Называется она МГУ — и это не Московский государственный университет, а Мощная говорящая установка. Назначение ее столь же необычно, как и



расшифровка этих трех знакомых каждому москвичу букв. Посредством этой машины мы будем говорить с немцами. Десять человек обслуживают эту сложную установку. Тут и радисты, и техники, и переводчик, и штынный, и постоянно хлопочущий насчет горючего начальник. Целая труппа для гастрольных разездов! Выступление этого театра происходит у переднего края театра военных действий, и аккомпанементами ему обычно служат разрывы миных и пулеметных очередей.

Мы готовы к этому. Текст, который должен прочесть перед микрофоном пленный Ганс Майер из Мюнхена, включает в себе взрывную силу.

Ганс — пекарь. Я был на первом его допросе. Он вошел в блиндаж улыбаясь. Война для него уже осталась позади, и теперь он радовался жизни, радовался смолисто-му запаху свежесрубленных сосен, которыми облицован блиндаж.

— Как вы представляете себе конец войны? — спросил его переводчик, старший лейтенант.

— Не знаю, — ответил Ганс и улыбнулся широко и открыто. — Я хочу только, чтобы остались живы мои родители.

— Для этого нужно, чтобы не стало Гитлера, — сказал переводчик, старший лейтенант.

Ганс согласился написать письмо солдатам своей роты, больше — он вызвался сопровождать нашу машину в поездке на передовой край обороны.

Мы натаскали в грузовик много сена и сейчас мягко покачиваемся на ухабах улучшенной грунтовой дороги, которая идет к старинному русскому городку Трубчевску, вотчине князей, кажется, Трубецких. Наш путь лежит туда. Там на переправах через реку сейчас бон. Мне эта дорога уже знакома. В прошлый раз я выехал из штаба армии с фельдъегерем, отвозившим на легковом автомобиле оперативную сводку в штаб фронта. У нас было в обрез горючего — только чтобы доехать до леса около города, где расположился наш штаб. Шофер, старшина по званию, человек веселый, москвич, много видевший на веку и поэтому наделяемый проницательностью, вытаскивал эмку из грязи, беспрестанно напевая:

— Пошли машинны в яростный поход!

И в самом деле, поход наш был полон ярости. Через несколько километров после Трубчевска мы сожгли все горючее. Эмка остановилась. Кругом было поле, моросил первый осенний дождик, вся округа одуряюще крепко пахла коноплей, и на дороге, пустой и размытой, не виделось ни признака встречных или проходящих машин. Фельдъегерь, ругаясь, завернувшись в плащ-палатку и пошел искать ближайший колхоз или МТС, рассчитывая добыть там хоть немного горючего, чтобы заправиться до первой же базы. Ветряная мельница уныло вращала неправдоподобными по величине крыльями, и мне вспомнился Дон-Кихот. Я задремал под монотонное пение о яростном походе.

Через полчаса фельдъегерь вернулся насквозь промокший. В МТС не оказалось горючего. Откуда-то издали слышалась артиллерийская канонада, на дороге попрежнему не было ни души.

— Братцы, — сказал шофер, — а где мы?

— По дороге из Трубчевска, — ответил фельдъегерь, — и нам сейчас амба.

— Не то. На чьей мы земле? На своей или на германской?

— Вся земля лапа, — как-то неопределенно сказал фельдъегерь, — я предлагаю спать по случаям.

— Раз принято такое решение... — промолвил шофер и зевнул.

И мы действительно заснули. Впереди рвались спаряды, каждую минуту над нами мог появиться «Мессершмитт» или «Хеншель», но мы спали безмятежно. Так и бывает на войне. Разбудил нас шофер проезжавшей мимо машины. У него мы взяли несколько котелков горячего и кое-как, все время оглядываясь на указатель, добрались до деревни, где стояла цистерна с бензином.

Я старался теперь узнать то место, где мы теперь стояли. Прямо против нас была ветряная мельница — за ней возвышался небольшой бугорок с одинокой кудрявой березкой. Но мельниц и бугорков встречается немало, и к вечеру мы приехали в Трубчевск.

Расположились мы на полу у коменданта трубчевского гарнизона. Я заметил, что военная шинель, заменяя и матрац, и одеяло, и подушку, остается шинелью и назавтра выглядит словно из-под утюга. Поставим этой фразой памятник неизвестному изобретателю шинельного сукна и поблагодарим его от лица всей нашей службы. Пятна с шинели уходят как-то сами собой. Мне пришлось однажды ехать на паровозе. Я перепачкался весь, потому что стоял на самом тендере, откуда кочегар поминутно выстреливал мелкий прилипчивый уголь. На следующий день, хотя щетка и не касалась ее, моя шинель выглядела так же молодо, как и до того, как я по скользким скобам поднялся на тендер.

Комендант Трубчевска, товарищ с чудесной украинской фамилией Добры-вечер, сидел за большой оперативной картой района, когда мы вошли в комнату, и черно-красными стрелами отмечал возможные пути движения наших войск.

— Тут, други мои, живая тактика, — сказал он, — и в академиях ее будут изучать. Вот тогда меня вспомните. Знаете, что такое операции в районе города Трубчевска? История! О них писать и писать будут. И, верно, все не напишут. Как говорится, живем мы с вами в историческое время, дорогие товарищи, это чувствовать каждому надо. А в работе бывает, что и забудешь. Потом возьмешь карту, вспомнишь, что по тактике проходил, — и волосы дыбом. Новое, все новое! И всему этому я свидетель, всему соучастник! Вы ужинали? — без перехода спросил он.

Нет, мы не ужинали. Комендант распорядится, чтобы нам выдали сухой паек. Большие сонные сентябрьские звезды отражались на банках рыбных консервов. Товарищ Добры-вечер пожелал нам спокойной ночи, полковой комиссар расположился у него в кабинете на полу, а я с Гансом Майером и переводчиком, захватив шинель, пошел на сеновал.

Прежде чем заснуть, мне захотелось поближе познакомиться с нашим переводчиком. До сих пор я встречался с ним только на допросах. Темнота и аромат свежекопченного сена располагают к откровенности. Переводчик рассказывал, что война застала его с заграничным паспортом, в кармане. Он должен был ехать в Берлин.

— А сейчас вроде как Берлин приехал ко мне, — сказал переводчик.

Ганс Майер спал. Вероятно, он видел счастливый сон — даже и теперь улыбка не сходила с его пухлых мальчишеских губ.

— Знаете, — продолжал переводчик, — война научила меня говорить в повелительном наклонении. Другого немцы не понимают, а это действует безотказно. У него дисциплина прежде всего. Ты повышаешь голос, говоришь, как

подобает командиру, и он слушается. Нужно только приказывать, только диктовать...

Это были последние слова, которые я услышал в эту ночь; возможно, что переводчик говорил еще, возможно, он заснул так же, как и я. Голос его все удалялся — я чувствовал, что проваливаюсь куда-то в глубины духмяного сена, и это было приятно.

Утром мы проснулись рано. Звезды еще не успели скрыться с небосклона, когда начальник МГУ убежал. Куда? Конечно, хлопотать о горячем. И дорога продолжалась. Теперь мы ехали полем. Несмотря на приказы, урожай, чудовищный в этом году, убирается не быстро — нехватало рабочих.

В деревнях нас встречали толченым молоком и антоновскими яблоками. Бабы заставляли своих детей искать среди нас отцов.

— Где же наш батяка теперь? — говорили они. — Ищи своего батюку. Может, он туточки.

Когда машины подъезжали к деревне, Ганс Мейер, уже без улыбки, зарывался в сено — у него были вполне основательные причины не встречаться с нашим населением. Зелено-серая его шинель, голубые глаза, рыжие волосы вызывали ненависть. И трудно приходилось полковому комиссару, уговаривавшему, что это нужный немец, что он полезен для агитации. Бабы не хотели слушать. Какими только словами не честили они его! После каждой нашей остановки, жуя грушу или яблоко, данные ему от щедроты русского сердца, Ганс грустно говорил:

— Капут, аллес капут!

И в голубых его глазах мелькало что-то похожее на тревогу.

Мы ехали дальше. Ревел мотор, вертелся ветряк, неуклюже сооруженный из соломенки нашим шофером, километры мелькали быстро.

У встречных бойцов мы стали замечать сигары. Все журили не самокрутки, не козьи пожки, не папиросы, а сигары. Почему?

К вечеру нам открылось зарево. Пылало небо, и звезды пропали в ослепительном блеске огня, язычатое пламя вздымалось в вышину, падало на землю, на лес, на дома и, словно получив новую силу, снова летело куда-то в черноту и неизвестность. То горел город П., славный на весь Союз своей новой сигарной фабрикой. Мы были у цели. Часть города принадлежала нам, часть захватили немцы.

— Ну, теперь, капут, твоя работа начинается, — сказал шофер Ганеу Майеру.

Он уже так прозвал его. Но прежде чем читать приготовленный для немецких солдат текст, нужно было замаскировать хвост пани машины, установить микрофон, протянуть кабель от станции к кювету, где расположился Ганс Майер.

Было жарко и светло от зарева. Мы вышли к реке, чтобы не мешать радиостанциям и лучше слышать, когда начнется передача. Теперь видны были дома, улицы, высокая колокольная горница города.

Огонь всегда действовал на меня неотразимо. С детства любил я зажигать спички — на конце деревянной палочки вдруг расцветал махровый горячий цветок. Не смотреть на это чудо было выше моих сил, и, каюсь, я извел немало коробок. Часто любовался я тем, как, развиваясь на маленькие раскаленные угольки, сгорают в печке дрова. В пионерском лагере я всегда

разжигал костер, легкой ценой добиваясь этой чести. Но с тех пор, как я увидел горящий город П., огонь перестал манить меня.

Здесь свирепствовал косматый зверь. И все живое бежало от него. Тысячи крыс, кошек, собак переплывали неширокую речку. Все, что имело ноги, чтобы двигаться, уходило, удирало, спасалось. Люди давно покинули город — никто не тушил пожарница. Мы слышали рев могучего пламени, и искры долетали к нам с того берега.

— Немецкие солдаты! — неестественно громко загрел по-немецки голос из леса. — Немецкие солдаты! Это говорю я — ваш товарищ Ханс Майер из Мюнхена! Слушайте мою передачу. Слушайте правду.

И вдруг в гуле пламени посыпались удары колокола. Это немцы заглушали слова Ханса Майера.

То была поистине фантастическая ночь! Зарево бушевавшего огня, темный сказочный русский лес, крысы, кошки и собаки, внезапно подружившиеся, церковный колокол, бьющий не в праздник, а в черную годину народного горя, и город, отданный сумасбродству огня...

— Меня нельзя заглушить! — гремел Ханс Майер, усиленный мощными репродукторами, — Гитлер послал нас сюда на верную гибель! Немецкие солдаты! Ни огонь, ни вода, ни воздух не победят России. Для каждого из нас в ней найдется по три метра земли. Бросайте оружие! Переходите на сторону Красной Армии! Я, Ханс Майер, сыт и счастлив в плену. Для меня эта страшная война окончилась! Передаю привет моим родителям в Мюнхен. Куду вас, немецкие солдаты!

И снова Ханс повторил свою передачу. Ни на минуту не переставал бить колокол на обнятой пламенем колокольне. Значит, слова нашего текста дошли, и нужно опять произнести их.

Мы сели в машины, проехали небольшое расстояние, и с новой позиции репродукторы снова послали на шесть километров вперед призыв Ханса.

— Слушайте нас, обманутые и лжеверкающие Гитлером сыновья германского народа! С вами говорит солдатская правда. Я, Ханс Майер, солдат из Мюнхена...

Больше Ханс не сказал ничего. Минута разорвалась около самого кювета. Колокол перестал бить.

— Я, солдат Ханс Майер из Мюнхена, — голосом Ханса продолжал переводчик речь Ханса, — призываю вас...

Мы легли на землю. Передача продолжалась. Немцы были вправо, влево от нас, назад, вперед. Поймать, откуда идут звуки, они уже не могли.

Переводчик прочел весь текст. Теперь к визгу миных разрывов прибавилось стрекотание пулеметных очередей. Содрогаясь, лес взбесился, — он визжал, лязгал и громыхал. Дальше оставаться тут было нельзя. Шла охота за нами.

— На сегодня хватит, — сказал полковой комиссар, — завтра опять приедем. Тогда и Ханса похороним.

Осторожно вывели мы из-под обстрела наши машины. Я сидел рядом с шофером в кабине. Мы достали из моей полевой сумки ПЗ — неприкосновенный запас — коробку трубчатого табаку «Золотое руно», распечатали ее и закурили. У нас было сознание успешно проведенной операции.

И. РАХТАНОВ

## ПИСЬМО

Чуда не случилось — поезд шел по рельсам, не летел, не мчался, а полз медленно-медленно. И все же это было чудо: Башлыков ехал в Москву, возвращался домой. Даже в самые жестокие минуты жизни он не забывал думать об этой встрече.

Конечно, Марина не придет на вокзал, она и знать не будет.

Лучше неожиданно войти в комнату, сказать: вот он я, прямо с фронта, из-под огня, из окружения, смотри на меня, дорогая, любуйся, цел, жив-здоров, а знаешь, бывало страшновато. Ползем мы однажды через большак по-пластунски, а немцы по нас минометами...

Нет, ни о чем о таком Марине рассказывать не надо. На войне хорошо, я там полюбил природу, лес, увидел восходы солнца, ведь прежде я мало восходов видал, только в детстве, малышкой, когда ходили в ночное.

И об этом не стоит. Марине моя любовь пужна. Еще в дверях, не входя в комнату, надо ей сказать, что мне было горько без нее, что я всегда думал, вспоминал дни наши и ночи. Однако про это как расскажешь? Только она без слов сама поймет! Она — умная. Тоже, должно быть, печалилась, не спала, все гадала: ранен, убит, ранен, убит. А в это время он спал, ел, шил, ему даже весело бывало.

И сейчас он совсем не ранен, он только здоровее стал и просто едет в Москву по делу, так сказать, по казенной надобности, в командировку. Занятно. В командировку, а домой... Но где теперь дом, кто разберет? Его и из домовой книги, поди, уж выписали. Ничего — кончится война, обратно выпишут.

Выйдя на перрон, Башлыков постучал сапогом об асфальт, хотелось удостовериться, что он действительно в Москве. Прежде, чем Марину, он увидит Москву — как странно, все хорошее в жизни начинается с буквы «М»: Москва, Марина, милая, метро...

Сейчас он поедет по московским улицам, — говорят, они совсем не пострадали от бомбежек, — в трамвае на знакомом семнадцатом номере. Это новые вагоны, похожие на зеленых лакированных жуков в Брянском лесу. Здесь в этих вагонах толкаются сильнее, чем в старых, но так хорошо, когда в трамвае толкают, а если не нравится, можете ехать на такси!

В Москве было солнце и снег. И город — полупустой. Ну да, Башлыков так и думал. Ведь сколько народу отсюда выехало — кто куда, кто на Запад, кто на Восток: сторон на свете четыре — можно выбирать.

А Марина никуда не поехала, она его ждала — из Москвы легче связаться. И еще она верила, если он на фронте — немцы в Москву не пройдут. Но *passaport*, шалишь, Гитлер! И было ей страшно, когда радио объявляло тревогу за тревогой, но она ждала, не хандрила, не плакала, а ждала даже тогда, когда письма совсем прекратились.

Он тогда у деревни Дьячково в окружение попал. Немцы их ловким маневром на переправе обошли. Пришлось по лесам, по тропам выбираться, идти пешком, обходя населенные пункты, где уж шагал враг.

Может быть, когда-нибудь, он об этом расскажет своим детям и будут они слушать про лесную жизнь, как боялись костер разводить, как зажигали огонь стеклышком от бинокля, потому что все спички при переходе через реку пропали.

А сейчас не надо об этом думать.

Вот на площади милиционер девушку штрафует за то, что в неположенном месте улицы перешла, квитанцию ей выписывает — как это верно, как хорошо... Живет Москва, все в порядке!

Его толкали в трамвае, а он улыбался, и пассажиры не удивлялись. Они видели, едет командир с фронта. И каждый ему готов был место уступить. Какая-то старушка на остановке сказала:

— Вам с передней площадки можно, вы, верно, домой?

— Домой, бабуся, домой, — ответил Башлыков.

Ему хотелось поцеловать старуху. Не уехала она из Москвы, верила в него: если он там, на войне, — значит, все хорошо будет.

Ходят по улицам люди, дворники скалывают с тротуаров лед, подметают снег. А что в кино идет? И здесь «Антон Иванович сердится». Башлыкову стало смешно. Эта картина преследовала его во всех городах, через которые пришлось проезжать, но посмотреть ее ему так и не довелось. Сегодня же вечером он, вместе с Мариной, выяснит, кто этот Антон Иванович, на кого и за что он сердится. Но в темноте, когда начнется музыка, Башлыков будет смотреть не на экран, а на нее — какая она. Они ведь и встретились в кино, тогда, в первый раз.

— Зубовская, кто за десять копеек билеты брал, кончились, — сказала кондукторша.

Вот он, дом. Двери, как в церкви, большие. Родной дом! Семь месяцев здесь не был. Интересно, работает ли лифт, он и до войны чудил, то действовал, то нет. И теперь кабинка где-то на четвертом этаже застряла. А лестницы у нас легкие, удобные, только высоко, под самой крышей. И как это Марина в беспокойный час бомбежек не боялась, не шла в бомбоубежище, оставалась дома одна?

— Вы в какую квартиру, товарищ военный? Не в двенадцатую? — спросила почтальонша, догоняя его.

— Туда.

— Возьмите, пожалуйста, письмо, а то замаялась я, сегодня все по этажам бегала.

— Давайте, отдам.

Интересно, кому бы это? Кто из жильцов остался, — с кем коротала Марина страшные зимние дни, вечера?

— А знаете, это письмо моей жене.

— Вот и хорошо, — крикнула почтальонша уже откуда-то снизу с третьего, что ли, этажа.

Письмо без марки, красноармейское. Кто ж это пишет Марине с фронта? И почерк незнакомый, какой-то писарской, с завитушками... надо узнать...

И Башлыков засунул письмо в карман гимнастерки.

Он открыл дверь парадной своим ключом. Только бы Марина была дома. Вот она. На стук его шагов встала с дивана и к двери бросилась, чернوبرовая, высокая, на звонких высоких каблуках, такая, какой на передовых в снах являлась.

— Ты? — сказала она, и вырвала у него из рук чемодан.

Потом, не говоря ни слова, побежала на кухню, вернулась, взяла чайник и опять ушла, и через минуту Башлыков услышал ее голос, громкий радостный, и встревоженный, что-то объяснявший соседке.

Только за чаем Башлыков вспомнил про письмо. Он вынул его из кармана и протянул Марине.

— Тут письмомоец на лестнице мне вручил, дорогая.

Марина распечатала конверт: в ответ на ее запрос письмо извещало, что майор Арсений Михайлович Башлыков пропал без вести.

---

А. ГОРОБОВА

## ВОДА

Бойцы долго не могли привыкнуть к его имени, гулкому и картавому, как дробь барабанных палочек. Потом Курбан-Дурды-Мурда полюбили, по все-таки удивлялись ему. Он, например, разговаривал с головастиком, которого подобрал в лужице. Головастик лежал на ладони, а он гладил его по спинке пальцем. Он разговаривал с камнями, он жалел листья, которые, еще не пожелтев, облетали с деревьев от грохота нашей канонады. Когда обозную лошадь, здорового битюга, возившего походную кухню, ранило осколком, он лечил его землей, сухим навозом, словами, он садился возле него на корточки и шел. Наш политрук Фадеев спросил его: «Что это за песня?» — Оказалось, что это даже не песня, а просто так, мысли. Он пел про облако, про лист, про сурка, вылезшего из норки, про камень, про бригадного комиссара, которого коптузило. Курбан не был трусом, но воевать не умел! Рассказывали, что там, в Туркмении, он был пастухом. Но-русски он говорил почти свободно, но у него был какой-то воркующий, норусский выговор. Его определяли к лошадям.

Однажды тот же политрук спросил его в шутку:

— Курбан, почему у тебя лошадь ржет? Это непорядки!

Он обиделся. Ответил, что это человек ржет, а лошадь кричит.

Рассказывали, что он участвовал в том знаменитом пробеге туркменских конников из Ашхабада в Москву.

Бойцы оберегали Курбана. Ему старались найти валенки потеплее, по погое, беспокоились, как он перепесет московскую зиму. Оказалось, что он морозов не боится.



Видно, какая-то сволочь дала знать немцам, что мы близко; вот они и реши-ли устроить нам баню за речкой, у холмов, где можно было укрепиться. Пока что они все-таки, не мешкая, убрались подобра-поздорову с нашей дороги. Мы узнали это по походной кухне, в которой варился какой-то брандахлыст: он был еще горячий. На прощанье они все-таки успели кое-где напортить. Прикопчили горбатецкого сторожа из сельсовета и бросили труп на крыльцо. Подошли все избы по той улице, где сельсовет. И когда наша часть вошла в деревню, пламя над этими избами еще бушевало и трепыхалось. От всего этого небо стало живым, оно словно оттаяло. Потом, когда мы уже разместились по избам, потек жидкий снег — белые хлопья пополам с черными. Где-то горела колхозная конюшня, — мы узнали это по тому, как запахло горелыми



копытами и паленым конским волосом. Курбан сразу кинулся на этот запах, и мы уже ждали, что он приведет нам коней с опаленными гривами. Но он не пришел и не привел этих несчастных лошадей. Он задержался около одной избы, которая сгорела только наполовину.



Изда стояла на краю деревни, на самом откосе, где взбитым пухом лежал снег. В этой избе жила Ксюша — дочь молочницы.

Ей было четырнадцать лет. Она была безбровой, озорной крестьянской девочкой. Юность, которая стояла на пороге, делала ее топыше. Ее голубые глаза, казавшиеся неглубокими из-за рыжеватых, коротеньких, совсем светлых ресниц, вдруг стали похожи на весеннюю лужу, в которых отражено ясное небо. Руки, огрубевшие от мороза, от холодной жести молочных бидонов, которые Ксюша носила на станцию, трепетно прижимались к груди. Где-то за околицей она слышала легкий скрип шагов. Распластав руки в облезлых рукавах старенькой шубки, она птицей летала по откосу и падала лицом в пухлый снег. Иногда ее охватывала тоска. Она срывалась с лавки (мать кричала: «Ксюшка, куда?») и, даже не покрывшись платком, выскакивала в темные сени, где в бочке замерзала вода, во двор, заснеженный, грустный от луны.

Ксюша так и не узнала, отчето это лед поет на реке по-птичьи, из каких это зимних садов пришла юность и стала на пороге.

В избе еще дым ел глаза, сверху сыпалась сажка, и Курбан-Дурды, подобрал на полу тлеющий ворох платья, старался прикрыть мертвые детские ноги Ксюши.



В тот день были жирные щи с торчичкой! Но пам было не до них. Наш политрук Фадеев вошел в избу, когда мы как раз обедали. Мы думали, он про щи заговорит, а он вот что:

— Вы, ребята, последите, как бы палп Курбан не заболел. Сердце у него, как поворожденное дитя, а его вынесли незападенутым, прямо на мороз.

Мы сперва не поняли, что это он говорит, а когда поняли — побросали ложки и кинулись к той избе.

Сидит Курбан на корточках возле детского трупа, а глаза у него белесые, выела их цвет тоска.

— Ну, рехнулся!

Мы стали потихоньку с ним заговаривать. То говорим, другое говорим, а он все свое — совсем забыл русский язык.

— Баджи! Баджи! — значит — сестра, а мы хорошо знаем, что никакой сестры у него нет.

Потом эту девочку мы похоронили над рекой. Сделали ей хорошую, глубокую могилу, даром что земля была как железная, — ее бы пужно динамитом взрывать! Но мы рук не жалели, мы рубили эту землю на сорокаградусном морозе. А Курбану будто с тех пор вложили в грудь свечу, и она там горит, жжет огнем сердце.



Рассвет начинался не сверху, а снизу, от снега, от него все было ровным, сильным, как во сне. День начался мирно, — не так, как это было до войны, а

как бывает между двумя боями. Курбан шел от проруби и нес воду, чтобы напоить лошадей. Вода плескалась, но через край ведра не переливалась.

В небе появились самолеты. Они летели в беспорядке, и, казалось, это испуганные вороны кружатся над деревом, чтобы сесть на него. Они сделали один круг, построились в звено. От переднего отделились черные орешки — бомбы.

Недалеко от кеюшиной могилы в снежном окопчике залегли люди политрука Фадеева. Стрелять было не к чему, они лежали и ждали. Кроме них, и не было другой цели для неприятельских бомб. Впереди стелилось снежное поле и голый, жидкий лес, сквозь который виднелось еще одно поле и дорога. С самолета можно было видеть бойцов. Но бомбы не попадали в цель, все время ложились неподалеку, перед лесом, и взметали снег. Он наполнял воздух стеклянной пылью, хлопьями, оледенелыми комьями. От этого бурана валялись в лесу деревья, цепляясь друг за друга ломкими сучьями, смерть двигалась то вправо, то влево, вместе с гудением самолета.

Бойцы лежали в окопчике и думали — с кем раньше проститься, с женой, или с матерью, или с сыном, и тут вдруг — самолеты скрылись. Потом они снова появились, на этот раз уже без бомб. От переднего самолета отделились два клубочка, легоньких, как одуванчики. Они плыли и покачивались в небе.

— Ничего, голубчики, — сказал политрук Фадеев, — мы вас скоренько найдем.

Эти парашютисты были первыми пленными, которых увидал Курбан.



— Мы даже не очень торопились, когда шли за ними к лесу, мы знали, что все равно далеко не уйдут. Они петляли как зайцы, вконец запарились, чуть языки не повысовывали, и, в конце концов, залегли в овражек под кустами. Тут мы их и взяли. Когда их вели к штабу, у них губы пересохли от страха.

— А бомбить нас, песен дети, ничего — не боялись!

Они все время облизывали губы, — проведет языком, и видно, что язык прилипает к губам, тоже сухой. Один наш боец протянул немцу флягу с водой. Не от жалости, — протянул, просто тошно было на этого немца смотреть, на его подлые глаза, пускай хоть перед смертью выглянут, как человек... И тут мы увидали Курбана. Он шел от реки прямо с того снежного бугорка, где кеюшина могила. Из-за этого бугорка как раз вставало солнце, наше красное русское солнышко.

Курбан подошел к нам, увидал фляжку у немца в руках, и вдруг, — мы даже не думали, что он такой — наш Курбан, наш конюх, — выпнул прикладом эту фляжку.

...Всю ту ночь Курбан подкладывал дрова в печурку, которую мы сложили в нашем блиндаже, смотрел на красный березовый уголь, от которого шел жаркий дух, и шел.

Наш политрук Фадеев еще в гражданскую войну был в Туркмении, сражался там и не то, чтобы хорошо знал ихний язык, но все же жужикал. Он рассказывал нам, про что эта песня и вообще про ту сторону. Про пески, где кувыркается ветер, про тақыры — гладкую, пустую землю, на которой не

растет трава, про жолодцы с горькой водой. И пока наш политрук говорил, Курбан кивал головой и цокал языком.

— Яхши! — значит — хорошо.

Наш политрук говорил, что цена воде в Туркмении — дорогая, потому что заблудится человек в песках, не найдет колодца и умрет. Когда-нибудь мы пустим в эти пески воду, и они зацветут. А цветы там будут такие: миндаль, розы и, наверное, маки. Курбан слушал, что говорит политрук, и кивал головой.

Это было в 10 часов, а в 12, в самую полночь, мы пошли в атаку. Мы видели, как Курбан шел рядом с нами, а потом **впереди нас**, и на его трехгранном штыке, как яйцо, перекачивалась луна. В последний раз мы увидели Курбана, вернее сказать, его огромную тень. С этим самым штыком наперевес скачками пелась она по земле прямо навстречу врагам.

---

ЛЕВ ЧЕРНОМОРЦЕВ  
ВЕСНА НА ФРОНТЕ

Весна на фронте... Ветер чистый,  
И торопливая капёль  
С ветвей сырых в лицо танкиста  
Летит сквозь смотровую щель.

Уже оттаяли полянки.  
На тополях кричат грачи...  
В село вступают наши танки  
Через канавы и ручьи.

И, люк открыв, короткой речью  
Селян встречает политрук,  
К нему бегут уже навстречу...  
Его качают сотни рук!

Пусть долгий путь лаш был и труден,  
Но вот — награда за войну:  
Мы принесли сегодня людям  
Свободу, счастье и весну!

---

ЛЕОНИД ЕЛИСЕЕВ  
ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ

Обычный день. Весенний день войны. Но долгожданная ракета поднялась,  
Сейчас бы почкам паливаться соком. И враз три батареи загремели.  
Но черен ствол обутленной сосны,  
Еще недавно стройной и высокой.

Обычный день. И, может быть, сейчас  
Грачи бы на опушку прилетели,

И, может быть, об этом дне весны  
В вечерней сводке и не написали,  
По мы еще версту, до сваленной сосны,  
Пусть голой, но родной земли отвоевали.

---

ПАВЕЛ КУДРЯВЦЕВ  
МОСКВА ВЕСНОЙ

Опять весна!  
И дворники привычно  
На улицах сражаются со льдом.  
Москва как будто выглядит обычно,  
Но чуть построже смотрит каждый дом

А вдоль по улицам проходят танки,  
От башен их бежит косая тень.

И ястребки, показывая резвость,  
Над крышами летят, как ураган.  
...Москва стоит — незыблемая

Лучи весны на льды ведут атаки  
И золотят Москвы пригожий день.

На страх врагам.

В. ГРОССМАН

## НА ЮЖНОМ ФРОНТЕ

(О черки)

## ДРУЖБА

Чувство дружбы связывает участников нашей великой войны за свободу. Дружба в бою, дружба в походе, дружба на отдыхе. Всюду, во всем видна она. Посмотрите, как укладываются бойцы спать, натягивая шинель на товарища, как уступают друг другу место у огня, как охотно делятся они друг с другом едой, как угощают друг друга табаком. Посмотрите на командиров и комиссаров — это уж вечно в землянке слышишь: «Да ложись ты к печке, ты ведь простужен», «Опять ты у шапки уши на ветру не спустил». «Дай-ка я тебе ворот подниму». Сколько раз приходилось видеть командира, который с веселой торжественностью говорил: «Сегодня у нас праздник, комиссар письмо от жены получил» или, наоборот, услышать огорченный шопот: «Беда с моим майором, принесли сегодня письма, опять для него нет ничего». Сколько приходилось читать совершенно семейных писем от товарищей к раненому, от раненых в часть. Чувство единой семьи связывает армию. Видели ли вы, с каким уважением слушают украинцы и волжане заунывную песню, которую заводит заскучавший вечером боец-узбек? «Тише, Рассулов поет», — скажет чей-нибудь сердитый голос, и все молча глядят на полузакрытые глаза и смутное печальное лицо певца.

Но нигде, пожалуй, я не видел такого сильного проявления фронтовой дружбы, как в 1-м батальоне гвардейской танковой бригады. Механики-водители рассказывают о своих башенных стрельбах, командиры тяжелых танков — о замечательных заряжающих мотористах, стрелки-радисты — о старших механиках-водителях, и все они вместе — о рыжем, внешне медлительном майоре Картове, бесценном командире трезного батальона. Да и как может быть иначе? Этих людей действительно спаяла железная дружба. Дружба сердца, крови, металла. О своей любви к танку очень хорошо сказал мне синеглазый, большоголовый, огромный двадцатидвухлетний механик-водитель Михаил Кривоногов. «Я из Башкирии комбайнер, я ее до армии с роду не видел. И как увидел, она мне сразу ужасно понравилась, и полюбил я ее до невозможности».

Он повернул ко мне свою большую, тяжелую голову и веско объяснил: «Танк. Очень красив. Она мощная своим огнем. Мощная своей силой. Она золотая машина». И, улыбаясь, сказал мне: «В атаку идти на третьей скорости хорошо». Да, страшная эта сила — и машина, и скорость, и огонь, и

большоголовый великан Михаил Криворотов. Товарищи рассказали мне о нем такой случай.

Под Штеповкой его машина семь раз ходила в атаку, уничтожая германские пушки, пулеметы, огнеметы. Неожиданно в левый бок ударил снаряд. Танк запылал — масло, краска хорошо горят. Экипаж выскочил из пылавшего танка. Криворотов из пылающем танке продолжал атаку один. Он шел все вперед, а танк горел, он уничтожил германскую батарею, раздавил ее, а танк горел... Он развернулся, доехал до своих и лишь после этого выскочил через верхний люк из машины. За этот подвиг ему присвоено звание Героя Советского Союза. Сам он об этом подлинно гагелловском деле сказал:

— Да что рассказывать, немного спину потрело, — и добавил, усмехнувшись: — По выскочил я среди рычагов, как лужка. Раньше в верхний люк не мог среди рычагов пролезть.

Машины и люди — все связано здесь крепко, навечно, — в войне моторов, молодых зорких глаз, смелых голов и опытных крепких рук.

Вот водитель танка товарища Криворотова, ленинградец Александр Богачев. Небольшого роста, с бледным, худым лицом, с холодными светлыми глазами северянина. Он начал войну еще за Львовом, прошел в жестоких боях тяжкий путь отступления нашей армии. Весь этот путь отмечен разбитыми германскими пушками, раздавленными повозками, сожженными грузовиками, крестами над могилами убитых германских солдат. Это вехи дорог нашего наступления. Эти вехи ставил и он, Богачев. Эти дорожки отмечены его кровью. Он никогда не забудет этих дорог. Он никогда не забудет людей, с которыми прошел эти дороги. Он с ними спаян потом и кровью битв. Богачев водит машину Андреева, того, что «попадает в немецкий танк со второго снаряда». До этого он водил машину лейтенанта Крючкина, того, который, увидя пять тяжелых немецких машин, вылез из люка и крикнул: «Эй, Андреев, давай вдвоем их ударим». — «Давай», — сказал Андреев. Во время одной из атак немецкий снаряд попал лейтенанту в грудь. А танк его друга Андреева в следующий атаке сразился один против шести немецких машин. Механик-водитель Богачев вел на этот раз танк Андреева. Им вновь было идти вместе, по крови погибшего лейтенанта сроднила их. И, глядя на шесть мчащихся немецких машин они одновременно вспомнили Крючкина. В их ушах снова прозвучал голос лейтенанта: «Эй, Андреев, давай вдвоем их ударим». И они ударили одной машиной по шести так же, как били двумя по пяти. И Богачев говорит теперь об Андрееве: «В бригаде такой еще один командир танка — со второго снаряда бьет немецкую машину».

Сила любви и дружбы полней всего познается в разлуке. Михаилу Богачеву дважды пришлось измерить полноту своей любви к друзьям. Первый раз это было летом.

Он был одновременно контужен и ранен в бою под Казатином. Оглушенный, с пискорю перелезавшей рапой, он вылез из подбитого танка и побежал в штаб дивизии просить помощи. Ему хотелось вытащить машину из боя. В штабе посмотрели на его мертвенно-бледное лицо, на блуждающие после контузии глаза, на кровотокающую сквозь бинт рану и сказали:

— Тебя самого надо из боя вытащить, — и отправили его в госпиталь. Он не хотел идти, весь еще охваченный мыслями о сражении, товарищах, машинах, неподдававшихся немецких орудиях и пьяной фашистской пехоте, лезущей навстречу...

В госпитале он провел две недели. После страшного напряжения боев, после печного тудения машин было необычайно приятно и странно лежать на спокойной койке у открытого окна и глядеть на зелень деревьев. Он еще не начал скучать по друзьям, он еще не успел ощутить себя одиноким. Его лишь тревожила мысль, не забыли ли его, ведь они все время в боях. Он писал им письма, чтобы напомнить о себе, но отправить их нельзя было — адрес бригады беспрерывно менялся. Когда он просыпался ночью и бормотал: «Ну, ясно, кто теперь обо мне помнит, ядут, верно, в машину — и новый механик у них, заряжающий свои шуточки заводит». И он даже начал сердиться: «Ну, ясно, забыли».

Он выписался из госпиталя и долго объяснял командиру, что его, механика-водителя Богачева, нужно отправить в батальон майора Карпова. Командир усмехнулся его настойчивости. «Чего так добиваться, они уже забыли про вас, верно», — сказал он, но направление дал ему. «Ясно, забыли», — думал Богачев. Он шел пешком, часто отдыхая. Мимо мчались машины, груженные боеприпасами. Неожиданно одна из машин остановилась, шофер махал рукой, подзывая Богачева: «Садись, товарищ Богачев, тут до нас еще пятнадцать километров осталось, подвезу». Первым его увидел политрук Мартынов. Он вскрикнул: «Эй, гляди, наш Богачев вернулся!» И по этому удивленному и радостному толосу Богачев сразу понял, что его не забыли, и не могли забыть. Воинские радость охватили его. Он почувствовал, как волна тепла разлилась в его груди, такое чувство испытывал он в детстве, вернувшись после скарлатины из больницы домой. Эта двухнедельная разлука дала ему понять, насколько близки и дороги стали для него боевые товарищи. Он испытывал наслаждение, снова увидев знаменитого Шашло, механика Дуднякова, Андреева, Криворотова. Они окружили его, и на их лицах он читал ту же радость, что испытывал сам.

— Да бросьте вы, — отвечал он на их расспросы, — ну, что мне-то рассказывать, вы лучше расскажите.

И действительно, друзьям его было что рассказать.

Весь день не проходило удивительное ощущение возвращения в родной дом. Его водили обедать, насильно укладывали отдыхать, был устроен совет, решивший, где устроить ему ночлег, «чтобы не хуже, чем в госпитале». Чем только не угощали его в этот день! Все считали нужным угостить его, начиная от майора Карпова и кончая шоферами тягачей. Вероятно, если бы он съел, выпил, выкурил десятую часть того, что ему преподносили товарищи, ему бы вновь пришлось отправиться в госпиталь. Ночью он лежал с сильным сердцебиением и не спал, а рядом слышал он дыхание товарищей, — он уже знал, как кто из них спит, ведь еще за Львовом они спали вместе в лесу, и было известно, кто храпит, кто произносит невнятные фразы и отдает команду, кто спит по-младенчески тихо. «Да, а я боялся — забыли», — подумал он и даже засмеялся от удовольствия. «Ты не спишь, Богачев?» — спросил его лежавший рядом Андреев. «Нет». — «Пойдешь завтра на моей машине?» — «Ясно, майор Карпов сказал». — «Вот и хорошо». Они тихо говорили о танке. Это был долгий разговор.

И снова началась боевая жизнь. И казалось Богачеву — не было на свете ничего более захватывающе интересного и в то же время трудного, чем эта жизнь. Почти сто дней воевал он после первого своего ранения.

Темным осенним вечером танк поддерживал кавалерийскую атаку. Дил

дождь, было очень темно и грязно. Машина шла с полукоткрытым люком. Липкая грязь обхватывала машину, но танк лез все вперед и вперед, высоким голосом жужжал мотор. Неожиданно страшный удар потряс стены танка. Богачеву показалось, что он сидит внутри гудящей, вибрирующей гитары, по которой кто-то с размаху ударил кулаком. Он задохнулся от страшного богатства звуков. Потом сразу стало очень тихо, лишь в ушах продолжало булькать, свистеть, звенеть. Товарищи окликнули его. Он слышал их голоса, но не ответил. Его вытащили из машины. Он попробовал встать — и упал в грязь. У него отнялись ноги. Несколько километров несли его на руках по липкой, целкой грязи, в темноте, рассекаемой трассирующими снарядами и пулями. «Богачев, Богачев — окликнули его. — Ну как ты?» — «Ничего, — отвечал он, — хорошо». В уме его стояло одно слово: пропал. На этот раз, ему это казалось совершенно ясным, он уже не вернется в батальон. И несколько раз он говорил: «Потите, чего вы так быстро идете». — «Больно тебе?» — спрашивали товарищи. «Да, больно», — отвечал он. Но ему не было больно, он не чувствовал отнявшихся ног. Ему было страшно навсегда расстаться с товарищами и хотелось, чтобы этот печальный совместный путь продолжался поольше. Ведь они шли рядом, несли его на руках — все добрые друзья его. Они сопели и тихо ругались, остунаясь в грязь, и спрашивали: «Больно тебе, Богачев?»

Он пролежал в госпитале около трех месяцев. В бессонные ночи он тосковал — ему все представлялась большая танковая атака. Машины идут развернутым строем: Шапало, Криворотов, Дудников. Он следит в смотровую щель за командирской машиной майора Карпова. Туман мешает ему. Он маневрирует на месте, чтобы не дать немцу пристреляться. «Пушка на левом фланге», — кричит он в микрофон. И вот машина майора вырывается вперед: «Следовать за мной!» Он идет на третьей скорости. Широким фронтом идут они по равнине. Навстречу немецкие танки. Да, это иш с чем по сравнению: быстрая, смертная борьба танков на широком поле — сколько хитрости, сколько зоркого расчета нужно, чтобы ползти на железном брюхе среди минных полей, избегать ям, препятствий. Что может сравниться с тем мигом, когда танк, ревущий, гудящий, многотонный, отважно мчится на ядовитую противотанковую батарею? Теперь Богачев знал, товарищи не забыли его, он проверил их дружбу. Теперь он знал другое — никогда в жизни не забудут они его, никогда в жизни не забудет он их. Неужели же он не вернется в батальон?

И он вернулся во второй раз. Это было совсем недавно. Он пришел пешком — спл снова вернулась к его ногам. Он шел по снежному полю и все казалось ему необычным — выкрашенные в белый цвет танки, белые автоцистерны, белые тягачи. «Интересно, — думал он, — проехать по такому глубокому снегу. На какой скорости лучше всего идти?» Он очень устал, но не садился отдыхать. С чувством растущего волнения прошел он по улице деревни. Его пугало, что ни одного знакомого лица не встретилось ему. Он вошел в избу, где был штаб. Все чужие, незнакомые люди. Несколько мгновений он оглядывался. Что такое? Он понял страшное чувство человека, пришедшего в свой дом и вдруг увидевшего, что чужой открыл ему двери и равнодушно спросил: «Вам кого нужно?» И в эти несколько мгновений он снова измерил всю глубину и силу своей любви.

Сидевший за столом техник-интендант перевернул страницу ведомости и посмотрел на него.



— Майор Карпов здесь? — спросил Богачев и облизнул губы.

— А зачем вам майор Карпов? — спросил техник-интендант и, оглянувшись на полуоткрывшуюся дверь, вскочил.

В двери стоял майор Карпов.

«Богачев!» — крикнул он, и Богачева потрясло, что майор Карпов, медлительный, размеренный в движениях и словах, сейчас подбежал к нему, с поспешностью, которой никто никогда за ним не знал. Да и голоса такого у него никогда, казалось, не было. «Богачев!» — во второй раз сказал он.

И снова пришли все друзья его — командиры танков, механики-водители, заряжающие, стрелки-радисты, мотористы.

Пришел старый друг Андреев, Бобров, Шашло, Солей, Дудников. На их замасленных гимнастерках сверкали ордена и золотые звезды. Они вспомнили прошлое — эти молодые марши, ставшие ветеранами великой войны. Они вспоминали бесстрашного Крючкина, Соломона Горелюка, которому посмертно присвоили звание Героя, многих потибиших друзей, которых немислимо забыть.

И снова великое тепло дружбы пахнуло в лицо Богачеву, и он измерил драгоценную стлу ее. Рассказывал он. Рассказывали ему. Они сидели, утешая его, хотя он был сыт, кутали в шинель, хотя в избе было жарко, и спорили, куда его положить спать. Ночью он лежал на толстом матраце и отдувался от жары, — его насильно накрыли несколькими одеялами и шинелями. Он слышал дыхание товарищей, он их узнавал по этому дыханию: ведь еще за Львовом они спали вместе в лесу, и было известно, кто храпит, кто произносит невнятные фразы и грозно отдает команду, кто спит по-младенчески тихо.

## СЛОВО О ШАХТЕРСКИХ ПОЛКАХ

Они ушли из Донбасса, взорвав шахтные копры, вентиляторы, насосы. Оставленные ими шахты мертвы. Штреки и продольные заполняются водой. В тяжелой черной тишине слышатся лишь мерные всплески капельной воды да петрожный шорох угольных частиц, отрываемых тремучим газом. Вода заполняет не только нижние горизонты шахт, вода подошла к подземным шахтным дворам, медленно заполняет ствол. Иногда тишина нарушается грохотом обвалов — рушится крепление, и порода оседает. Влажный горячий воздух негентилируемых шахт смешался с углекислотой и взрывчатым метаном — малейшая искра может вызвать страшный, всеразрушающий взрыв. Один вдох этого воздуха смертелен.

Они ушли из Горловки, Макеевки, Сталино, Рутченковки. С их уходом умер подземный Донбасс: знаменитая «Смолянка 11», «Софья Наклонная», «Иван Линдиевка», «17-бис», шахта Ленина, «Буденновка». Великая армия сурового труда ушла из Донбасса. Ушли славные забойщики, крепильщики, запальщики, ушли машинисты врубовых машин, мастера отбойного молотка, глеевщики, шахтные электрики, газовые десятники, ствольные. Они ушли, оставив врагу мертвый Донбасс. Они ушли, унося в душе любовь к своему тяжкому, опасному и прекрасному труду. Они ушли в тоске, каждый из них унес видение своей суровой подземной работы, своей шахты. По почам они видят во сне высокие коренные штреки, залитые электрическим светом, тихие, темные забол, мерцающие огоньки бензинок и круглый яркий глаз надзорской аккумуляторной лампы. Мягкое и теплое дыхание могучей вентиляционной струи касается их

лиц. Все они члены великого братства шахтеров, братства подосмысленных людей. Опасный и тяжелый труд выковывает железные характеры, каждый из них знает великую власть рабочего товарищества, готов не колеблясь войти в горящий штрэк, наполненный густым, как сметана, дымом, каждый из них не дрогнет, если пужно для спасения товарища ринуться в пламя, в тьму, в стремительный поток ворвавшейся в шахту воды.

Они идут в снега, они несут в своих сердцах тоску по своей работе, по своей шахте. Святая, грозная тоска! Сколько суровости в этих людях! Дивизия шахтеров! «Черная дивизия» — зовут их немцы. С ужасом говорят о ней немцы — пленные. В октябре, в тяжелые дни отступления, железный дух шахтеров преградил путь немцам, шедшим на юг. В первом же бою шахтерский парод выдержал жестокую проверку. Испытание было нелегким. В мрачное осеннее утро немцы тучей пошли в наступление. Инские осенние облака опустились к самой земле, туман поднимался вдоль дорог. В штабе дивизии молчали. Выдержат ли, устоят ли рабочие? На каждого из них приходилось по несколько немцев. Немцы шли. Они вырастали из-под земли, они двигались как загипнотизированные. Тревожно попискивал телефон. Полки доносили все одно и то же: немцы рвутся вперед, они хотят задавить дивизию огромной тяжестью своих тел. И вот телефон принес страшную весть. Из тумана и дождя вырвалась мощная колонна германских танков. Сто машин прорвались на фланге дивизии. Казалось — это катастрофа. Командир дивизии, Герой Советского Союза полковник Зиповьев вскочил на лошадь и помчался на поле боя. В эти роковые минуты нельзя было думать об осторожности. Лошадь мчала Зиповьева перед передним краем обороны. Привстав на стремянах, он кричал: «Вперед, шахтеры!» И сквозь вой снарядов, сквозь гул германских машин сотни голосов ответили ему: «Шахтеры назад не идут!» И они не пошли назад. «Вперед за Донбасс!» — кричали они. «Не бойтесь танков», — говорили им командиры. «Чего их бояться? — отвечали шахтеры. — Они вроде врубков, в шахте страшнее, чем здесь!»

Германские танки, прошедшие по Европе, заставившие покориться Париж, здесь оказались бессильными.

Они повернули назад.

Пусть вечной будет память о шахтерах, погибших в этих мрачных осенних боях. Пусть не забудут отсека комсомола Еретина; умирая от тяжелых ран, окруженный врагами, он слабой рукой не мог уже бросить гранаты, он взорвал себя в ту минуту, когда немцы подошли к нему вплотную. Пусть не забудут 4-ю батарею: до последнего патрона стреляли шахтеры по немцам и все до одного пали у своих орудий. Большого сделать они не могли. Когда земля, очищенная от фашистов, расцветет, когда зажжется свет и ночью спящие поднимется над свободными городами, пусть не забудут тех, что не пошли назад в холодное октябрьское утро, тех, что отдали всю свою кровь до последней капли.

Три месяца держали шахтерские полки оборону вдоль северного Донца. Они жили в землянках и блиндажах, в глиняных мазаных хатах. Они тосковали в степных просторах среди камышей. В мире земли, дерева, соломки жили эти люди, пришедшие из царства металла и угля, привычные к вечному зареву завода, к лязгу стальных цепей на врубовых машинах, к скрежету конвейера, к свисту пара на котлах. Их суровая трудовая дружба не ослабела, она не могла стать сильной, ибо нет ничего в мире сильнее и крепче рабочей друж-

бы. Душа Донбасса жила в степи, вместе с ними и среди них. Душа великого Донбасса не могла остаться там, где мертвые шахты и заводы.

Утром, просыпаясь в землянке, бойцы говорили: «Пойшли, ребята, на-гора умываться». В их землянках и блиндажах висели аккумуляторные и бензиновые шахтные лампы. Они называли землю, в которой были вырыты блиндажи, «породой», а столбы, поддерживающие свод, — «крепью». По вечерам они спорили, на чьей шахте лучше «уголек», разбирали качества отбойных пневматических молотков и врубовок тяжелого и легкого типа, обсуждали работу знаменитых мастеров угля, шутили, смеялись, вспоминая всякие смешные случаи. Душа великого Донбасса жила среди них. Часто в одном подразделении находились люди одной и той же шахты. В бой шли плечом к плечу, так же как плечом к плечу из дня в день спускались в клети, как работали в одной продольной, в одном забое, каждый день, из года в год. Разве есть в мире сила, которая может порвать эту дружбу, скрепленную тяжкими трудами великой отечественной войны?

Немцы называют шахтерскую дивизию «черной дивизией». Их ужасает суровое бешенство шахтеров.

Много знаменитых имен, много прославленных воинов в шахтерских полках. Рассказывая о них, наряду с новой военной профессией обязательно назовут и старую, наряду с описанием их боевых дел вспомнят и о славной их подземной работе. Так их и величают: Сычева — доблестным автоматчиком и забойщиком, Савелия Денпсенько, выдвинувшегося из рядовых в командиры взвода, — отличным подземным электромонтером, Григория Изерского — лучшим учеником знаменитого Рябошапки и разведчиком, не знающим страха, Михаила Савенкова — стахановцем-машинистом шахтного электровоза и первым разведчиком в дивизии.

Это он, Михаил Савенков, вместе со своим другом Сулименко, тоже машинистом шахтного электровоза, попал в окружение немцев и, закопавшись в снег, до ночи отбивался от танков и пехоты противника гранатами и пулеметным огнем. Так в полках и не узнали, кто из друзей крепче в бою, как не узнали, кто злее в работе, в то время, когда они соревновались на электровозах и за их упорным и стремительным бегом по коренному штреку следила вся шахта.

Воюют люди одной шахты, воюют целые шахтерские семьи — отцы, сыновья, дочери. Хорошо знают в полках семью Красноголовцевых. Отец 25 лет проработал на шахте «Центральная № 1». Сын его, крепильщик Александр — помощник командира взвода. Сын Яков, шахтный электрик — хороший стрелок; он был дважды ранен. Сын Петр водил по шахте электровоз, теперь он — водитель танка; Петр участвует в знаменитой битве под Новоград-Волынским. И дочь Анна — военфельдшер. Члены шахтерской семьи следят за боевой работой друг друга. «Молодец, Шура», — пишет сестра брату. А когда-то она писала Петру: «Как мы все рады были, когда узнали, что ты водишь электровоз!»

Да, душа Донбасса не умерла, она здесь, в шахтерских полках. Три месяца держали они оборону в степи, среди снегов, три месяца крестил и росла их тоска по оставленным шахтам, крепили гнев и смертная обида. Партизаны, приходившие из родных мест, рассказывали о страшном быте в захваченных немцами шахтных и заводских поселках. Донбасс погружен в молчание и тьму. В Донбассе голод. В Донбассе рабство — людям запрещено передвигать-

ся, рабочим приказано на одежде носить номера — указатели их мертвых заводов.

И, наконец, день настал. День наступления. Они прошли мимо станции Предонбассовское. Тысячи глаз прочли это название, тысячи сердец застучали сильно и радостно. Весь день шли они; было 35 градусов мороза. Ветер ударял в лицо. На ресницах нарастал лед, мешал смотреть, от мороза сжимало в груди дыхание. К вечеру они сошли с дороги и вошли в лес. Они шли среди занесенных снегом деревьев, молодой месяц пыл над ними. Сыгучая снежная пыль голубыми клубами поднималась вокруг них. Ледяная кора, освещенная луной, сияла словно море. Ночь они провели в лесу. Костров нельзя было разводить: дул ветер. Всю ночь они, собравшись в кружки, пели, плясали, проверяли оружие. В пять часов утра загрелись первые залпы артиллерии. Шахтерские полки пошли в наступление. Их грозная, конившаяся сто дней тоска пошла свой исход. Один за другим рушились узлы вражеской обороны. Они вырывались в села и поселки, безудержные, не знающие слабости и страха. Словно торжественный набат, гремели в их ушах названия занятых ими поселков — Донецкий, Червоный шахтарь, Заводской... В поселке Петровская кто-то из них крикнул: «Товарищи, братья, шахта!» Сотни бойцов в молитвенном молчании окружили шахтный копер. Им хотелось снять шапки и стоять с обнаженной головой. Они стояли на белом снегу вокруг уснувшего копра — забойщики, машинисты врубовок, крепильщики, газовыедесятники, запальщики. Там, в глубине, под белым снегом, под толщей земли был уголь. Они чувствовали его, физически ощущали. И никто из них не произнес ни слова. Вскоре они снова шли вперед по снежной степи. Они знали: враг железными когтями впился в их землю, враг стянул в Донбасс десятки дивизий, борьба лишь начиналась, страшная, смертная борьба. В этой борьбе — их жизнь, смысл, гордость, счастье их существования. В ней исход из грозной тоски. Вечная, живая душа великого Донбасса с ними. И шахтеры знают — она победит!

## КРАСНОАРМЕЕЦ

Было это 3 июля 1941 года. Вечером пришел он с работы и перед ужином вышел во двор наколоть дров. Большие рабочие руки его заносили топор высоко над головой, вязкое, суковатое полетю от сильного, быстрого удара охало и расползалось. Он нарочно выбирал поленья потяжелее, с большими сучками, которые не под силу было бы разрубить жене или двенадцатилетнему сыну.

— Эй, Канаев, ты дома, что ли? — окликнул его председатель сельсовета. Он неторопливо положил топор, подвинул ногой к куче нарубленных дров отлежавшую крупную мешку, вытер тыльной частью ладони лоб и пошел к забору. Шел он спокойно, улыбаясь, но сердце его билось быстро и тревожно.

— Ну, чего тебе? — спросил он.

— Сам знаешь, — сказал председатель.

Стоявшая у забора соседская девочка быстро побежала к пазе и закричала:

— Мам, мам, Ивану Семеновичу повестку принесли с военкомата.

Председатель усмехнулся.

— Вот тут распишись.— И он темным от махорочного дыма пальцем указал на лист разлинованной бумаги.

Пока Канаев расписывался, председатель говорил:

— Что же, Ваня, желаю тебе побить врага и здоровым домой вернуться.

— Ладно,— сказал Канаев,— побить врага,— я это сам знаю, а вот у меня дома жена беременная, да стариков двое, да ребята. Понял ты, председатель?

Одно мгновение они смотрели друг другу в глаза — двое рязанских, ведавших хорошо и тяжесть труда, и долгую зиму, и бабы заботы, и немощь стариков.

— Понял,— сказал председатель.— Спокоен будь, придешь с войны, тебе жена скажет, понял ли председатель советский или нет.

— Ладно, верю. Ну, попрощаемся.

Он пошел к избе, а председатель ему крикнул вслед:

— Лошадь к тебе в шесть часов будет.

Канаев постоял некоторое время посреди двора и огляделся.

— Эх, не успел я им дров наготовить, течет-то ведь крыша, еще в тот выходной я собирался, да аккурат этот проклятый палател, Гитлер. Думал успею. Вот и успел.— И в голове его поднялись беспокойные мысли о жене, стариках, детях, о неоконченной работе — он был дорожным мастером. Казалось, десятки мелких дел надо исправить. Эх, не успеет он ничего.

Он зашел в избу и громко сказал:

— Ну, жена, зови гостей, беги в магазин за вином, иду завтра.

Мать и жена заплакали.

— Ну, чего вы, чего,— строго спросил он,— знаете ведь, куда иду.

— Гитлера бить папаян идет,— сказала девочка.

Он погладил ее по голове и печаль сказала ему сердце.

Хорошо проводили его. Пели песни, даже старики подтягивали: «Одна возлюбленная пара всю ночь сидела до утра».

Много песен спели. Канаев показывал свою темную рабочую руку и говорил гостям: «Я стрелять умею, служил уже, не бойсь, не промахнусь, когда надо».

Были и объятия, и поцелуй. И слезы были. Все было. Ведь непутучее это дело: большой тридцатипятилетний человек, муж своей жены, отец детей, сын славных стариков, неутомимый рабочий уходил на войну — защищать свою землю.

Утром поехали. Какое утро было! Роса играла на лугу, Ока блестя, ясная, гладкая, широкая, как мирная жизнь. Ехал Канаев и думал о родных своих Дубровичах. Сколько он здесь поработал — и грузчиком на пристани, и на кирпичном заводе, и на торфоразработках, и лодочником пять лет был при фабрике — по пятьсот пудов возил, выребал против течения. Сурово было его лицо в это время, ни слова не сказал он подводу, пока не доехали они до Солотчи, где находился сборный пункт. Большое сердце у русского человека, много добра в нем, много любви в этом сердце — и к близким своим, и к друзьям, и к земле своей, и к нелегкому труду. И, уходя на войну, думал он о том, что оставалось за его плечами, что уходит с каждым шагом лошади. Да, было за что встать Канаеву. И в эти грозные летние дни, когда небо стояло ясным и прозрачным, а по земле с запада тяжело двигались железные тучи, миллионы Иванов Канаевых вот так же выезжали на колхозных лошадях с востока на запад, чтобы встретить и отразить врага. В чем сила красноармейца Канаева? В чем сила таких, как он?

Его зачислили в мотострелковый батальон Сталинской танковой бригады. Этим батальоном приехал он на фронт, с этим батальоном проделал он тяжелый, не имеющий себе равных в истории, поход, с этим батальоном воюет он сегодня. Здесь пашел он друзей по боевым трудам, здесь выиграл он себе жгущую любовь и уважение, здесь стал он старым, опытным солдатом, спокойным, мужественным, суровым и добрым одновременно. Здесь раскрыл он богатства своей чистой души — русский солдат, человек высочайшей и строгой морали. Здесь вступил он в партию. Его суровый и чистый образ народного воина, солдата-ленинца противопоставит солдату-питлеровцу — сладострастному насильнику, обжоре, убийце старых и детей, как ясный день противопоставит туплой осенней ночи.

Ехать на фронт было страшно. Много болтали разные люди о немецкой авиации, о немецких танках. И в воображении Канаева рисовались картины, пожалуй, еще более грозные, чем грозная действительность тех тяжелых дней. Особенно жутко бывало ночью, когда эшелон стоял на станциях, в темноте. Словно тепл проплывали вагоны, лучи прожектора быстро и бесшумно опусывали темное летнее небо, люди говорили шепотом. И вдруг вой сирен и паровозные гудки взрывали тишину.

Первый бой батальона был первым боем Канаева. Произошло это под Липовкой. Ночью батальон занял рубеж обороны. Утром, когда взошло солнце, противник открыл на левом фланге пулеметный огонь и зажег баки с бензином. Батальон вошел в лес и начал стрелять. Сперва все казалось Канаеву непонятным и странным. Он кланялся и своим и чужим снарядам, свист пуль, летавших высоко над головой, заставлял его ложиться, он не мог отличить оружейного выстрела от разрыва снаряда, от боя мин кидало его в тоску. Но постепенно боевой азарт охватил его, он ощутил радость, веселье боя. Правда, в первом своем бою он действовал полусознательно, словно ослепленный. Туман стоял в его голове, он сам не мог вспомнить, что говорил и делал. Ему напомнил политрук, как в один из самых тяжелых моментов боя он подбегал, держа в руках магазины разбитых немецким огнем пулеметов и крикнул: «Товарищ политрук, давайте биться до конца!» Ему рассказали, как перед вечером он первый ворвался в немецкие окопы. «Может, и было, — смущенно говорил он, — а я не помню».

Ночью после боя он долго не мог уснуть, да почти никто не спал — все рассказывали наперебой, смеялись, хвастались. В эту ночь впервые Канаев сказал: «Эх, у нас в батальоне народ хороший!» До этого он говорил: «У нас дома, у нас в Дубровниках». А сейчас он почувствовал, что люди, связанные с ним великим общим делом, кровью, так же близки ему, как друзья детства, товарищи по работе. Особенно понравился ему стрелок Селцванов, тульский рабочий и второй номер пулеметчика Мещанин. «От него весь взвод наш хохочет, и в бою, и после боя. Веселый парень, золотой, исполнительный — такого пулеметчика нигде не найти, только у нас в батальоне», — говорил он. Он долго и тщательно чистил свою винтовку, щелкал затвором, прищурившись, заглядывал в канал ствола. А потом уж, укладываясь спать, он все время ощущивал ее и бормотал: «Важная мне винтовка досталась, теперь уж до конца войны со мной воевать будет». Он к ней почувствовал уважение и нежность, какие из поколения в поколение передавались в его роду к орудиям труда — топору, пиле, плугу. Здесь, в трудах войны, она была

его единственным орудием. В эту первую ночь после первого боя он стал красноармейцем.

В жестоких непрерывных боях шла жизнь мотострелкового батальона. Много крови пролили красноармейцы, защищая свою землю. И алая кровь навек спаяла их в единое целое. Батальон закалялся, батальон обогащался боевым опытом. Канаеву иногда казалось, что он воюет всю свою жизнь. Он принимал участие в бесчисленных маршах, десятки раз ходил в разведку, десятки раз участвовал в жарких перестрелках, 35 раз ходил в атаку. Однажды ходил он в штыковую атаку, но немец ее не принял. Как только крикнули «ура», немец поднялся и побежал.

Под Богодуховом Канаева ранило. Вот его дословный рассказ: «Там мы с немцем лицом к лицу встретились — нас человек пятнадцать было, а их цельный взвод, впереди офицер. Очень меня заинтересовало, подумал я его в плен забрать. «Стой!» — кричу. Он ко мне отскочил. В руку мне попал. Ну, думаю, не хочешь сдаваться? Я ко нем приложился, — все равно моя веселей, — он и упал. Тут я крови потерял много, рука рана, и вижу — мальчишке деревенскому попалю шальной пулей. Ну, как быть, у самого ведь дети есть! Затратил на него бинт из своего пакета, плечо славно ему перевязал, а из самого течет. Тут баба выпла, крикну молока мне вынесла. Я пошел, и кружение в голове прошло, а наши ребята подошли, перевязали меня. Недели две рука болела, но я из батальона не пошел, чего зря по госпиталям пугаться, да и неохота из батальона уходить».

Он рассказал мне этот случай обычным своим голосом, не подозревая наличия своего подвига: отдал в бою безвестному мальчишке бинт, — «а из самого течет».

Там, в Богодуховке, с ним был еще один случай: уронил он винтовку в грязь. «Эх, думаю, оно ведь умное, родное оружие, никогда не отказывает. Испугался я страсть, думаю — пропадет. Нет! Берусь за затвор — ходит!»

Пришла зима. Приехали в батальон пополнения — молодых ребят. Столкнувшись с ними, Канаев понял, что он уже старый солдат, хладнокровный, опытный. Сколько замечательных знаний оказалось у него! Как-то само собой получилось, что Канаев превратился в роту как бы в учителя, советника, дядьку. Стоит послушать его разговоры с молодыми красноармейцами, как отвечает он на их вопросы. В его словах и острая боевая опытность, и высокая житейская мудрость солдата.

— Раньше было и у меня чувство, когда в бой шел, а теперь я в бой хожу весело, просто. Как на работу, в бой хожу, как на фабрику. В наступление лучше всего идти утром, пораньше. На рассвете, словом, хорошо воевать, ну как работать. Темненько еще, все его точки видеть, где пулемет, откуда трассирующие пускает, словом все замечаем, откуда бьет он. А уж как ворвешься в село, светло становится. А в себе при свете легче, — не путаешься, все ходы разберешь. Вообще, ребята, скажу, бояться нечего. Привычка. Дома мы все воротного сэррина боялись, а здесь ничего не боимся. Ну, вот, к примеру. Пулемет его в цель не очень бьет. Если мимо — иди, не бойся. А по тебе ударит — заляж сразу. От пулемета казый бугорок, каждый овражек выручит. Пока он строчит, ты лежи да высматривай, чтобы потом знать, где укрыться. Замолк он, беги вперед. Не жли, сразу беги! Автоматчики ихние, те уж совсем бесцельно бьют. Орудийный огонь немец редко теперь дает, очень даже редко, и вот больше пере-

лет, это уж верно. Авиация—этого многие из молодых опасаются; я тоже когда-то боялся. А вот раз полетело на нас тридцать шесть, и все пикируют, гады, а нас тысяча человек, в маленькой рощице. Рассыпались, залегли. Сорок минут он утюжил. Я думал — шквалина пропала наших. А потом оказалось, одному бойцу руку ранило. Шум, конечно, большой от нее, но если расслышаться и, главное, бегать не будешь, ну что она сделать может? Вот миномет, я считаю, у немца самый отвратительный, сильнее у него оружия нет. Меня миномет и сейчас в тоску кидает. От него один способ уйти — вперед во всю силу жать. Он сразу прицел теряет. А если ты назад пошел, конец тебе, догорит! И лежа от мины не уберешься. Это вы крепко помните — от мины только вперед.

Он рассказывает о законах и обычаях, установившихся в батальоне:

— У нас первая моральность для бойца — выносить не только раненого, но и убитого во время боя. Вот меня на днях оглушило, очумел, не знаю, куда идти, — боец-товарищ подоспел и вывел меня из боя. Или я, к примеру, под Штеповкой семерых вынес. Хороший товарищ тот, кто не скрывается, идет до конца с тобой вместе. В бою это первая помощь — вместе идти — и все.

— Командир хороший? — спрашивает молодой черноглазый боец.

Канаев усмехнулся.

— Ты раньше спроси, что это значит — хороший командир.

— Ну, что?

— А, то-то. Хороший командир — этот, прежде всего, все трудности с нами выносит. Раз. И с обращением хорошим. Это два. Третье — правильную расстановку в бою делает. Четвертое — зря не заводит, куда не следует, бережет кровь своего бойца. Ну, и с нами всегда впереди. Такой майор Полутин был. Такой есть наш Козлов — капитан.

Вот он, красноармеец Иван Канаев, боец мотострелкового батальона, укладывает перед пятидесятикилометровым переходом свою вещевую сумку.

— Если со здоровыми ногами идти, то так уж трудно, — говорит он, аккуратно укладывая чисто отмытые портянки. В сумке ничего лишнего нет — хлеб, «чтобы в пути пошамать», несколько кусков сахара, мыльце, тетрадка с карандашиком, пара белья, моточек ниток.

— Эх, — вздыхает Канаев, — иголки у меня нет. Выбили немца из деревни, баба одна у меня иголку выпросила — немцы, говорит, иголку забрали. Я и отдал ей, а в последний бой без хлястика ходил.

В это время пришел замполитрук и сказал:

— Канаев, а Канаев, ты с почты ничего не ждешь?

— Чего, чего? — спросил Канаев и, вдруг поняв, взволнованно крикнул: — Давайте, товарищ политрук, неужели письмо мне?

На темном, бронзовом лице его, каленном зимним солнцем и страшными степными ветрами, выступили румянец. Он читал письмо вполголоса, морщась, и, встречая неразборчивое слово, кряхтел от нетерпения. И вокруг него стояли верные друзья его — туляк Селиванов, второй номер пулеметчика Мещанин, все бойцы его роты и слушали. Лица были серьезные, и у всегда смеявшегося пулеметчика сейчас было торжественное и даже какое-то суровое выражение.

— Сын родился, — говорил Канаев. — Слышите, ребята, сын у меня родился.

И все видели, что на глазах у него слезы.



— А председатель, пишут, часто заходит к нам, и не беспокоится, — читал Канаев.

И все улыбались, и были довольны, так как все знали, какой разговор имел Канаев с председателем перед уходом на фронт.

Окончив письмо, Канаев сложил его и спрятал.

— Знать, ребята, — сказал он нетрémко, — баловства я и в мирное время не любил, а теперь и вовсе. Не маленький кобель, к бабам я чутье потерял. Ах, по ребятишек видеть хочется! Особенно того, что теперь родился. Полчасика бы посмотреть только, и воевал бы до конца. Ну, да это разговор пустой.

Почью батальон выступил. Машины не могли пройти в глубоких стечных снегах. Мотопехота шагала пешком. Дул жестокий морозный ветер, лица красноармейцев побавровели от мороза, белый иней нарос на поднятых воротниках шинелей. Хотелось от усталости дышать полной грудью, но нельзя было — лютый мороз перехватывал дыхание. Канаев шел своей широкой легкой походкой, снег скрипел под его сапогами. Иногда он подходил к отстающим и говорил: «Шагай, шагай, ребята! Ничего не поделаешь, что тяжело, — за свою землю воюем».

В два часа ночи был привал. Уставшие люди лежали на снегу, отвернувшись от ветра, закуривали. Зимние звезды мерцали над ними; казалось, что и там, в страшной высоте, дует зимний ветер и колеблет звездное небо.

Возле Канаева собралось несколько человек.

— Что, Канаев, устал ты восемь месяцев воевать? — спросил чей-то простуженный, хриплый голос.

— В деревне я тоже работал, — сказал он, — по три тысячи торфяного кирпича в день выбрасывал. Вот только промерз за эту зиму крепко. Это да! Спишь на снегу, огонь, мины рвутся — ничего, хранишь. Пелегко, это так. Да что говорить — война-то какая, народ на все решился. Я вот столько посмотрелся в деревнях, где немец зло делал над жителем, такого послушал от баб и стариков, что нет во мне усталости. Я немца не милую. Нет у меня к нему жалости.

И снова идет батальон.

Шагает красноармеец Иван Канаев, старый солдат войны за свободу. Много пройдено километров. Сурово и спокойно лицо Ивана. Шел он под палящим июльским солнцем, лежал под ясным месяцем в дубовом лесу, выстаивал долгие часы в намокшей шинели в осенние туманы, жег его лютый мороз.

Долгую ночь пролежал он в снегу у Петрищева под страшным немецким огнем, а потом встал и сказал спокойно: «Поднимайся, ребята, смелого пуля не берет». И пошел с ротой в атаку.

Приложился Иван по пулеметчику, который, как злой петух, стрекотал с соломенной крыши, сказал свою любимую поговорку: «Все равно — моя веселее». Замолк пулемет, — попала пуля немцу в правую бровь. Первым вошел Иван в Петрищево. Зашел в немецкий склад и ахнул:

— Ну, добра, ту-ту! Не то, что детям моим, внукам и правнукам хватило бы. Часов одних пять дюжины.

И вот, шагает он дальше.

— Что, Иван, взял что-нибудь на память себе? — спрашивает товарищ.

— Что ты! — отвечает Канаев, — моя натура не позволяет. Мне отвратительно к его вещам прикасаться. Я день в бою не сл, а из его офицерского

запаса ничего не тронул. Только из рук товарища кусочек хлеба взял. Я ведь веду свой смертный бой.

И он шагает все вперед, вперед. Полупустая вещевая сумка болтается за его плечом. Сурово его лицо. Он шагает вперед.

## РИСК

Каждую ночь часовые из комендантского взвода, прохаживаясь возле блиндажа, где ночуют командир и комиссар дивизии, слышат негромкие, оживленные голоса. Иногда из блиндажа слышится смех, тогда часовой останавливается и тоже посмеивается. Ему приятно слышать этот смех, спокойный, негромкий, когда вокруг напряжение военной ночи: где-то поднимается злобная зеленая ракета и медлительная белая строчка трассирующей пули прошивает толстый бархат неба. Когда сменяют часового, карнач шопотом спрашивает, кивая в сторону сарая:

— Не спят?

— Нет, разговаривают, — даже смеялись аккуратно, как немцы ракету пускали.

— Жизнь свою друг другу рассказывают, — объясняет карнач.

— Верно, так, — в один голос соглашаются часовые, тот, что смеялся, и тот, что пришел на смену.

В эту ночь командир и комиссар разговаривали особенно долго. Но в эту ночь они не смеялись.

— Засел крепко немец в Голубовке, придется идти на риск, — говорил Первухин, командир дивизии.

— На то и война, — отвечал комиссар.

— Окончательное решение приму завтра. Видно, будем полком Когана захватить в тыл.

— Я с ними пойду, — сказал комиссар.

— Тут ведь все от быстроты зависит.

— Обеспечу, будь спокоен.

На рассвете они оба вышли из блиндажа без гимнастеров, и к ним подошли порученцы с котелками воды и с полотенцами. Порученцы в это время сердито переглядывались — у порученцев сложная и длинная вражда. После мытья они вытирались: командир дивизии мохнатым большим полотенцем с кистями и вышитым красным петухом, а комиссар — маленьким вафельным. В это время подошел лысый майор, из оперативного отдела, о котором известно, что он никогда не спит и всегда беспокоится о флангах.

— Товарищ Первухин, — говорит майор, — ночью немец опять проявляет активность левее Высокого. Допосит разведка, что моторы шумели все время.

И он протягивает оперсводку.

— Танки, наверное, готовит, — говорит комиссар и подмигивает майору.

Майор вздыхает и с ядовитой почтительностью говорит:

— Бывает, товарищ Маковецко. Я слышал, что в немецкой армии есть танки.

— Михеич, — строго говорит командир дивизии, — ты на морозе в одной рубашке стоишь. А кашлял всю ночь.

— Верно, товарищ полковой комиссар, — говорит комиссарский порученец, — ветерок сегодня злобный, вроде и не холодно, а нос мерзнет.

Пока Первухин и Маковенко завтракают, порученцы тихо сеются.

— Связь с полками есть?

— Есть, товарищ полковник, — с Коганом полчаса назад установили.

— Ну, как — поехали? — спрашивает командир дивизии.

— Время, — говорит комиссар, — ведь в семь ноль ноль Сабуренко начинается.

Они едут в поле.

Дорогой они молчат, слушают гул артиллерии; потом командир дивизии говорит:

— А ты прав, Михеич, Чирыйнский большак надо было минировать — я еще вчера приказ отдал.

И вот они на поле боя. Командир дивизии с наслаждением вдыхает морозный воздух. Все многообразие, весь хаос звуков — треск пулеметов, визг снарядов, мин, гул разрывов, гром пушек, винтовочная палба — для него не хаос, ему все здесь понятно.

— Что это Зотов делает, быстрее надо выдвигаться, — говорит он, — передайте: пулемет на эту высотку вывешнуть.

Он прислушивается и, улыбаясь, говорит:

— А, вот уже и Сергеенко заговорил.

Он слышно слышит в стрельбе пушек невучный, спокойный голос артиллериста Сергеенко.

Узел немецкого сопротивления держится упрямо. Сломить его необходимо. Это разяжат действия правого фланга наступающей армии.

Штаб армии ждет решения с часа на час. Первухин знает, что из штаба фронта дважды звонили по поручению командующего.

— Сегодня будем в Голубовке, — говорит Первухин.

Майор из оперативного отдела печально докладывает:

— Получены данные разведки, немцы подводят резервный полк и до двадцати танков по Чирыйскому большаку. Огонь немецких автоматов и ручных пулеметов настолько плотен, что наша пехота с большим трудом подвигается вперед.

— Залегла пехота, — говорит Первухин, — на обоих флангах. — Он стоит молча, нахмурившись. И в эти короткие минуты никто не подходит к нему, не обращается с вопросами. Подбежавший командир полка остановился и молча ждет, поглядывая на Первухина. Во всей фигуре его, в сжатых губах, в серьезных, одновременно быстрых и задумчивых глазах словно соединилось все то, что происходит на поле боя. И все командиры, стоявшие возле него, чувствовали и понимали: вот этот человек на снежном пригорке должен был в эти минуты решить исход боя, в котором участвовали тысячи людей. И он решил его.

— Товарищ Сабуренко, — сказал он, — выдвиньте артиллерию вот на этот рубеж, бить прямой наводкой. Когану приказываю перерезать Чирыйский большак и со стороны мельницы перейти в атаку.

Телефониет побежал к аппарату.

— А комиссар где? — спросил командир дивизии.

— К Когану поехал, товарищ полковник, — ответил порученец.

Первухин покачал головой.

— Удивительно, — сказал он и спросил у подошедшего телефониста. — Передали?

— Передал, товарищ полковник, сам товарищ Коган говорил: есть перерезать Чирьинский большак и перейти в атаку.

Первухин представил себе, как сверкнули черные глаза Когана во время этого разговора, и, улынувшись, спросил:

— А голос какой у него был?

Телефонист сказал:

— Голос, товарищ полковник, известно какой: веселый. Это ведь на всю армию самый веселый человек. Он всегда шутит.

Первухин прошелся и спросил:

— Ну, как, товарищ майор?

— Рискованно очень, товарищ полковник, — наклоняясь к уху командира дивизии, сказал майор, — вы поглядите, ведь с тыла немец подходит. — И он показал на карту.

— Конечно рискованно, — весело сказал полковник. — Вы словно убеждать меня собирались. Я лучше вас знаю, что рискованно.

В это время совсем рядом оглушительно загрела артиллерия. Слова разговора не были слышны, и все невольно улыбались, глядя на спокойное и веселое лицо командира дивизии. Грохот пушек словно приветствовал и подтверждал это решение.

В два часа дня было получено донесение, что Коган перерезал дорогу, по которой шли немецкие резервы, а еще через час телефонист сообщил, что полк перешел в атаку тремя батальонами.

— Как тремя? — спросил майор, — ведь второй должен занять оборону на хуторе вдоль дороги. Свяжите меня либо с Коганом, либо с комиссаром дивизии.

Но в это время подошел полковник и сказал:

— Я только что говорил со штабом полка. Комиссар пошел со вторым батальоном в атаку, — и добавил: — Вы говорили о риске. И я согласился с вами, товарищ майор, риск есть.

— Есть, есть бесспорно, — сказал майор.

— Но если уж рискуешь, то самый большой грех в риске проявлять нерешительность и действовать полумерами. Когда рискуешь, надо действовать со всей решимостью, и действовать быстро. Верно ведь?

— Верно, товарищ полковник.

Он отошел в сторону.

Стоявший рядом фотокорреспондент сказал:

— Не за то отец бил сына, что рисковал, а за то, что рисковал наполовину.

Полковник ответил:

— Отец бил сына за то, что тот рисковал без смысла. Вот вы, кстати, ходили с автоматчиками, много снимков сделали?

— Нет, не удалось ни одного, — оживленно сказал фотокорреспондент, — где там, ведь почь была.

— Вот как раз за это отец бил сына, — сказал полковник.

— Бегут немцы! — крикнул порученец. — Глядите, как куры выскакивают, мечутся!

Толпы немецких солдат выбегали на дорогу, бежали по полю, собирались кучками, снова разбегались.

— А бежать-то некуда, — сказал майор и снова раскрыл карту.

Преследуя бегущих немцев, на окраину села начали выбегать красноармейцы. Видно было, как двое торопливо тащили на пригородке пулемет.

— Голубовка занята, — сказал торжественно связист. — Только что по телефону сообщил Коган.

Полковник пошел к машине, замаскированной между двумя скирдами неубранного снега. Прежде чем сесть, он повернулся к майору и сказал:

— Да, кстати, вы знаете, что Чирьинский большак нами ночью заминирован?

— Знаю, товарищ полковник.

— Знаете, что других путей подхода, кроме этого большака, от станции у немцев не было?

— Знаю, но все-таки, товарищ полковник...

— А вот «все-таки» — это уж не годится, — сказал полковник, — восвать надо без «все-таки».

Вскоре Первухин встретился с комиссаром.

— Жив, голубь? — спросил он и обнял комиссара.

— А как же, — ответил комиссар, — а как же, жив вполне.

Лицо его было красно от ветра, он то и дело вытирал пот, выступавший на висках.

Полупушок его был прострелен в трех местах. Комиссар оживленно рассказывал Первухину об атаке.

— Все это очень хорошо, Михейч, — сказал Первухин, — только посмотри на себя: шарфа моего опять не взял, варежек теплых, что совал тебе, опять не надел. А вчера температура была у тебя тридцать семь и две десятых — бессмысленно ты рискуешь своим здоровьем, не люблю я ужасно этого риска. Вот увидишь, дорогой мой, доиграешься ты до гриппа.

---

Старший политрук НИК. ШВАНКОВ

## В ПРИИЛЬМЕНСКИХ ЛЕСАХ

### 1

По кронам сосен невидимыми волнами пробегали порывы ветра, и глухой невнятный гул, словно шум прибоя, плыл по окутанному белесым сумраком сосновом лесу. Люди, молчаливо шагавшие среди вековых деревьев, чутко вслушивались в шорох ветвей, в тихий скрип снега под ногами товарищей. Порой командир, шедший впереди колонны, подавал знак, и все останавливались, ждали. Потом из-за черных стволов выплывали тени — нивесть откуда взявшиеся люди. Перекинувшись с ними парой слов, командир подавал знак, колонна снова двигалась.

Лес, видимо, кончился: ночь словно посветлела, с одной стороны деревья пропали, и глаза упирались в мутнобелую стену ночного мрака.

Когда люди собрались в одно место, их оказалось очень много. На середине круга стоял среднего роста человек; в темноте можно было только различить на его лице бороду да усы, выбеленные морозом.

— Цель наша — вот она, рукой подать, — говорил он, указывая в открытое поле. — Напоминаю: гранаты швырять, только как сигнал услышите. Не мешкать: пару подарков в окно — и подавай дальше, к следующему дому.

Он говорил коротко. Видимо, говорил то, что уже давно было сказано этим же людям раньше.

Слева послышался крик совы, и вскоре из-за деревьев появился невысокий подвижной человек. В руках у него, словно скрюченный уж, черный толстый, свернутый в баранку кусок немецкого полевого кабеля.

— Семен Михайлович, — доложил пришедший, — задание выполнено. Связь перерезал в нескольких местах.

— Прекрасно. Теперь — по местам! — И Семен Михайлович с группой партизан направился в поле.

Повдалеке зачернели избы села. Продолговатые темные полосы строений были слепы — ни одного огонька. Видимо, немцы спали. Только в центре села на улице поскрипывал снег — вероятно, там ходили немецкие часосы.

Коротко и громко ударила автоматная очередь. И сразу же, словно вторя ей, захлопотало, загромыхало сразу в трех местах деревни.

Три человека одновременно подбегали к избе. Двое, став у окон, швыряли большие, словно консервные банки, противотанковые гранаты и сразу же от-

бегали в сторону. Слышался страшной силы грохот, вылетали на улицу рамы окон, простенки, и в зияющие отверстия зданий било яркое пламя.

Порой на пороге избы появлялись белые фигуры с автоматами в руках. Не третий партизан был на-чеку. Коротко и грозно стучал автомат, и немец, роняя оружие, валился на пороге.

А рядом уже гремело в других избах — другие тройки выполняли свое дело с такой же быстротой.

Немецкий офицер, разбуженный канонадой, возвратился на грузевики и непослушными, трясущимися руками стал торопливо поворачивать миномет в сторону того конца деревни, где особенно часто гремели взрывы. Вблизи прострочил автомат, и офицер грузно свалился с кузова в снег.

Второй фаншет в одном белье, с автоматом выскочил на лед реки и стал строчить в сторону села. Немца сняли так же быстро, как и первого.

Разрывы умолкли так же неожиданно, как и начались. Партизаны, сделав свое дело, бесшумными тенями стекались к лесу, на сборный пункт отрядов. В селе не было слышно выстрелов — очевидно, не кому было стрелять. Восемнадцать домов, в которых жили немцы, выпавшие из села крестьян, были разворочены.

Но в соседних селах еще допались частые взрывы. Партизанские отряды громили немцев. Где-то за лесом занялся большой пожар, и кровавые отблески легли на снежные просторы.

## 2

Новыми путями отряд уходил из района, на который был сделан этот внезапный, дерзкий ночной налет. Бледный зимний рассвет застал партизан в густом занедевшем лесу. Людям нужен был хотя бы короткий отдых, но в селе стоял немецкий гарнизон и везде на окраинах виднелись станковые пулеметы.

Под обвешенными снегом елями партизаны сделали короткий привал. Семен Михайлович, коренастый, ладный в плечах, рыжебородый и рыжеусый партизан, комиссар бригады, а в недавнем прошлом районный партийный работник, с неизменной веселой улыбкой обходил отряды. Настроение у людей, уже несколько суток участвовавших в тяжелом походе, было все так же приподнятым, бодрым, и это радовало комиссара.

Под деревом, заботливо укутанные теплыми ватниками, лежали двое тяжело раненных — Сергей Иванов и Тюленков. Это были единственные партизаны, пострадавшие в ночном бою, если не считать еще одного легко раненного человека, который мог ходить. Иванова же и Тюленкова всю дорогу партизаны несли на руках.

Первый из них получил ранение, когда тройка, в которую он входил, громила уже вторую избу. Иванов нависнул гранату, но не рассчитал силы броска, и крутая болванка, ударившись в фронтон, отскочила и разорвалась на улице. Партизану перебило руки, изуродовало лицо. Он молча переносил страдания, и только когда его поднимали с земли после привалов, тихо стонал.

Второй тяжело раненный, Тюленков, пострадал почти при таких же обстоятельствах. Он замешкался у окна, в которое были брошены сразу две гранаты.

Раны были смертельными, это знали все, но люди несли товарищей по бездорожью, целине, проваливаясь в снег, изнемогая. Их нельзя было оставить на поругание врагу, даже почти мертвых.

Семен Михайлович, закончив обход отрядов, уже хотел вести людей дальше, как с двух сторон ударили выстрелы, и пули тонко запылили над головой. Стреляли немцы, преследовавшие отряд, нагнавшие их у этого села.

Всё залегли — кругом был враг. Когда над снежным полем мелькала зеленая шинель, гремел выстрел, и немец зарывался носом в снег. Партизаны стреляли редко — берегли патроны, но каждая их пуля падала в цель.

Весь день отстреливались. В вечерних сумерках Семен Михайлович поднял людей в контратаку и прорвал кольцо. Партизаны унесли с собой и двух раненных товарищей.

### 3

Схватка почти на день задержала партизан. Пришлось изменить маршрут, идти новым путем, глубоко обходя селения, прокладывая путь по самой глубокой глуши припльменских, широких, как море, лесов.

Отряд находился в пути уже четвертые сутки. На последнем коротком привале партизаны доели остатки сухих, черствых сухарей, и теперь всех мучили голод и странная жажда, которую снегом нельзя было утолить. А путь был еще далек, труден и опасен.

Тяжелее всего приходилось тому, кто шел впереди. Ноги выше колен уходили в сыпучий снег, и человек вытаскивал их с трудом. Плечи вожака скоро начинали дымиться от испарины, и человека приходилось сменять.

Чаще всего теперь впереди колонны шел сам комиссар бригады. Он двигался все той же размеренной, спокойной, даже медлительной походкой, на привалах широко улыбался в рыжие усы и шутки весело и много, как в первый день.

Но на сердце у Семена Михайловича было беспокойно. Он знал и видел, как люди устали за эти суровые дни. Тяжелым грузом легли на их плечи трудный поход по лесной глухомани, ночная схватка, непродвиженный обходный марш.

Лица партизан осунулись и словно закоптились. В глазах появился болезненно-лихорадочный блеск. На мимолетных остановках многие засыпали мгновенно, стоя, не успев еще приставить вторую ногу. Многие передвигались с трудом.

В заиндевелом сосновом лесу, у скованной льдом речушки партизаны оставили двух товарищей... Их положили на свежесломанные, нахнувшие смолой сосновые ветки, и каждый долго смотрел на почерневшие, почти лишенные признаков жизни лица боевых товарищей. Молчаливым и горестным было это прощание.

Шестьдесят девять человек — люди трех старорусских отрядов — должны были жить, чтобы снова громить оккупантов, и комиссар повел их вперед.

Солнце медленно уходило за кроны сосен. Померкла белизна снегов. Синие вечерние тени легли на сугробы. Снежные одежды деревьев зазелели, словно их облили малиновым соком.

Краски зимнего заката оживили молчаливый, величавый и прекрасный, как в сказке, лес, и воображению смертельно усталых, голодных людей начали мерещиться фантастические картины...

— Семен Михайлович! Я стучу-стучу в то окно, а она воды не выносит...

— Кто, где?

— Да хозяйка, хозяйка же, вот в этой избе!



Мучимый жаждой партизан указывал рукой на огромную ель, опустившую вниз ветви под тяжестью снежных пластов.

Начальник штаба лег в снег у куста и кричал простуженным голосом: — Я вас к своим базам не пущу!

У него с трудом отняли автомат.

Галлюцинация распространялась, как эпидемия страшной болезни. Люди сбрасывали верхнюю одежду, развешивали ее на сучья деревьев и усаживались в кружок вокруг сугробов: им мерещились теплые избы, застланные белыми скатертями столы, полные яств и напитков. Самым желанным среди них была вода.

Когда в наступивших сумерках комиссар, чтобы проверить маршрут, наклонился с фонариком над картой, на свет крохотной лампочки тянулись десятки озябших рук. Люди хвалили тепло и начинали сбрасывать шапки.

Комиссар ощущал, какая страшная угроза нависла над отрядом. Обессиленные, галлюцинирующие люди могли разбрестись во все стороны и либо замерзнуть в бескрайних лесах Приильменя, либо попасть в лапы немцев. Семен Михайлович собрал коммунистов — тех, кто еще держался твердо на ногах, встревожил их. Подверженных галлюцинации теперь вели под руки. Замыкающими шли самые крепкие, выносливые и следили, чтобы никто не отстал, не остался спать в сугробе. Но часто проводники тоже теряли ощущение реальности, надо было следить и за ними.

Комиссар теперь действовал за десятерых. Он поспевал везде, ободрял ослабевших товарищей, организовывал поиски тех, кто в момент помрачения сходил с протоптанной тропинки и оставался в лесу, моментально засыпая. Комиссар исхудал, глаза его стали глубже, губы почернели, потрескались, и он часто ловил себя на трудно преодолимом желании растянуться на снегу и уснуть... Уже приятная теплота разливалась по измученным, палитым свищом усталости членам, но комиссар ловил себя на малодушной мысли, гнал ее прочь. Он натырал виски снегом, глотал его жадными губами, и рассудок, готовый померкнуть, снова светлел. Усилием воли комиссар заставлял себя идти вперед и вести других. Каждый километр давался с невероятным трудом, но каждый километр приближал отряд к цели. Ради этого стоило напрягать все силы и делать невозможное возможным.

На закате шестого дня из-за поредевшего леса показались крытые снегом хаты. Над кровлями вились струйки дыма. Селение, где людей ожидали отдых и сон, вода и пища.

В эту минуту чудовищное напряжение, державшее комиссара шесторо суток, спало. Последние сотни метров показались ему труднее всего пройденного пути. Комиссар шел теперь в косых лучах заходящего солнца, шатаясь, хмельной от бессонницы, голода, жажды, хмельной от великой радости человека, одержавшего нелегкую и большую победу.

---

Подполковник Н. ДЕНИСОВ

## ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКОЙ ВОЗДУШНОЙ ТАКТИКИ

Лет пятнадцать назад в Германии значительным тиражом была издана книга с популярным названием: «Что должен знать немец об авиации». Автор этого труда, скрывшийся под псевдонимом, но, несомненно, авиационный специалист, на страницах своей книги изложил основные положения боевого применения военно-воздушных сил. В то время Германия, ограниченная в создании вооруженных сил Версальским договором, уже рассчитывала на возрождение своей авиации, и ее военные специалисты усиленно разрабатывали оперативно-тактические формы использования военно-воздушных сил. Применительно к этому намечались также пути развития и строительства самолетного парка.

Взгляды, изложенные в упомянутой нами книжке, высказанные в соответствии с уровнем авиационной техники тех лет, конечно, впоследствии были существенно пересмотрены. Но все же ряд основных положений сохранил свою силу и по сегодняшний день. Эти основы оперативно-тактического применения авиации были проверены в «пробных» воздушных боях и операциях против республиканской армии Испании (там действовал специальный фашистский воздушный корпус «Кондор»), а затем, в более крупных масштабах, они были испытаны при

нападении гитлеровских полчищ на Польшу и Францию, в сражениях на Англией. Тактика германских ВВС в основном осталась неизменной и при развертывании операций на советско-германском фронте.

По взглядам немцев, основное значение воздушного флота состоит в непрерывном тесном взаимодействии с наземными войсками. Однако это отнюдь не означает распыления воздушных сил по всему фронту или придания авиационных частей командирам наземных войск для использования их на поле боя. Основные силы авиации управляются централизованно. Они используются для нанесения противнику массированных ударов по главным направлениях действий наземных войск. При нападении на страну противника авиация, составляя первый эшелон наступающих войск, совершает нападения на ближайшие к границе аэродромы, авиационные базы, промышленно-экономические центры, военные заводы, центральные силовые станции, важнейшие коммуникации и крупные населенные пункты, стремясь сорвать мобилизацию вооруженных сил противника, вызвать панику среди мирного населения и войск первой линии и обеспечить тем самым наиболее быстрое продвижение своих подвижных войск в тыл противника. Другими словами, авиация прокладывает

путь танкам и моторизованной пехоте, находясь при проведении операций как бы на самом остром выпячиваемых в неприязнательскую страну «клиньев».

Немецкое командование не ставит своей авиации самостоятельных задач стратегического значения. В основном она использовалась по объектам на поле боя и в прифронтовой полосе. Но вместе с тем часть авиационных сил всегда направлялась в глубокий тыл противника для бомбежки столицы и крупнейших промышленных и политических центров. Подобные налеты имеют целью воздействовать на моральное состояние населения в глубоком тылу.

Строительство авиационных сил германской армии развертывалось в соответствии с оперативно-тактическими взглядами на их использование. Гитлеровская элита, следуя своей военной доктрине, стремилась создать «самые мощные в мире воздушные силы». Эту программу в меру сил и возможностей старались осуществить основные авиационно-строительные предприятия Германии. С момента прихода Гитлера к власти и сформирования воздушного министерства под руководством Геринга особым вниманием были окружены работы фирмы «Юнкерс». Ее авиационные заводы образуют один из крупнейших в Германии комбинатов, который еще более расцвел в предвоенные годы благодаря коммерческой заинтересованности руководителя фашистской авиации Геринга, бывшего служащего фирмы и связанного с нею свыше десяти лет.

Комбинат «Юнкерс» подготовил для немецких летчиков два основных типа бомбардировщиков. Один из них — «Ю-87», одномоторный моноплан, со скоростью до 350 километров в час и потолком в 8100 метров. Самолет может брать на борт бомбовую нагрузку до 500 килограммов и доносить ее до целей, расположенных на удалении 400 километров от аэродрома взлета. Этот пикирующий бомбардировщик по

своим летно-тактическим данным предназначен для действий не на очень большой глубине от линии фронта и входит в категорию ближних бомбардировщиков.

Вторым образцом предвоенных работ фирмы явился двухмоторный бомбардировщик «Ю-88». Он рассчитан на дальность полета до 2200 километров, обладает скоростью около 400 километров в час и может брать на борт запас бомб весом до 1200 килограммов. Этим типом самолета фирма пыталась обеспечить немецким авиационным частям возможность нанесения ударов на значительную глубину. В отличие от «Ю-87», двухмоторный «Ю-88» приближается к разряду дальних бомбардировщиков, но он не отвечает полностью всем требованиям, которые предъявляются авиационной тактикой к категории дальних бомбардировщиков.

Другая, не менее значительная в авиационной промышленности фирма Дорнье, в свое время строившая серию дирижаблей, известных под названием «Граф Цеппелин», выступила к началу войны с двумя типами бомбардировщиков: «До-17» и «До-215». Оба эти самолета обладают крейсерской скоростью порядка 385—390 километров в час, способны взять на борт бомбовую нагрузку до 1000 килограммов и имеют запас горючего на четыре-четыре с половиной часа полета. Как видно из приведенных данных, и этой фирме удалось удовлетворить части немецкой авиации хорошим типом дальнего бомбардировщика. Выполнение этой задачи взял на себя довольно молодой авиаконцерн Фокке-Вульф-Альбатрос, созданный в 1931 году в результате слияния двух фирм. С заветов этого концерна вышел тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Фокке-Вульф-200», которому фирма присвоила еще и наименование «Курьер». Обладая дальностью полета до 3200 километров, развивая на высоте 5000 метров ско-

ность порядка 450—465 километров в час и загружая свои люки бомбами с общим весом в 2500 килограммов, этот самолет по своим летно-тактическим данным больше всего подходит к разряду современных дальних бомбардировщиков.

Чтобы закончить о бомбардировочной группе немецкой авиации, следует остановиться на вышеупомянутом известной фирмой Хейнкель двухмоторном бомбардировщике «He-111». Слегка уступая в скорости уже упомянутому нами «Ю-88», этот бомбардировщик превосходит его в дальности полета и бомбовой нагрузке и предназначен для действий по объектам, отстоящим на значительной глубине от фронта.

Истребительная авиация фашистской Германии к моменту вступления в войну с СССР была вооружена преимущественно машинами, изготавливаемыми фирмой Баеринге Флюгцейтwerke (BFW) при участии главного конструктора фирмы инженера В. Мессершмитта. Речь идет о неоднократно битых нашими летчиками в воздушных боях самолетах «Me-109» и «Me-110». Первый из них — одномоторный моноплан, вооруженный пулеметами и пушкой, развивал скорость до 460 километров в час. Второй — «Me-110» относится к классу самолетов многоцелевого назначения. Эта двухмоторная машина, оборудованная пулеметно-пушечным вооружением, может брать в полет до 600 килограммов бомб, имеет дальность полета в два раза большую, чем «Me-109», и чаще выполняет бомбардировочные задачи, нежели участвует в воздушных боях как истребитель. Более усовершенствованным, с современной точки зрения, немецким истребителем, несомненно, является «Хейнкель-113». Фирма оборудовала его первоклассными пилотажными приборами (этот самолет задуман как тип ночного истребителя), хорошо вооружила и, поставив линейный мотор, довела скорость полета этой маши-

ны на высоте в 5000 метров до 610 километров в час.

Таковы данные главнейших типов самолетного парка немецко-фашистской авиации, который она имела к началу войны против СССР. Надо сказать, что в составе ее частей действуют авиационные подразделения вассальных государств — Румынии, Финляндии, Венгрии и Италии. Однако вооружены они самолетами отнюдь не превосходящими по своим качествам или оснащению уже упомянутые немецкие машины и сколько-нибудь существенным образом повлиять на оперативнотактическое использование авиации, конечно, не могли.

В авиации, как известно, не меньшее значение, чем конструкция самолета, играет и конструкция мотора. Фашисты, делая главный упор на вооружение самолетов пулеметами, пушками и бомбардировочным оборудованием, в моторостроительной промышленности заняли несколько отличную от других государств позицию. Мировая моторостроительная промышленность все последние годы усиленно занималась разработкой высотных авиационных двигателей, в предвидении воздушной войны на больших высотах. Фашистским конструкторам, напротив, подобная задача, повидимому, не ставилась, ибо подавляющее большинство немецких бомбардировщиков и истребителей снабжены невысокими моторами; подавляющее большинство немецких самолетов свои наилучшие летные качества показывают на средних, а не на больших высотах. Этот прием — превзойти в массовых воздушных операциях своего противника летными качествами на определенных высотах полета и тем самым известным образом свести на нет некоторые преимущества противника в скорости, высоте и маневренности, конечно, не мог не сказаться и на тактике применения авиации.

Что представляли собой кадры фашистской авиации к началу войны с Советским Союзом? Незначительное число старых летчиков, участвовавших в войне 1914—1918 годов, имея солидный летный опыт, на руководящие посты Гитлером и Герингом допускалось с трудом, ибо они не являлись по существу яркими поборниками фашистского режима, предпочитая придерживаться старой прусской школы. У руководства воздушными флотами Геринг ставил своих людей, пусть даже и не в полной мере компетентных в вопросах авиации. Одним из таких «варягов», скажем, являлся бывший чиновник пехотной службы Штумпф, которому за несколько лет пребывания в министерстве авиации присвоили звание генерал-подполковника и поставили во главе целого воздушного флота. Другим, не менее показательным фактом в этом отношении может послужить и «авиационная» карьера артиллерийского офицера Кессельринга — ныне фельдмаршала фашистской авиации и также командующего одним из воздушных флотов.

Основной состав немецких авиационных частей, вступивших в войну, — летчики, штурманы, стрелки, бортрадисты и техники — преимущественно молодежь, в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет. Кое-кому из них выпало пройти «практику» в экспедиции корпуса «Кондор» в Испании, многие участвовали в налетах на Польшу и Францию.

Опыт, приобретенный основными авиационными кадрами в этих операциях, всячески пропагандировался среди всего летного состава. Германия готовилась к большой войне. Пройти мимо особенностей современной воздушной войны, которые выявились в боях над Испанией, Польшей и Францией, гитлеровское авиационное командование не могло. Были приняты некоторые меры организационного порядка, выразив-

шиеся в перестройке авиационных частей, системы обучения пилотов и наблюдателей в летных школах, были пересмотрены отдельные тактические приемы воздушного боя, построения боевого порядка отрядов бомбардировщиков при следовании к цели, установлены новые нормы в соотношении сил при сопровождении бомбардировщиков истребителями, издан ряд инструкций по боевому применению скоростных самолетов и использованию их вооружения. Таковы вкратце были «внутренние» приготовления фашистской авиации к войне с СССР. Внешне же легкие воздушные победы тех лет всячески подогревались немецко-фашистским бюро пропаганды с целью укрепить созданный фашистами миф о «необходимости немецкой авиации». Некоторые из молодых летчиков стараниями той же геббельсовской кухни были провозглашены чуть ли не национальными героями, их щедро осыпали «железными крестами» и другими знаками отличия, ставили на довольно ответственные посты командиров частей или главных инспекторов. Таким образом, не обладая действительно солидной летной выучкой, воспитанные на легких победах кадры немецкой авиации в свои тактические приемы не могли не внести известной доли патологии, нахрана, порой подменяя ими настоящую воздушную отвагу и мастерство. И не случайно, что в первые же месяцы войны с советской авиацией фашисты лишились целой группы своих «ассов», как, например, Мельдера Удета и многих других. Первые столкновения с настоящими воздушными воинами, эти выскочки сразу умерили свой пыл, и в конце концов они быстро погибали, оставляя свои места еще менее подготовленным летным контингентам.



Войну с Советским Союзом в ночь на 22 июня прошлого года начала фе

шистская авиация. Следуя своей доктрине, гитлеровское командование хотело рядом последовательных ударов с воздуха сразу парализовать жизнь в нашей стране, сорвать мобилизацию Красной Армии, оперативные перевозки войск из глубинных районов к государственной границе, навести панику среди населения столиц союзных республик — Киева, Минска, Риги, Кшипинова, вывести из строя важные промышленные и военные объекты в ряде таких пунктов, как Севастополь, Одесса, Винница, Житомир, Могилев, Гомель, и многих других. Ясно, что при всех сопутствующих внезапному и вероломному падению обстоятельствах за один палет фашистам все равно не удалось бы выполнить свой замысел. Зная, что они имеют дело не с такой армией, с которой им приходилось встречаться при нападении на Польшу, где фашистским самолетам польское правительство могло противопоставить лишь устаревшие машины типа «ПЗЛ» и крайне слабую зенитную артиллерию, гитлеровские заправила свой первый удар направили по двум основным группам объектов.

Одновременно с моральным эффектом неожиданной бомбардировки ряда городов, врагу было важно попытаться взять с первого же дня в свои руки инициативу в воздухе. Господство в воздухе они надеялись завоевать после первых же ударов по нашим аэродромам и авиабазам. Этой частью воздушной операции, кроме того, они хотели обеспечить успех и второй половины задуманного плана — срыва мобилизации Красной Армии, отсечения ее кадровых частей от приграничных районов и полную изоляцию последних от всей страны. Поэтому основные усилия брошенных на Советский Союз воздушных флотов гитлеровское командование в первые два дня войны направило на уничтожение нашей авиации, расположенной как в приграничных районах, так и несколько глубже. Действия же

по городам и промышленным центрам в эти дни имели характер преимущественно беспокоящих палетов одним-тремя самолетами.

Оправдался ли расчет немцев? Естественно, что внезапность первых падений на наши аэродромы несколько сковала наши авиачасти, некоторым из них был нанесен известный урон. Но и потери фашистских эскадр в этой операции были огромны. Наши летчики, героически защищая свои аэродромы, отважно вступали в воздушные бои, расстреливали фашистов из пушек и пулеметов, а когда кончались боеприпасы, шли на таран. Этот новый неизвестный фашистам прием воздушного боя нашими истребителями был применен в самый первый день войны. Летчики одного из приграничных аэродромных узлов с гордостью вспоминают имя младшего лейтенанта Бутелина, который, отражая палет немецких «Юнкерсов» на свой аэродром, сбил отпущенные вражеские машины, а третью протаранил, самоотверженно отдав свою молодую жизнь за счастье и свободу нашей родины.

Чтобы показать, сколь велики были потери немцев в этой первой их операции, достаточно привести только один пример из многочисленных воздушных боев, разыгравшихся 22 июня на всем протяжении государственной границы. Это случилось на крайнем юге. Полк истребителей, которым командовал майор Рудаков, за первый день войны отразил восемь попыток немцев бомбардировать прикрываемый им аэродромный узел. В воздушных схватках за несколько часов наши истребители сбили тринадцать вражеских самолетов и взяли в плен командира группы — фашистского полковника. За этот день полк потерял только один экипаж. Подобных примеров можно привести много.

Не удалось фашистам полностью реализовать свой план еще и потому, что наше авиационное командование, как

только прозвучали сигналы тревоги, немедленно предприняло широкий аэродромный маневр. Многие бомбардировочные, штурмовые и истребительные части благодаря этому невредимыми вышли из-под удара и, сменив свое место базирования с постоянных, известных немцам аэродромов, на полевые посадочные площадки, в свою очередь, нанесли ряд чувствительных контрударов с воздуха по вторгнувшимся в пределы страны немецким войскам.

Рассчитывая, что советская авиация «уничтожена» уже на третий и на четвертый день войны, немецкая военно-воздушная машина переносит свои усилия на другие цели. Теперь в центре внимания фашистских летчиков находятся железнодорожные магистрали, станции, автострасы, шоссе. По аэродромам и городам немцы действуют меньшими, чем в первые дни войны, силами и, кроме того, часть своих соединений используют для непосредственной поддержки передовых границ и героически задерживаемых нашими пограничными отрядами танковых и моторизованных колонн. Такова примерно была картина воздушного вторжения фашистов на нашу территорию.

В последующем, ведя наступательные операции и имея некоторое преимущество в авиации, фашистское командование на первом этапе войны свои военно-воздушные силы использовало следующим образом. На направлениях главного удара (по отдельным участкам фронта) сосредоточивались крупные воздушные группировки, доходившие до 400—500 самолетов. В их задачу входило сильное воздействие с воздуха как на передний край нашей обороны и ближайший войсковой тыл, так и на большую глубину порядка 300—400 километров. Основными целями фашистской бомбардировочной авиации были войска в боевых порядках, на марше и в биваках, железнодорожные станции, районные центры и города, мосты, перестра-

вы, аэродромы и т. д. Фашистские истребители использовались как для прикрытия своих войск, так и для атак с воздуха на наши обороняющиеся войска. На второстепенных направлениях преимущественно действовали редкие группы самолетов, главным образом с разведывательной целью.

Характерными в этот период времени были тактические приемы немецких летчиков, продолжавших с первого дня войны преследовать все ту же идею внезапности нападения. Воспитанные на принципах лютости, ударов исподтишка, они широко применяли различные уловки и хитрости. Например, их действия по нашим аэродромам изобиловали следующими приемами. Делая ставку на неожиданность и зная, что сколько-нибудь значительная группа их самолетов не сможет проникнуть в район наших аэродромов незамеченной, фашисты под прикрытием сумерек пролетали на одиночных самолетах в паутину и производили посадку в поле, вдали от населенных пунктов. Едва рассветало, эти самолеты-диверсанты вылетали и бреющим полетом подходили к той или другой посадочной площадке. Если такой пилотчик не бывал тут же облит огнем зенитных пулеметов или патрулирующими истребителями, то все равно существенного ущерба нанести нам он не мог. Обычно для этой цели фашисты использовали не бомбардировщики, а истребители «Me-109», или, как это часто случалось на Южном фронте, самолеты вассальной Румынии — «ПЗЛ-24», вооружение которых, как известно, главным образом приспособлено для воздушного боя. Бомбовая же нагрузка этих самолетов столь незначительна, что говорить о серьезном поражении материальной части на аэродроме безусловно нельзя. Этот прием практиковался фашистами исключительно с целью вызвать суматоху в расположении части, посеять панику, создать впечатление о якобы непрекращающихся ударах по нашим аэродромам.

В первые недели войны фашисты нередко прибегали к помощи своей агентуры для наведения эмпиатжей бомбардировщиков на цель. В таких случаях высаженные в определенном районе парашютисты-диверсанты ночью широко применяли световые сигналы — ракеты, подаваемые с земли в нескольких местах в направлении объекта бомбардировки. В светлое время суток диверсанты практиковали самые различные способы сигнализации. Скажем, при падении на военный объект около села Кулевча фашистские летчики ориентировались по расположенным на поле в определенном порядке снопам.

Выбирая время суток для нападения на аэродромы, враг в первый период войны старался действовать либо в сумерках, либо на рассвете, причем подобный налет обычно рассчитывался им с большой точностью. Делалось это, конечно, для того, чтобы обезопасить себя от противодействия наших истребителей, либо при следовании к цели (утром), либо при уходе на свою территорию (вечером). Днем, да еще при ясной погоде нападать на аэродромы фашистские летчики остерегались и даже напротив, следуя по курсу над нашей территорией, стремились обойти их стороной.

Обычно к объекту намеченного удара они подходили на средних высотах (2000—2500 метров), а затем, приглушив моторы и применяя обычную воздушную хитрость, — появление со стороны солнца, из-за облаков и т. п., ложились на боевой курс. Вот один из типичных примеров действий фашистской авиации. С утра над полем аэродромом у местечка Сухой Танлык прошел фашистский разведчик. На исходе дня, когда уже группа наших ночных самолетов перерулила с дневной стоянки на ночной старт, из-за облаков появились четыре немецких двухмоторных «Ю-88». Они шли с заглушенными моторами на высоте 600—700 метров.

С хода сбросив две серии зажигательных и осколочных бомб по району командного пункта, они несколько довернули в сторону находящихся в северной части аэродрома самолетов и сбросили еще несколько серий бомб. В действиях фашистов ясно проступала нервозность и торопливость. Большинство сброшенных ими бомб легло в чистое поле, за пределами аэродрома. Весь ущерб, нанесенный нам этим ударом, выразился в одном разбитом прямым попаданием бомбы самолете и несколько поврежденной учебной машине. Из личного состава пострадало несколько человек, легко раненных осколками. Из четырех же нападавших «Юнкерсов» из района аэродромного узла ушло двое. Два других были «наказаны» тут же нашими истребителями.

Однако следует заметить, что удары вражеской авиации по нашим аэродромам не имели успеха преимущественно там, где фашистам была противопоставлена хорошая зенитная оборона. Борьба с немецкими палетами на наших базах и аэродромы была делом трудным и весьма серьезным. Враг усиленно готовился к нападению, его маршруты и сама методика ударов были тщательно продуманы.

Примечательной и очень характерной чертой для всей воздушной тактики немцев в период их наступательных операций было стремление озадачить наши воздушные и наземные силы всякого рода каверзами. Они, как и другие приемы фашистов, преследовали все ту же излюбленную ими неожиданность, внезапность. Скажем, бомбардировочная авиация немцев часто применяла вместо обыкновенных фугасных или крупноосколочных бомб так называемые (благодаря зрительному впечатлению) «черешнишки». Они представляли собой мелкие осколочные бомбочки замедленного действия, нечто вроде своеобразной воздушной минны. Сброшенные с самолета в большом ко-



личестве, они терялись в траве и кустарнике. Взрыв этой «черепашки» происходил в момент нажима на нее ногой, колесом автомашины или легкого удара.

Вражеские истребители, появляясь над расположением наших войск, затевали между собой «воздушный бой». Зная непреложный закон наших летчиков всегда идти на помощь товарищам, фашисты этой хитростью пытались заманить их в ловушку. Стоило одному из наших истребителей подойти в район подобного «боя», как на них со всех сторон пабрасывались «Мессершмитты» или «Хейнкель»!

Много было зарегистрировано и других случаев. Например, стрельки фашистских бомбардировщиков под атаками наших истребителей частенько обозначали поднятием рук или выкидыванием белого флага о готовности сдаться в плен. Но стоило лишь нашему истребителю вплотную приблизиться к бомбардировщику, как с борта последнего открывался сильный пулеметный огонь. Нередко немцы, чтобы избавиться от преследования, посредством особого приспособления, пытались оградить себя от атак наших истребителей струями ядовитого дыма. Рассеиваясь в воздухе, он мешал летчику вести прицельный огонь, вызывая легкое головокружение и даже тошноту. Подобных примеров много. Все они говорят о том, что ставка фашистов в первые недели войны была рассчитана на запугивание нашей авиации и нанесение ей ударов исподтишка, любыми изворотливыми способами.

В меньшей степени, эти приемы, носящие по сути дела характер форменного воздушного разбоя, наблюдались и при действиях фашистской авиации по наземным войскам, ближайшим тылам и коммуникациям Красной Армии. Во время своих налетов немцы отнюдь не стремились поразить или вывести из строя какой-то определенный важный объект. Их усилия были направлены главным образом на то, чтобы нанести

наняку, создать ложное впечатление о силе своей авиации, якобы беспрестанно появляющейся над нашими коммуникациями и узловыми пунктами. Боевой опыт лета 1941 года изобилует многими эпизодами, подтверждающими, что фашистское командование именно так старалось использовать свою авиацию. Например, над большинством дорог прифронтовой полосы обычно «висели» неприятельские истребители. Целью их была непрерывная охота за отдельными автомашинами, мотоциклистами или группами бойцов. Для контроля за движением по грунтовым дорогам в более глубоком тылу (начиная с 10—15 километров от фронта и далее) немцы преимущественно паряжали бомбардировщиков. Здесь они появлялись с периодической последовательностью, один за другим, или с разными интервалами во времени. Если по дороге проходило движение транспортов, то иногда одиночные самолеты заменялись небольшими группами, которые старались напасть на колонны сзади, со стороны солнца, на бреющем полете из-за складок местности. Если колонна своевременно встречала фашистов огнем, бомбардировщики, не сбрасывая своего груза, немедленно отваливали в сторону и уходили на поиски менее защищенной цели. Надо сказать, что наиболее излюбленными объектами для бомбардировок и пулеметных обстрелов с воздуха для фашистов в те дни были группы беженцев, эвакуирующегося мирного населения, гурты скота и т. д. Это как нельзя более полно характеризует трусливого врага, все повадки и приемы которого сводились к тому, чтобы застигнуть врасплох, создать наняку и по-разбойничьи бить из-за угла.

Подобный метод действий еще отчетливее проступал при налетах немцев на населенные пункты и города, находящиеся в войсковом тылу или прифронтовой полосе. Создаваемые немецким командованием крупные авиатrupпы на направлениях главного удара

отнюдь не прокладывали свои маршруты к объектам военного значения, а подвергали бомбардировке весь населенный пункт. Так было во время налетов на большие города — Минск, Киев, Ленинград, Одессу, Харьков, Смоленск, Запорожье. Так было и во время нападений на менее крупные города. В некоторых случаях разрушение городов шло с методической последовательностью, как, например, при многодневных нападениях с воздуха на польский бессарабский городок Бельцы. Там фашистские летчики бомбили буквально квартал за кварталом. Подобный прием был применен ими во время налетов на Первомайск. В течение ряда ночей, а затем и дней над городом через определенные промежутки времени появлялись вражеские бомбардировщики и сбрасывали груз бомб куда попало, на любые, приглянувшиеся фашистским штурманам улицы города. Так, создавая пожары, грохоча разрывами бомб в нашем тылу, враг пытался посеять панику, устрасшить наших войска и сломить их сопротивление. Однако, как мы знаем, его расчеты в этом не оправдались.

Разбойничья тактика устрашения, которой придерживалось фашистское авиационное командование в первые месяцы войны, сказалося и в том, как применялись им парашютные десанты. Пресловутый план «молниеносной» войны уделял им большое место. Следуя замыслам руководящих операциями фашистских генералов, подчиненные им воздушные флоты целыми пачками сбрасывали парашютистов на нашу территорию. Не останавливаясь на известных фактах выброски групп немецких парашютистов, переодетых в гражданское платье, военную или милицескую форму, разберем одну весьма показательную для фашистской воздушной тактики десантную операцию, происходившую в сентябре прошлого года. Задумав глубокое окружение одной крупной нашей группировки, по не

имея для этого достаточных средств, немцы решили прибегнуть к помощи авиации. В один из дней несколько групп самолетов, одновременно появившись в довольно глубоком тылу наших войск, выбросили отряды автоматчиков и минометчиков около районных центров и узлов дорог. С палата заняв ряд пунктов, эти парашютисты развивали, как только могли, бурную деятельность по наведению паники в нашем тылу. Перерезая телеграфные провода, нападая на отдельные автомашины и поезда, грабя мирное население, они пытались создать впечатление, что здесь действуют крупные части. На самом же деле численность этих отрядов была весьма незначительной — по 30—40 солдат. С ними быстро разделились местные истребительные отряды, и хитрый замысел врага был сорван.

Следуя своей доктрине воздушной войны, фашисты ровно через месяц после начала военных действий приступили к воздушным операциям, направленным на нашу столицу — Москву. Что пытались бомбить немцы здесь? Авиазаводы? Промышленные предприятия? Определенные военные объекты? Отнюдь нет! Отдельные, прорывавшиеся сквозь кольцо противовоздушной обороны столицы фашистские бомбардировщики беспорядочно разбрасывали бомбы по всей огромной территории города. Вражеским штурманам, повидному, и не ставилась четкая задача разрушения того или другого объекта. Они торопливо освобождали люки своих самолетов от бомбовой нагрузки над жилыми домами, парками, пустырями. Фашистам важно было достичь не столько огневого, сколько морального эффекта своего воздействия с воздуха на красивую столицу. Успели ли они в этом? Факты говорят обратное. Москвичи не были поколеблены этими налетами, дух и воля советского народа не упали, а, наоборот, еще более ожесточились, сопротивление наглomu врагу росло с каждым днем все больше и больше.

Итак, этот первый период войны, период наступательных операций гитлеровских полчищ, которым в силу многозапасности и вызванного ею некоторого перевеса в силах удалось потеснить наши войска и временно оккупировать часть территории нашей страны, в отношении оперативно-тактического использования воздушных сил кратко характеризуется следующим. Рассчитывавшее на молниеносную войну гитлеровское авиационное командование, ведя воздушные операции на широком фронте, массируя свои воздушные силы на направлении главного удара, во всех своих действиях придерживалось тактики устрашения, стремилось вызвать панику и замешательство, озадачить наши военно-воздушные силы различного рода каверзами и тем самым легкой ценой завоевать господство в воздухе.

Воздушные флоты фашистов, действовавшие на различных участках фронта, получили не только мощный отпор, но и понесли огромные потери. Наша авиация, отважно сражаясь с врагом, применяя метод активной обороны в воздухе, непрерывно громила немецкую авиацию и в небе и на земле. Только за лето прошлого года, то есть за период наиболее активных наступательных действий немецко-фашистских армий, их авиачасти и соединения лишились более 20 000 человек летного состава. Он был уничтожен в воздушных боях или выбит при налетах наших истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков на вражеские аэродромы. Добываемое немцами частное превосходство в воздухе на редких участках фронта не переросло (как этого хотел гитлеровский верховный штаб) в полное господство. Хозяевами в советском небе оставались героически сражающиеся с врагом, своевременно разгадывающие все его уловки и хитрости храбрые и умелые советские летчики.



К осени, с развитием операций, которые по гитлеровским планам должны были закончиться захватом Москвы, немецкому авиационному командованию пришлось срочно перестраивать свою воздушную тактику. Потери в самолетном парке и личном составе благодаря нашему воздушному контрастному давлению были столь велики, что планировать дальше действия своих воздушных флотов на широком фронте фашисты были не в состоянии. Отказавшись от этого, поняв и то, что их пресловутая разбойничья тактика устрашения потерпела фиаско, фашистские авиационные заправлены всем ходом событий были вынуждены принять ряд мер, во многом определивших и характер дальнейших воздушных операций. Поскольку в этот период времени — октябрь, ноябрь — основные усилия захватчиков направлялись на окружение и овладение Москвой, — на этот участок фронта было стянуто большое количество авиационных групп. В известной мере оголяя другие участки фронта, немцы болыиниством своей авиации сосредоточили на западном направлении. На других участках фронта в это время наступило некоторое затишье в воздухе. Там полеты производились преимущественно одиночными самолетами или мелкими группами по несколько раз в день, главным образом с разведывательными целями. Этими силами немцы только «поддерживали» свой воздушный престиж, в некоторых случаях даже пытались проникнуть редкими самолетами в глубинные наши тылы (включь до Волги). Мы уже упоминали, что, вступая в войну, фашистская авиация не имела в своем самолетном парке большого количества дальних бомбардировщиков. Аэродромы, находящиеся на временно оккупированной немцами территории, позволили им приблизить свою авиацию к линии фронта и тем самым к глубинным районам. Организуя разведывательные полеты (с одиночным бомбометанием)

над глубоким тылом нашей страны, немцы старались создать неуверенность у населения, поколебать прочность советского тыла. Ведь они производились как раз в тот момент, когда гитлеровские полчища охотителя рвались к Москве. Опасность, грозящая столице, появление вражеских самолетов над Волгой — все это, по мнению немецкого командования, должно было сильно воздействовать на моральную устойчивость нашего населения, на организацию обороны и ослабить отпор, оказываемый захватническими операциям немцев.

Как действовал собранный ценой огорения других участков фронта ударный воздушный кулак немцев на западном направлении? Здесь боевую работу своей авиации немцы подразделили на два основных участка. Значительная часть сил была применена в тесном взаимодействии с наступающими пехотными и танковыми соединениями, непосредственно поддерживая их на поле боя и пытаясь путем непрерывных бомбардировок ближних коммуникаций отсечь подходящие к фронту резервы, обеспечить продвижение к столице танковых колонн. Одновременно на эту группу авиасоединений немцы возлагали и задачи борьбы с нашей авиацией путем подавления ее на аэродромах.

Другая часть сил, также сосредоточенных на западном направлении, имела своей основной задачей ежедневно подвергать бомбардировкам Москву. Если раньше, в первый период войны для этих нападений немцы могли использовать только самолеты, обладавшие необходимой дальностью полета, — «Хейнкель-111», «Юнкерс-88» и небольшое количество самолетов типа «Фокке-Вульф-200», то теперь приближение аэродромной сети к фронту и сравнительно малая удаленность цели от него позволили им в состав нападающих групп включать не только другие типы бомбардировщиков («Ю-87»,

«Дорнье»), но и истребителей. Преимущественно для этой цели ими использовался многоцелевой «Ме-110». Операции «московской» авиационной фашистов в это время достигли своего пика высшего напряжения. Любой ценой немцы добивались прорыва на Москву, поднимая в воздух эшелоны по 50—60 машин в каждом. В отдельные дни на город направлялось до 300—350 самолетов самых различных марок. Стремясь обеспечить им прорыв сквозь барражи наших истребителей, немецкое командование как раз в эти дни бросало на Западный фронт несколько отрядов, вооруженных модернизированными, улучшенными в ходе войны истребителями «Ме-109» или, как их часто называют, «Ме-115». Этот вариант основного немецкого одномоторного истребителя обладал по сравнению со своим эталоном несколько повышенной скоростью, был оснащен лучшим вооружением. Так как на нем установлен невысокий мотор и свои наилучшие летные качества эта машина показывала на малых высотах, немцы строили воздушные бои на них так. Сопровождая идущих на значительной высоте бомбардировщиков, эти истребители при встрече с нашими воздушными патрулями старались увлечь их в пиллине слои воздушной сферы и вести бой чуть ли не на бреющем полете. Этот тактический прием маркировался нашей истребительной авиацией путем создания многоярусного патрулирования, и «новые» истребители немцев бывали биты каждый раз.

Октябрьско-ноябрьские налеты на Москву помимо массовости и эшелонирования действий характерны еще и тем, что здесь имели место не только ночные, но и дневные нападения на город с воздуха. Но достигли ли немцы желаемого ими результата этими бомбардировками? Конечно, нет! Редкие разрушенные дома, выбитые стекла, десяток-другой быстро заделываемых

воронок на улицах и площадях, очень немногочисленные, случайные жертвы среди нескольких миллионов жителей столицы — вот, пожалуй, и весь итог многих сотен произведенных немцами самолетовылетов. Недаром московская молодежь, правильно оценивая боевой эффект их налетов, назвала фашистских летчиков «стекольщиками», так как наибольший ущерб в городе был нанесен не строениям или другим важным объектам, а оконным рамам, из которых под действием взрывной волны вылетали стекла.

Не добившись ожидаемого эффекта от налетов на Москву, немцы в то же время понесли весьма солидные потери от огня наших истребителей и зенитной артиллерии. О размерах этих потерь говорит хотя бы следующий факт. 27 октября (а подобных дней было много) на подступах к городу было сбито 47 вражеских самолетов. Сюда надо прибавить еще и те самолеты, которые уничтожались фронтовой авиацией при следовании по маршрут, до подхода к московской зоне противовоздушной обороны, тогда картина непомерных потерь гитлеровской авиации в этих операциях будет еще более яркой.

Усилия взаимодействующих с пехотой и танками немецких авиационных частей, как мы уже говорили, были направлены на непрерывное воздействие с воздуха на систему нашей обороны. Однако надо отметить, что условия осенней погоды, размокшие аэродромы и посадочные площадки не позволяли немцам достигнуть непрерывности действий авиации. Несколько срывало их и то обстоятельство, что при отходе оставляемые нашими частями аэродромы приводились в негодность. Летные поля пропахивались и обильно выпавшие дожди делали нормальную летную работу с них невозможной. Кроме того, места базирования фашистской авиации ежедневно навещались нашими бомбардировщиками, штурмови-

ками и истребителями, сжигавшими немецкие самолеты, расстреливавшими фашистских летчиков и техников пулеметным огнем.

Осенние месяцы воздушной войны характерны большой интенсивностью действий на сравнительно узких участках фронта. Можно сказать, что они для немецкой авиации, так же как и для всей германской армии, были месяцами наивысшего напряжения. Ценою любых потерь фашистское авиационное командование пыталось облегчить прорыв своих наземных войск к Москве, закончить войну до наступления зимы. Поэтому оно стремилось не только стянуть большинство воздушных сил на западное направление, но и концентрировать их по отдельным участкам этого фронта. В проведении самих операций и воздушных боев немцы в этот период не внесли сколько-нибудь существенных тактических новинок. Убедившись на опыте первых месяцев войны, что их прием «воздушного устрашения» не вызывает такого морального воздействия, на которое они рассчитывали, немцы перешли к тактике ударов мощными воздушными кулаками по отдельным объектам как в тылу, так и на поле боя. Но, как показала жизнь, их авиация и таким методом не сумела проложить дорогу своей пехоте и танкам и не только не завоевала господства в воздухе, но и с каждым днем все больше и больше теряла частное превосходство в силах, которое ей иногда удавалось получить на отдельных участках фронта. Причиной этому были, с одной стороны, колоссальные потери, понесенные в предыдущих операциях, а с другой, все более возрастающая мощь советской авиации, пополняемой новой материальной частью, людьми и приобретшей в схватках с немцами богатый боевой опыт.



Осенний кризисный период войны закончился полным разгромом немцев

под Москвой. Откачиваясь под ударами наших войск на запад, фашисты были вынуждены в корне перестроить и свою воздушную тактику.

Теперь немецкая авиация ограничила радиус своих полетов, преимущественно работая над полем боя. Появление вражеских самолетов над тыловыми районами стало явлением довольно редким, а если они и имели место, то, видимо, с ограниченными разведывательными целями. Вся немецкая бомбардировочная и истребительная авиация была привлечена для штурмовых атак наших наступающих войск с тем, чтобы как-нибудь задержать их и помочь своей пехоте выходить из боя, вывозить танки, артиллерию и награбленное имущество.

Все более и более усиливающиеся холода также сказались на действиях немецкой авиации, на ее оперативно-тактическом использовании. К зле гитлеровская авиация не была готова по целому ряду причин. Немецкий технический состав не имел практики и опыта ухода за самолетами и моторами при низких температурах. Да и многие из конструкций вовсе не были рассчитаны для полетов в зимних условиях. Например, один из лучших образчиков немецкой истребительной авиации — «Хейнкель-113» охлаждающую систему мотора имеет в виде паропроводных трубок, расположенных в плоскостях и фюзеляже. Как только нагрянули русские морозы, эта система немедленно стала отказывать в полете, участились случаи вынужденных посадок этого самолета, а «Хейнкель-113» и вовсе перестал появляться в воздухе. Глубокий снег, покрывший прифронтовые немецкие аэродромы также сковал действия авиации. Колесные шасси машин затрудняли, а иногда и вовсе воспрепятствовали вылету. Лыж к самолетам немецкая авиационная техника заранее подготовить не успела. Изменявшая зимняя погода не могла не

сказаться и на технике пилотирования и самолетовождения. Оставшиеся кадры немецких летчиков и штурманов не умели летать в сложных метеорологических условиях, в снегопад, в туман, при обледенении самолетов.

Количество вылетов в декабре резко упало. Редкие самолеты, перелетавшие линию фронта, придерживались на своих маршрутах железных дорог, шоссе и других ярких заметных ориентиров. Оторваться от них, отойти в сторону для немецких экипажей, не имевших навыков в зимней навигационной работе, означало потерять ориентировку. В основном они летали эпизодически, бросая бомбы на случайные, попавшиеся на пути объекты. Во всех налетах чувствовалось отсутствие продуманного и преследующего какую-то определенную цель плана действий.

Особенно сильно сказалась русская зима на вопросах эксплуатации. Зима застала фашистских техников и механиков на аэродромах, которые не были снабжены необходимыми средствами для разогрева воды и масла. Горючее доставлялось с трудом из-за снежных заносов на дорогах. Рабочие площадки аэродромов расчищать было нелегко: механизированных снегоочистительных приспособлений не было. Все это заставляло фашистов поистине варварскими способами пытаться как-нибудь подготавливать самолеты для вылета. Например, на Юго-западном фронте на стремительно занятом нашими войсками немецком аэродроме бойцы увидели подготавливавшуюся к вылету немецкую машину. Убежавший экипаж разогревал ее мотор с помощью накаленных на костре камней. Очистку аэродромов от снега немцы производили вручную. По делали они это не сами, а выгоняли на работу местное население. Полураздетые и полуголые старики, женщины и дети должны были на морозе часами убирать снег, готовить взлетные и посадочные полосы для фашистских са-

молетов. Но все эти меры, как и выданные летному составу в январе плюшевые куртки, не помогли немецкому командованию выпутаться из создавшегося положения и продолжать свои боевые действия в воздухе с той же активностью, с какой они проделывали это летом и осенью.

Говоря о характере воздушной войны в зимний период, было бы ошибочным считать, что ослабление действий фашистской авиации вызывалось только морозами и непогодой. В действительности, дело обстоит иначе. Первой и самой главной причиной ослабления активности немцев, несомненно, была огромная убыль в самолетном парке и личном составе, особенно во время разгрома гитлеровских полчищ под Москвой. Стянутые сюда большие авиационные силы в полной мере извели здесь всю мощь Красной Армии и советского воздушного флота. Подмосковные земли еще и сейчас усеяны бесчисленными остовами сгоревших и разбившихся фашистских самолетов. От собранной в октябре воздушной армады осталось очень немного машин, немногие экипажи благополучно унесли свои шкуры из-под красноармейских ударов.

Эти обстоятельства привели гитлеровское командование к выводу о необходимости временного прекращения активных действий в воздухе и принятия ряда ограничительных мер. Немцы отвели значительную часть боевой авиации на свои глубинные аэродромы для ремонта, «переобування» колесных шасси на лыжи, тренировки летного состава в пилотировании применительно к зимним условиям. Часть авиасоединений, кроме того, была переброшена в южные районы фронта, где погода позволяла летать более интенсивно. В частности, в это время более активным в смысле воздушных действий со стороны фашистов был Крым и прилегающие к нему районы. На других участках фронта

были оставлены небольшие воздушные заслоны, состоящие из более или менее опытных старых летчиков. Отведена была в тыл и «московская» авиатрупа, полеты на Москву прекратились. Этот маневр явился третьей причиной ослабления действий немецкой авиации.

Однако затихшее в воздухе в середине зимы сменилось затем попытками активизировать действия авиации на ряде участков фронта. Частично перевооружив свой самолетный парк (вернее, поставив часть машин на лыжи), попытались растрепанные части новой материальной частью и свеженеспеченными пилотами, сняв ряд частей с запада и юга, фашисты приступили к более или менее интенсивной деятельности на своем Восточном фронте. Характер проводившихся в то время наземными войсками оборонительных боев, отступлений немцев на тыловые рубежи, попыток вырваться из окружений предопределил и оперативно-тактическое использование авиации. Первое, что вновь попытались сделать фашисты, — это вновь ударить по нашим аэродромам, чтобы как-нибудь сковать действия наших военно-воздушных сил. Примерно с начала февраля, сосредоточивая на отдельных базах большие группы самолетов, немцы предприняли ряд атак на наши аэродромы. Днем эти полеты были по сути дела безрезультатными. Вражеские бомбардировщики встречали еще по пути к аэродромам патрули наших истребителей и зенитные батареи, и редким фашистским самолетам удавалось достигнуть своей цели. Тогда немцы стали широко применять ночные бомбардировки. Тактика их сводилась к тому, чтобы, выследив по световым сигналам, подаваемым с земли нашим самолетам, незаметно подойти к аэродрому и бомбить его мелкими и крупными бомбами. Зарегистрировано много случаев, когда фашисты, придя в район аэродромного узла, миганием бортовых огней запрашивали разрешения на посадку

в надежде, что им выложат посадочные знаки, ориентируясь по которым они будут бомбить аэродромы. Нависшие уловки! Достаточно опытные в этом отношении наши авиационные командиры зажигали огни, но только на... ложных аэродромах. В результате фашисты частенько бомбили пустые, покрытые сугробами поля. Особое беспокойство фашистского командования вызывали глубоко прорвавшиеся сквозь вражескую оборону наши подвижные группировки. Боясь окружения, немцы большую часть своей авиации использовали для контратак по этим группировкам с воздуха. Причем для подобных действий привлекались не только бомбардировщики, но и истребители. Мы видим по целому ряду удачных операций наших войск, окружавших многие вражеские группировки (хотя бы 16-ю армию в районе Старой Руссы), что эта мера воздействия с воздуха не дала немцам желаемого результата.

Действия немецких летчиков на фронте и в ближнем тылу примечательны еще и тем, что они за вторую половину зимы дважды меняли свои тактические приемы. Первым из них было стремление действовать на широком фронте мелкими группами. Этим немцы хотели отвлечь наших истребителей, распылить их силы и обеспечить сравнительно беспрепятственное продвижение к тем или другим военным объектам. Понеся большие потери и увидев, что сквозь завесу прикрывавших поле боя воздушных патрулей одиночкам пройти трудно, фашисты в конце зимы прибегли к другому способу. На авиационном языке он называется «принципом силы». Их тактика в последнее время сводится к тому, чтобы проложив себе дорогу к намеченным объектам бомбардировки большими группами бомбардировщиков, эскортируемых истребителями. Такие группы в своем составе имеют до 25—30 самолетов. Однако наши летчики прекрасно справ-

ляются с задачей охраны с воздуха поля боя и неизменно бьют фашистов. Ярким примером здесь может послужить известный бой семерки истребителей капитана Еремина с 25 немецкими самолетами. Наш воздушный патруль в этой схватке уничтожил семь немецких самолетов, не понеся со своей стороны никаких потерь. Подобные бои велись на многих участках фронта — Северном, Ленинградском, Калининском, Западном, на Юге и в Крыму.

Сильно озаботили фашистов и непрекращающиеся удары наших ночных бомбардировщиков по их аэродромам и опорным пунктам обороны. Для противодействия им они приняли ряд мер, вплоть до вызовов из системы ПВО Берлина специальных отрядов ночных истребителей. Эти «ассы» встречались несколько раз нашим летчикам на Западном фронте, но, как и следовало ожидать, их боевая работа, лишенная взаимодействия с зенитчиками и проекторными подразделениями, на фронте успеха не имела.

Для действий фашистской авиации зимой характерно также довольно широкое применение транспортных самолетов. Это вполне естественно. С помощью этих машин немцы пытались снабдить продовольствием, боеприпасами и людским пополнением свои окруженные гарнизоны. Значительная часть их истребителей также привлечена к этой транспортной работе — «Мессершмиттам» приходится сопровождать тихоходные транспортные «Ю-52», так как подразделения последних несут огромные потери от огня наших истребителей, зенитчиков и даже отдельных стрелков и пулеметчиков.

К концу зимы фашистское командование попыталось еще раз показать «мощь» своего воздушного флота, предпринимая несколько налетов на Москву. В этих налетах они применяли ту же тактику. Одиночные самолеты, прорвавшиеся к городу, беспорядочно сбросили



несколько бомб, не причинив серьезного ущерба.

Итак, наступление Красной Армии и русская зима окончательно вырвали из рук фашистской авиации инициативу в воздухе. Попытки вернуть ее в последние месяцы зимы не увенчались успехом. Превосходство в воздухе все более надежно стало закрепляться за советской авиацией.



Таковы вкратце основные этапы воздушной войны между советской и фашистской авиацией. Воздушным флотам фашистов нанесены тяжелые потери. За прошедшее время они потеряли многие тысячи самолетов, у них выбито около 40 000 человек из состава летных экипажей.

Это достигнуто ценой большого напряжения наших военно-воздушных сил, отважной и самоотверженной борьбой с немцами всего коллектива советских летчиков от рядового пилота до генерала авиации. Борьба с гитлеровской военно-воздушной машиной — это славная страница в истории отечественной войны. Мы имеем известные потери, авиационное превосходство завоевано упорными кровопролитными воздушными боями. Но в этих боях бывало высокое летное мастерство и тактическая выучка нашего летного состава. Опыт этих боев помог нам создать новые прекрасные отечественные самолеты, усилить их вооружение. Добытый в боях успех получен в результате большой и настойчивой работы с нашими летными кадрами, боевая выучка которых растет и закрепляется с каждым днем. Кадры нашей авиации возмужали и окрепли в боях. Кадры немецкого воздушного флота, напротив, оскудели.

Сейчас части гитлеровской авиации укомплектованы скороспелыми летчика-

ми и штурманами. Достаточно опытных кадров осталось мало. По своему составу гитлеровскую авиацию можно назвать авиацией ефрейторов и фельдфебелей, ибо она почти вся состоит из пилотов и наблюдателей, носящих эти первые военные звания. Несомненно, что подобный служебный стаж не может не определять летной и тактической выучки кадров немецкого воздушного флота.

Однако было бы ошибочным считать, что немецкая авиация полностью истощена. Она представляет собой еще довольно мощную силу, борьба с которой потребует большого напряжения и немалых жертв. Самолетный парк Германии за зиму, несомненно, пополнился. Германская авиационная промышленность готовит новые типы самолетов — «Юнкерсы», «Хейнкель» и «Мессершмитты». Летные школы выпускают сотни летчиков. Но воздушный боец не пехотинец. Если весеннюю резерву можно составлять из стариков или безусых мальчиков, то с такими эсэ-летчиками много не повоюешь.

Фактор внезапности фашистам уже утерян. Коварные присмы вражеских летчиков нам известны. Советские боевые машины по своим боевым и техническим качествам далеко превосходят фашистские самолеты. Наш летный состав обладает высокой боевой и летной выучкой, он проявляет невиданную отвагу, мужество и смелость в воздушных схватках. Его не пугает численное превосходство, которое фашисты пытаются создать на том или ином участке фронта. Советские истребители смело вступают в бой и неизменно побеждают. Все это является залогом того, что мы и впредь будем крепко удерживать инициативу в своих руках и безусловно победим в грядущих воздушных сражениях.

ЮРИЙ ВЕБЕР

## СЛАВА РУССКОЙ ГВАРДИИ

Кто не хвалит гвардию? И как не хвалить ее по справедливости?

А. Ермалов, «Записки»

В зимних сумерках 1941 года родилось у нас заново огненное слово «гвардия». Сквозь дымку морозного тумана, среди сугробов, по которым пляшет русская метелица, встают во весь огромный рост победители великой битвы за Москву — отборные пехотные дивизии Красной Армии, выкованные в напряженных сражениях; лихие кавалеристы в мохнатых бурках с красными и синими бахлыками за спиной; танковые бригады, сплоченные в гигантский бронированный таран; артиллерийские батареи, взметающие смерч огня и стали; летчики, поливающие врага смертоносным дождем... Это наши гвардейцы. Лучшие сыны своей родины, искуснейшие мастера военного дела, сильные, смелые, не ведающие страха.

Воображение переносит нас и в более отдаленные времена, когда в дыму исторических битв мелькали разноцветные мундиры русских гвардейских полков, когда ходили в бой под грохот барабанов и громкие сигналы труб. И в ту эпоху гвардия означала цвет армии, ее образцовую часть, окруженную ореолом мужества, гордости и военной славы. Гвардеец — значит самый сильный, самый храбрый, самый дисциплинированный и выносливый воин. Он — носитель лучших боевых традиций своего народа. А нити этих традиций протягиваются в далекое прошлое, в те глубокие века, когда только создавалась русская военная сила и не было еще известно само слово «гвардия».

## ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Уже первые великие князья Киевской Руси создали у себя постоянное и отборное войско — дружину. Это не была обычная рать или вой, набираемые из городского и сельского населения на случай только одного похода. Дружинники были настоящие воины. Ратное искусство являлось делом его жизни. Он был свободный человек и шел к князю по собственному выбору, заключая с ним договор на свою службу. Ловкость и сила, меч и доспехи были сначала единственными достоинствами таких людей. Это была сплоченная военная семья, пропитанная высоким боевым духом и хранящая в своих рядах прекрасные воинские традиции. Готовясь к битвам, они выходили в открытое поле и там

упражнялись в своем искусстве. Учились владеть оружием, припрываться от ударов щитами, устраивали военные игры.

Но лучшей школой для княжеской дружины были непрестанные и ожесточенные битвы с врагами земли русской. Русские дружины не раз на протяжении столетий спускались по великому днепровскому пути, чтобы подойти затем к столице Византии и потрясти ее жителей боевым кличем, который был «грозен, как шум моря». Они принесли Олегу в 907 году громкую победу над греками и в знак ее повесили княжеский щит над воротами Царьграда. Они плавали с Игорем в ладьях и ушкуях в страны Каспийского и Средиземного морей. Они достигали со Святославом самых подножий Кавказа, переходили через Балканский хребет и воевали в классических местах античной истории — Фракии и Македонии. Они пропикали в Армению — страну древней культуры, много раз били немецких рыцарей Ливонии, держали в страхе венгров и великое царство Болгарское, совершали зимние походы в леса Финляндии. Русские дружинники побывали даже в немецких областях Силезии, куда их привел Владимир Мономах, этот полководец, совершивший в своей жизни 83 похода и лишь один раз познавший горечь поражения. Не раз приходилось русской дружине отбивать набеги печенегов и половцев, которые внезапно возникали из знойного марева южных степей и столь же быстро исчезали после грабежа и насилиев.

Сила и воинское искусство дружинников были столь велики, что они, не задумываясь, шли против многочисленного врага и побеждали либо находили гибель себе в честном бою. Так, в 968 году, прослышав о том, что вся киевская дружина ушла в дальний поход против болгар, тучи печенегов подступили к стенам Киева, где оставались только женщины и дети, а на противоположном берегу Днепра лишь небольшая сторожевая застава дружинников с воеводой Претичем. Но не дрогнуло сердце Претича. Горстка его дружинников садится в лодки и на виду всего неприятельского скопища, громко трубя в боевые роги, плывет прямо к Киеву. В ужасе отступают перед такой дерзостью толпы печенегов, принимая этих смельчаков за передовой отряд всей рати киевского князя. Сохранилось сказание, что в 970 году 10 тысяч русских дружинников разбили наголову 100 тысяч греческих войск, доказав этим подвигом, что не множество, а искусство и храбрость побеждают. Принялось русской дружине встретиться и с чужеземной гвардией. Это был знаменитый «легион бессмертных» византийского императора Цимисхия, напавший внезапно на город Переяславец. Втрое был сильнее по своему числу враг, но не мог одолеть дружину в открытом бою и заставить ее положить оружие. Отбив первое нападение «бессмертных», остатки русской дружины отошли в городской дворец и мужественно отражали натиск многочисленного неприятеля. Тогда Цимисхий велел поджечь дворец. Даже охваченные пламенем дружинники не изменили своим традициям: они все погибли в огне, но не сдались. А в начале XII века, когда финская знать организовала первые два крупных нападения на русские земли, финнов оба раза жестоко били небольшие дружины Ладоги и Новгорода, так что не ушел ни один человек, — исторический счет неизменных поражений финнов от русского оружия был открыт.

Старая Русь знала немало полководцев, достойных своей дружины. Таков Игорь — герой первого русского поэтического памятника «Слово о полку Игореве». Таков Олег, прозванный «вещим» и воспетый величайшим русским поэтом. Таков Святослав, храбрый и талантливый вожь, который «суровой

жизнью утρεнил себя для трудов воинских, презирал хлад и ненастье северного климата, не знал нутра и спал под сводом неба». Ему принадлежит незабываемая фраза: «Мертвые сраму не имут!» С этими словами пошел он в челе своей дружины на решительный бой с многочисленным врагом, и дружинники отвечали ему: «Наши готовы лягут вместе с твоей!»

Дружинники любили свое оружие, приносящее им победу. Они украшали рукояти своих булатных мечей, носили доспехи из дорогой кольчуги и железные шеломы с острым верхом. Они высоко цтили свои боевые стяги, на которых в языческие времена разрисовывали изображения зверей, чудовищ, истуканов. В дни войны знамени считались выше идолов, им отдавались божеские почести. В дружине царствовал культ храбрости. Худшим оскорблением было слово «трус». Дружинники не сдавались в плен, а закалывались мечами, если у них нехватало более сил драться. Этот обычай был освящен даже религиозным воззрением: считалось, что после смерти пленный будет вечным рабом своего врага. Страх рабства был сильнее страха смерти.

Военная слава русских дружин гремела на всем пространстве к востоку от Эльбы. Их знали и боялись все соседи. Об их подвигах рассказывали и писали греки, арабы, армяне и все европейские народы. Недаром слово «Русь» означало сперва княжескую дружину. Князья соперничали друг с другом, чтобы привлечь в свою дружину храбрейших витязей. С ними князь ходил на войну, на охоту, с ними лировал и с ними думал об управлении землей. Но дружинники не были простым телохранителем князя. Он часто менял одну волость на другую, переходил от одного князя к другому. Он сознавал себя слугой не отдельного лица или семьи, а всей земли русской, «передним мужем» своей страны.

Почти в течение трех столетий длился этот блестящий период расцвета русской военной силы, пока не разменяла ее на мелкие дела междоусобица удельных князей, когда много крови лилось, но не чужой, а своей, русской. Открылись благодаря взаимной вражде ворота для татарского нашествия, и в XIII веке огромную часть Руси наводнила «кровавая грязь монгольского ига». Но дух славных предков не умер в народе. Он лишь ушел на время в более глубокие тайники, ожидая удобного случая, чтобы проявить себя вновь с яркой силой. И каждый раз, как находился способный вождь, который умел ставить общие интересы отечества выше своего огороженного участка, так русская дружина выписывала еще одну достойную страницу в летопись своей родины. В самое тяжелое время татарского ига дружина Александра Невского разбила в 1240 году на берегах Невы во много раз превосходившее ее по численности шведское войско. Спустя два года та же дружина сокрушила на льду Чудского озера «великую свинью» немецких псов-рыцарей, зажав ее в русские клещи. В январе 1268 года русская дружина разбивает лучшую часть войска ливонских рыцарей, их гвардию, «железный немецкий полк», папавший на русский пограничный город тотчас после заверений магистра ордена в миролюбивых намерениях. Так русские дружины многократно громил мечепосцев Ливонского ордена, который нарушал мирные договоры ровно столько раз, сколько заключал их.



Сила татарского войска была в его коннице. Трудно было бороться пешему с прекрасными паздниками, палетавшими, как вихрь, со всех сторон. Это

орудие своего порабощения русские сумели превратить в могучее средство освобождения от чужеземной тирании. В XIV столетии конь становится на Руси неизменным спутником и другом каждого порядочного воина. Если бы мы взглянули на русскую рать на поле брани IX—XI веков, мы бы увидели море голов, среди которых одинокими утесами возвышаются фигуры всадников. Совсем иная картина представилась бы нам уже в XIV столетии — конные массы, как могучий бор, застилающие горизонт, являлись ее основным фоном. И твердью того времени составляют конные полки, лучшие по своему составу и вооружению. Их называли тогда «кованой ратью».

Именно эта «кованая рать» решила участь Куликовской битвы в 1380 году, когда русское войско под водительством Димитрия Донского нанесло сокрушительный удар монгольским завоевателям. Накануне битвы отряд «кованой рати» проникает под самую татарскую сторожу и ухитряется захватить в плен татарина из свиты самого Мамаю. Показания этого пленного помогли Димитрию Донскому уяснить обстановку и принять правильное решение — перейти за Дон и атаковать орду. А в день самой исторической битвы, начавшейся словами Димитрия: «Лучше честная смерть, чем позорная жизнь», дружинники «кованой рати» образовали засадный полк, спрятанный в зеленой дубраве. И в самый решительный момент боя словно ураган вырвался из засады этот отборный конный полк, стремительно ударил в тыл врагу, смял и сокрушил его, а затем гнал на протяжении сорока верст, устилая свой путь преследования тысячами неприятельских трупов. Враг, 150 лет угнетавший русскую землю, был разгромлен. Призрак былой непобедимости татаро-монгольских орд исчез навсегда.

Отборную конную дружину мы видим и в рядах войска Ивана Грозного. Она всюду сопровождала государя и шла на войну, когда он сам участвовал в походе. Потому и название этой дружине было дано «царский полк». В него назначались воины, отличившиеся храбростью в битвах, ловкостью и красивой наружностью. Иван Грозный берет свой полк, располагал его обычно в главном резерве «для помощи во все стороны» и пускал в бой лишь в решительную минуту. Так было под Казанью 2 октября 1552 года. Русские войска бросились на штурм крепости и ценой огромных усилий ворвались в город, отгнав татарские полчища Едигера. Но в самый напряженный момент силы русских ослабели, они начали отступать, а часть уже побежала с криками: «Секут! Секут!» Тогда царь Иван велел половине своего конного полка спешиться и идти на подмогу. Десять тысяч отборных воинов, с прекрасным оружием и в дорожных доспехах, направились беглым шагом по заливному лугу в гору, к крепости. Появление этих свежих войск, облитых на солнце сиянием блестящего металла, воодушевило русских и внесло смятение в ряды татар. Царский полк быстро докончил разгром врага, взяв в плен самого Едигера и его ближайших военачальников. Город, поставленный на высоком берегу Волги еще Батыем, стал отныне русским.

И в более поздние времена в составе русских войск существуют особые отборные части. Царский полк, государев полк, рынды — таковы и названия. Они набираются из московских дворян, наиболее знатных и приближенных ко двору. Наконец появляются стрельцы — представители эпохи огнестрельного оружия и зарождения идеи постоянного войска. Среди них также выделяются лучшие стрельцы — стремянные, несущие охрану царя и пра

вительства. А царевна Софья создает из московских стрельцов палворную, то есть приворную, пехоту, подвоягая их тщательному отбору.

Но напрасно мы стали бы искать в военных действиях этих избранных частей той вершины опытности и боевого духа, какими славились их предки — первые русские дружинники. Пет уже былой школы непрестанных битв с внешними врагами, тогда кровь не успевала высыхать на мечах и щитах русские дружинники почти жили на полях сражений. Слава эта потускнела в медлительном быте царских палат с характерными для них фигурами рынд, в уюте родовых вотчин и поместий, куда так охотно разбегалось дворянское ополчение после войны и где ржавело в дальнем углу притупившееся оружие. Конечно, не способствовали развитию военного искусства торговля и различные промыслы, которым с таким рвением предавались стрельцы в мирное время.

Русские вооруженные силы пуждались в коренном преобразовании. Надо было принять им совершенно иное устройство, отвечающее усложнившимся условиям войны и новой тактике, немыслимой без строгой выучки и постоянных упражнений. Пужна была какая-то твердая рука, которая, подобно искусному ваятелю, могла бы высечь из трапята народного материала образ великого воина. И такая рука появилась, такой ваятель пришел. Это был Петр I, создавший не только регулярную армию, но и настоящую боевую гвардию на удивление всему миру.

### «ЧАДА МОИ ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ!»

Гвардия Петра I создавалась из «потешных», с которыми он в юности занимался военными играми в рощах села Преображенского. На зов Петра записываться к нему в «потешную» службу 30 января 1683 года явился статный, широкоплечий копейщик Сергей Буховцов. Он стал первым солдатом русской армии и первым гвардейцем. В честь его Петр приказал выдать буюст из бронзы.

С первых же шагов Петр придал своим «потешным» правильную организацию. Он одел их в единообразную форму — зеленые кафтаны, дал им в руки современное оружие, повел строгое систематическое обучение. На реке Нюзо выросла «потешная» крепость, построенная по всем правилам тогдашней фортификации. Здесь петровские солдаты приучались вести осаду и ходить на штурм. Была создана артиллерия и специальная бомбардирская рота. Велись упражнения по метанию ручных гранат и конному строю. На больших двусторонних маневрах войска призывали действовать крупными массами — в наступлении и обороне. На маневрах под селом Коломенским было сосредоточено 55 тысяч человек всех трех родов оружия — пехоты, конницы и артиллерии. Это была настоящая военная школа, поставленная на уровень передового опыта России и зарубежных стран. И среди всех выделялись два полка, которые Петр называл «мои полки» или «лейб-регименты». Это были Преображенский и Семеновский полки — старейшие в русской гвардии. Саксонский генерал Ланген, посетивший в то время Россию, так писал о первых русских гвардейцах: «Люди рослые и молодые, не старше 40 лет, хорошо обученные и обмундированные и к стрельбе так искусны, что не уступят лучшим немецким солдатам».

Пришло время перейти от потех к делу. И первое же огневое крещение показало, что петровские птенцы заслуживают право носить почетное звание гвардии и являются продолжателями всех лучших боевых традиций русского народа и своих предшественников.

В пасмурное холодное утро 19 ноября 1700 года молодые гвардейские полки встретились под крепостью Нарва с лучшей тогда в Европе армией шведского короля Карла XII, умудренной многими походами и гордой своими громкими победами. Неопытная еще армия Петра должна была уступить вопиющему неумению сильнейшего противника и поспешно покидала поле боя, устремившись всей массой к единственному пути отступления — к мосту через реку Нарову. От сильного напора мост обрушился, и, казалось, неминуемое истребление ждало русских. Но тут на смену выступили Преображенский и Семеновский полки. Они не дрогнули в эту грозную минуту и явились спасителями русской армии. Гвардейцы заняли место у переправы, окружили себя повозками, устроив ватенбург; гвардейские пушкари переставили сюда же шесть орудий, и эта тонкая преграда стала на пути шведов, как твердая скала. Напрасно шведы бросались на нее густыми толпами. Гвардейцы стояли непоколебимо. Им нужно было продержаться, пока русская армия, починив мост, не успеет перейти на другой берег. Сам Карл XII, окруженный своими знаменитыми драбантами, прыскал к месту этой ужасной схватки. Шведы кинулись с удвоенной энергией. Но горсть русских гвардейцев с отчаянной решимостью отбивала атаки. «Каковы мужики!» — воскликнул Карл с невольным восхищением. Так стояли преображенцы и семеновцы, не отступив ни на шаг, и все русское войско перебралось на противоположный берег. Остатки гвардейцев ушли последними. С распущенными знаменами и барабанным боем проходили они по мосту на виду многочисленного неприятеля, который, оказывая храбрецам достойную честь, пропустил их свободно.

За этот подвиг гвардейцы получили первое в России отличие — патронный серебряный знак с знаменательной датой. И все гвардейские чины стали носить вместо зеленых чулок красные, в память того, что бывшие «потешные» сражались тут с окровавленными до колен ногами.

Спустя четыре года «мужики» вновь появились перед стенами Нарвы. Они стали примерно на те же места, те же шведы были впереди, и даже тот же комендант крепости. Многие из гвардейцев были защитниками незабвенного ватенбурга. Но многое изменилось. «Мужики» были теперь уже не новички, изучавшиеся в шведском уроке, а воины, уверенные в себе и требующие возмездия за павших товарищей.

9 августа в два часа пополудни, по сигнальным выстрелам пяти мортир, начался главный штурм Нарвы. Впереди атакующих колонн шли гренадеры с ручными бомбами. Первыми вошли на главный бастион крепости гренадеры Преображенского полка в кожаных шалках с белыми и красными страусовыми перьями. Они первыми вошли и в самый город.

Поставив сразу же значение гвардейцев так высоко, преображенцы и семеновы никогда уже не роняли свою честь и впоследствии. Под селом Добрым в непосредственной близости неприятеля оба гвардейских полка переправляются бесшумно сначала через одну речку, потом через другую, преодолевают топкое болото и, не смущаясь ночной темнотой, устремляются на пятитысячный шведский отряд. После двухчасового упорного боя гвардейцы обрывают противника в бегство, которое не мог приостановить даже Карл XII. «Как я

начал служить, такого отчая и порядочного действия от наших солдат не слышал и не видал. И такого еще в сей войне король шведский ни от кого сам не видал», — отзывался Петр о своих гвардейцах. Но через месяц еще более славное дело: после двухнедельного форсированного марша, когда гвардейская пехота, посаженная на лошадей, превратилась вдруг в кавалерию, преображенцы и семеновцы наступают шведский корпус Левенгаупта у деревни Лесной и прямо с хода вступают с ним в ожесточенную борьбу. Полуторное превосходство не спасает врага. Гвардейцы трижды атакуют его. Шведский корпус разбит, и весь огромный обоз с богатыми запасами для армии Карла XII попадает к русским. «Достоиную достойное», — написано на медальях, пожалованных гвардейцам за эту битву, которую Петр называл «матерью Полтавской баталии».

И вот, наконец, сама знаменитая битва при Полтаве, в которой русские войска наголову разбили лучшую армию Европы. Накануне сражения Петр объезжал полки. Он остановил лошадь перед гвардией, снял шляпу и громко произнес: «Порадите, товарищи! Перковь и отечество ждут вашего подвига!» И на следующий день гвардия доказала, что нет такого подвига, который был бы для нее невозможен, когда речь идет о судьбе родины.

Историческая битва началась жестокой кавалерийской сечью. Одна атака следовала за другой. Сталь острых клинков разогревалась от частых ударов и горячей крови, текущей по желобкам. Сами лошади в неистовой ярости обдавали врагов брызгами белой пены. И каждый раз шведские всадники неслись расстроченной массой назад, за прикрытие своей пехоты. Лютой храбростью и неутомимостью удивлял всех «лейб-шквадрон» Меньшикова — отборный эскадрон высоченных красавцев, ставший родоначальником русской конной гвардии. Спине знамя, отнятое у шведов, было наградою конногвардейцам.

Между тем армия Петра вышла из укрепленного лагеря и построилась в боевую линию. В самом центре ее зеленым массивом выделялась гвардейская пехота, над которой белыми и голубыми крыльями подвигались батальонные знамена. В 9 часов утра под грохот орудий бомбартирских рот и звонкий голос трубы гвардейского горниста русские полки двинулись вперед. Навстречу им поплыли шведы.

И с ними царские дружины  
Соплились в дыму среди равнины,  
И грянул бой, Полтавский бой!

Шведский король направляет свои лучшие части на левое крыло русских войск. После ожесточенной борьбы ему удается прорвать расположение Новгородского полка. В русской боевой линии образуется брешь, куда с отчаянной решимостью кидается враг, чтобы разрезать надвое армию Петра. Где же находит Петр то верное средство, чтобы нанести ответный удар? В своей гвардии. Он берет батальон преображенцев и с ними бросается в брешь, навстречу прорывавшемуся неприятельскому потоку. Порыв этот увлекает за собой и подавшиеся было части. Шведы смяты и быстро отступают. Это служит как бы сигналом для русских ко всеобщему наступлению. Они бросаются по всему фронту в атаку, и спустя два часа шведская армия бежит, оставляя своего раненого короля у разбитых носилок.

Но роль гвардейской пехоты еще не окончена. Она садится на коней и вместе с драгунами Меньшикова, во главе с «лейб-шквადроном», весь вечер,



прошедших все ступени петровской школы наряду с преображенцами и сеченовцами. Здесь сражались их кровные братья — кекегольцы, участвовавшие еще в Полтавском бою и получившие свое название за блестящее взятие финской крепости Кекегольм. Здесь сражались кирасиры — образцовые представители русской тяжелой кавалерии. Но главная роль и наибольшая доля успеха выпала в ту войну на русских лейб-гренадер, составивших впоследствии знаменитый лейб-гвардии Гренадерский полк. Им поручаются наиболее ответственные задачи, они находятся в самых опасных местах и чаще всего располагаются на флангах боевого порядка армии. А фланги были как раз самой излюбленной точкой удара Фридриховской «косой атаки». Этот прием, заимствованный у греческого полководца Эпаминонда, позволял Фридриху концентрировать против одного из крыльев неприятеля превосходные силы и обрушивать сюда всю мощь генерального нападения.

Первое же крупное сражение показало Фридриху, что в лице русских лейб-гренадер он имеет совсем иного противника, чем приходилось встречать ему до той поры. Это было 19 августа 1757 года у восточно-прусского городка Гросс-Егерсдорф. Бой начался внезапным налетом прусской кавалерии, когда русские находились в походных колоннах и обозы, мешавшие движению, сгрудились на тесной лесной дороге. Пока наводился порядок в отчаянной путанице повозок, людей и животных, гренадеры выбежали навстречу кавалерийской лавине, построились в три боевые шеренги и заслонили собой остальное войско. Кавалерия составляла гордость армии Фридриха. Сколько раз ее атаки плотной массой, на полном галопе, приносили победы прусскому королю! Казалось, ничто не может устоять против живой силы ее удара. Но на этот раз ее встретил такой ожесточенный и дружный огонь — сначала картечи, потом ружейных залпов, и, наконец, ручных гранат, что прусские драгуны смешались и понеслись расстроенной массой обратно. И все их последующие попытки оканчивались такой же неудачей. Вслед за тем русские гренадеры сами двинулись вперед и дважды сбивали прусскую пехоту, пытавшуюся преградить им дорогу. Четыре часа длилась эта героическая борьба лейб-гренадер с превосходящим противником. Она дала тот выигрыш времени, который позволил всей русской армии построиться в боевой порядок и принять сражение уже на равных условиях. И, несмотря на крайнее утомление, лейб-гренадеры опять занимают здесь передовую позицию на правом фланге и опять выдерживают первые яростные удары неприятеля, а затем быстро переходят в наступление, увлекая за собой и другие части. Сражение при Гросс-Егерсдорфе оказалось для Фридриха не выигрышным — неприятная новость в его боевой практике. Но пока это было только предвестием еще более мрачных неудач.

В январе 1758 года русские отборные полки вместе с лейб-гренадерами совершают труднейший зимний поход в Восточную Пруссию. Несмотря на сильные морозы и отсутствие устроенных ночевок, они проходят по двадцать километров в сутки, сохраняя при этом образцовый порядок. И 10 января, седые от морозного инея, они вступают под звон колоколов, музыку на стрельчатых балках и радостные крики всего населения в столицу Восточной Пруссии — город Кенигсберг. Во главе маршируют лейб-гренадеры — усатые великаны в голубых спанцах и черных кожаных шапках с медными эмблемами их оружия — ручной гранатой. Через несколько дней гренадеры состав-

ляют почетный караул при торжественном принятии русского подданства жителями Кенигсберга, среди которых один из первых приносит новую присягу Имануил Кант, бывший тогда доцентом тамошнего университета.

А в августовский дождливый день лейб-гренадеры снова отличаются при нападении русских на крепость Кюстрин. Они быстро совершают длинный обход, продираясь сквозь кустарники и болотистые поля, и внезапно появляются у главного предместья крепости (форштадта). Гренадеры смело бросаются в атаку, захватывают батарею, идут дальше, выбивая прусскую пехоту из кладбищенских каменных оград, и, наконец, врываются в самое предместье. Здесь они стоят весь остаток дня и всю следующую ночь, несмотря на то, что весь форштадт беспрерывно забрасывается грабатами. Необычайная стойкость гренадер позволила русским артиллеристам установить на удобной позиции пушки и единороги, а затем открыть такую грозную стрельбу калеными ядрами, что в скором времени весь город был объят гигантскими языками пламени, пожравшими все богатые хлебные запасы, на которые прусская армия возлагала столь большие надежды.

Иностранные офицеры, бывшие свидетелями блестящих действий лейб-гренадер, отзывались о них с восхищением: «В истории таких примеров не найдется, чтобы днем, пришед к такому сильному городу, прямо, без заступа, под городские пушки идти, неприятеля прогнать, бомбардировать и форштадтом овладеть».

Осада Кюстрина явилась как бы прелюдией к решительному сражению в кампании 1758 года. Оно разыгралось около деревни Цорндорф. Фридрих начал свою «косую атаку» в 9 часов утра 14 августа на правое крыло русских. 60 орудий направляют сюда с высокого холма сосредоточенный огонь, поднимая такой грохот, «какого никогда никакой человек не запомнит», как писали очевидцы. Огонь прусских пушек должен был смести весь правый фланг русской позиции. Так могло бы и случиться, если бы как раз на том самом месте не находились два полка русской гвардии — Кексгольмский и Гренадерский. В течение почти двух часов выдерживали они этот жесточайший обстрел «с неустранимой и неопикуемой твердостью». А потом, смыкая поредевшие колонны, бросаются в штыки на приблизившийся прусский авангард и обращают его в бегство. На помощь своему авангарду Фридрих посылает еще двадцать батальонов отборной пехоты. Но порыв гренадер и кексгольмцев неукротим. Они врываются в толпу прусской пехоты, рассеивают ее и гонят назад. Гренадеры достигают прусских батарей и, полные мщения за павших товарищей, уничтожают всю прислугу, захватив 26 орудий. «Что до российских гренадер касается, можно сказать, что против них никто устоять не может. Король видел сие происшествие, как наши полки сипу гренадерам показывали», — рассказывает прусский офицер об этом бое.

Именно эту минуту, когда гренадеры и кексгольмцы, увлеченные преследованием, разбиваются на отдельные кучки, — именно эту минуту выбирает командующий прусской кавалерией, надеясь лихой атакой эффектно закончить сражение в свою пользу. 46 лучших эскадронов Фридриха обрушиваются конными таранами на фланг и тыл атакующей русской пехоты. Гренадерам и кексгольмцам пришлось выдержать высшую пробу своей нравственной силы. Уже не было времени принять самый выгодный порядок для отражения конной атаки — построиться в каре. Разрозненные ряды кексгольмцев и гренадер сплотились в отдельные небольшие группы, оцепленные штыковым ежом.

Русские бойцы, заслужившие честь быть гвардейцами, доказали, как свято и нерушимо соблюдают они вековые традиции своих предшественников — лучше умереть, чем сдаться. Гренадерский полк потерял более половины своих командиров и солдат, но никто из оставшихся в живых не дрогнул и не уступил врагу. В конце концов прусская конница остановилась в бессилии и отступила, полная изумления перед этими бойцами, которые «даже ранеными, улав на землю, продолжали стрелять и умирали, целую дулю выстрелки».

Потерпев неудачу на правом крыле русских, Фридрих приковывает свое внимание к противоположному краю сражения. Сюда он выдвигает артиллерию и бросает крупные силы конницы и пехоты, желая взять реванш. Но русские опережают врага и первыми переходят в наступление. Оно открывается блестящей атакой лейб-кирасир против прусской пехоты. Кирасиры заставляют лошадей идти прямо под огонь артиллерии, на всем карьере проносятся сквозь эту смертоносную зону и сразу опрокидывают всю первую линию прусских стрелков, изрубив при этом почти целиком два полка. Потом, не переводя дыхания, налетают на вторую линию прусской пехоты, рассеивают ее и берут в плен королевского адъютанта. Кирасирская атака служит сигналом к общему наступлению всего левого русского крыла. Но прежде чем русская пехота облизилась с противником, кирасиры еще раз бросаются вперед, сбивают несколько вражеских батальонов, а вахмистр Илья Семенов выхватывает прусское знамя и скачет с ним по полю на виду всех войск. Потеря знамени окончательно лишает пруссаков мужества, и пашмные солдаты Фридриха II обращаются в толпу беглецов, оценивших свою барабанную шкуру дороже эфемерного призрака военной славы. Лишь новое появление больших масс прусской кавалерии спасает их от полного разгрома.

На следующий год русские дерутся уже в главной прусской провинции — Бранденбурге. И тут отборные полки высоко держат честь своего имени. В сражении при Пальците гренадеры опять стоят на правом фланге боевого порядка, куда направлено острое жало фридриховской «косой атаки». Построившись углом, они скрепляют все русское крыло своим безграничным мужеством и стойкостью. Дважды подступает к ним прусская пехота и дважды откатывается назад, не пробуя даже вступить в рукопашную, — так грозен боевой угол гренадер, дерущихся сразу на две стороны. Наконец, в третий раз бросает Фридрих огромные массы пехоты и конницы. Гренадеры выдерживают и этот натиск, но соседние полки поддаются, и неприятельская кавалерия прорывается сквозь их ряды в глубь русского расположения. Этот опасный момент не укрылся от русского главнокомандующего Салтыкова, способного и решительного генерала. Он посылает к месту прорыва два лучших конных полка. На головокружительном аллюре выносятся вперед всадники в железных вороненых латах. Даже не вынимая пистолетов, они падают на всем скаку на прусских кавалеристов, сшибая их могучими телами своих лошадей и рассекая почти надвое страшными ударами тяжелого палаша. Нет больше непобедимой фридриховской конницы, а есть лишь беспорядочно мечущиеся всадники, пытающиеся уйти от преследования русских лейб-кирасир. Эта стремительная контратака окончательно вырывает победу из рук Фридриха и передает ее русскому оружию.

А за Пальцигом следовало еще большее потрясение прусского оружия, когда в немногие часы, благодаря героическим действиям русских гренадер, петербуржцев и кирасир, жребий войны низверг Фридриха II с вершины близкой

победы в бездну совершенного поражения. Стучилось это в знаменательный день крупнейшего сражения той войны, разыгрывающегося 1 августа 1759 года на холмах реки Одер около деревни Кушнередорф. В этот день Фридрих II поставил на карту военного счастья все, что он имел. Он сам вел в яростные атаки свои лучшие и проверенные части. Ему удалось добиться успеха. Колонны прусской пехоты уже взбирались на высоту Большой Шниц — важнейший пункт русской позиции. Захват этой высоты, господствовавшей над остальной местностью, сулил пруссакам выигрыш всего боя. Но пока фридриховские солдаты поднимались по одному скату Большого Шница, с противоположной стороны взбегали русские гренадеры, посланные сюда Салтыковым. Вслед за ними спешили батальоны Петербургского полка. Было видно, как зеленая волна гренадерских кафтанов с красными пятнами воротничков и нарукавников отворотов перескакивала через хребет Большого Шница и хлынула на серые массы прусских мушкетеров. Скоро потоки серой грязи побежали с холма вниз, все дальше и дальше, а очищенная земля все больше покрывалась веселой зеленью гренадерских кафтанов.

Ни громкие призывы, ни бешеные проклятия не помогли Фридриху остановить свою пехоту, бегущую в ужасе перед русским штыковым ударом. Тогда прусский полководец прибегает к последнему средству: он приказывает кавалерии атаковать наступающие линии гренадер и петербуржцев. В это дело он кидает даже несколько эскадронов своей личной конной гвардии. Но опять Салтыков предупреждает намерения противника. Дружный огонь русских батарей пролетает брешущей косой по рядам прусской конницы, вызывая в ней страшные оглушения. И вслед за тем лейб-кирасиры открывают встречную атаку. Конная гвардия Фридриха теряет свою боевую честь под ударами кирасирских палашей и казацких пик; ее штандарт падает, брошенный во время схватки, командир сдается в плен, а сами прусские конногвардейцы следуют в паническом бегстве за своей пехотой.

Мертвые тела, клепоты пушки, ружья, знамена — вот все, что осталось от прусской армии на кушнередорфском поле. Сам Фридрих скачет с малой свитой по белым лентам дорог в августовскую темную ночь. Он уже больше не «великий» и не полководец, так как, потрясенный разгромом, слагает с себя командование войсками.

Кушнередорфская победа открыла русским дорогу на Берлин. Дважды в 1760 году появляются они у стен прусской столицы. Первый посыл сюда совершает небольшой отряд, и всего 300 человек гренадер под начальством подполковника Прозоровского смелым налетом врываются в Галльские ворота Берлина, водрузив на городских укреплениях лушковое знамя своего полка. Всю ночь напрасно пытается прусский гарнизон выбить горстку гренадер из занятого предместья. Уставшие богатыри уходят только на следующий день, и не потому, что уступают силе противника, а лишь подчиняясь приказу командира отряда.

Спустя неделю, 28 сентября, бастионы Берлина вновь видят кожаные гренадерские шапки с медными изображениями ружейных гранат. На этот раз гренадеры не одни. Вместе с ними пришли сюда и другие полки, дравшиеся бок о бок, локоть к локтю во всех походах Семилетней войны. Здесь и Петербургский полк, и Кекегольмский, и кирасиры, охраняющие интервалы между пехотой. Все они стоят во главе штурмующих колонн, готовые по первому сигналу ринуться на твердыни прусского могущества. Могли ли пруссаки устоять перед

этой непреклонной волей лучших воинов России! Могли ли они сопротивляться силе, мужеству и военному искусству тех полков, дела которых составили одну из самых славных страниц в истории русской гвардии! И Берлин пал.

Солдаты Кексгольмского полка тут же сочинили песенку, которую задорно распевали, проходя по улицам берлинского предместья:

Под Цорндорфом Фридрих сам  
Съесть хотел — не по зубам.  
Куниерсдорфом подавился  
И Берлином расплатился!

И в то время как русские лейб-кирасиры скакали на запад, преследуя отступающего врага, на восток, в Петербург, мчались, загоня лошадей, офицер гренадерского полка Прозоровский, везя в своей гранатной сумке ключи от Берлина как символ славы русского оружия и его лучших носителей — гвардейцев.

Гренадерские подвиги в Семилетнюю войну были отмечены высокими наградами. Большая медаль с надписью «Победителю над пруссаками» украсила мундиры участников Куниерсдорфского сражения. Серебряные трубы были подарены полкам Кексгольмскому и Гренадерскому за взятие Берлина. Наконец само название grenadier было навсегда сохранено в русской гвардии для выделения самых сильных среди сильнейших, самых храбрых среди храбрейших. Уже давно отошло в область истории их специфическое оружие — ручная граната, а слава grenaderских рот русской гвардии продолжала греметь на весь мир.



После взятия Берлина Семилетняя война приближалась уже к трагической для Фридриха развязке, но в центре России вновь появляется внутренний враг всего русского, в том числе и гвардии. 25 декабря 1761 года российским императором становится «прусский поклонник» Петр III. Этот жалкий фигурант в личине бога, как его называет Лессинг, раболепствует перед прусским королем, носит его портрет в своем терстне и возвращает ему все завоеванные провинции, на которых лилось столько горячей крови русских солдат. Петр III на каждом шагу нарушает традиции и военные обряды гвардии. Он называет твердейцев янычарами, снимает с них петровские зеленые кафтаны и затягивает в узкие и смешные мундиры прусского покроя с пестрыми «бранденбургскими» петлицами. Он замысливает вообще расформировать гвардию и на замену ей вводит так называемую «голыштинскую гвардию», состоящую почти сплошь из одних немцев. Словом, то, что не удалось сделать Фридриху II в открытом бою, то предоставляется ему теперь возможным осуществить тайной работой при помощи столь высокого сообщника.

Все русское население чувствует себя оскорбленным и опять с надеждой взирает на гвардию, которая лишь одна способна отстоять честь своей родины. Ей нужно было совершить еще один «прусский поход», но не за рубесками страны, а внутри нее. И гвардия не оставляет эти чаяния напрасными. 28 июня 1762 года, как раз в тот день, когда Петр III отправился в Ораниенбаум на торжественное освящение лютеранской церкви, — в этот день гвардейские полки сбрасывают с себя ненавистное им немецкое засилье, арестовывают юродствующего императора и заставляют его отречься от престола.

То же случилось тридцать девять лет спустя и с Павлом I, опять пытавшимся нагнуть на Россию ярмо прусской системы. В ее палочной дисциплине, делавшей из солдат бездумных автоматов, хотел он видеть железный щит от веяний французской революции. Снова в противовес русской боевой гвардии создается особая плацпарадная гвардия — на этот раз «гатчинская». Снова в гвардейских казармах звучит немецкая речь и отдаются приказания на ломаном языке, который едва понимает русский солдат. Снова удобный военный кафтан сменяется прусской экипировкой, состоящей из нелепого переплетения подвязок, подтяжек, брючков, чулок, которое имело театральный вид на учебном плацу, но никуда не годилось в походе. Да и все военное обучение стало ограничиваться теперь почти балетной дрессировкой, математическим равнением при различных эволюциях, не имевших никакого боевого смысла. А гвардия упрямо смотрела на все эти прусские замашки и молчала до поры. Ее можно было одеть в любую форму, но вырвать из нее русское сердце нельзя было. Она помнила слова великого Суворова: «Русские прусских всегда били — что тут перенять?»

Воспитание русского солдата всегда было суровым, а порой даже жестоким. По прусские инструкторы, эти наемные бродяги, сумели довести наказание до изощренного садизма. Им мало было только показывать человека, надо было его еще унизить. Гвардейский офицер, служивший в те годы, так рассказывает об одном из видов телесного наказания, цинично прозванного пруссаками «взаимным обучением»: «Немцы умели разомкнуть шеренгу на дистанцию руки, поворотить во фланг и производить маршировку тихим шагом, с тем чтобы каждый задний солдат дашной ему палкой был переднего. Потом шеренга поворачивалась налево кругом, и каждый колотил того, кто перед тем колотил его».

И на это дело рук своих взирал с высоты российского престола безумный курносый карлик, пытавшийся командовать всей страной словно отрядом войск на эзерциплаце. Все в том же судорожном страхе перед призраком революции Павел I ищет себе духовной защиты среди мрачных ритуалов католического Мальтийского ордена. Себя он провозглашает просмейстером этого ордена, а его мальтийские кресты нашивает на мундiры и штандарты кавалергардов. Все поведение Павла глубоко оскорбляло русскую гвардию. И только с ее молчаливого согласия могло настать то утро 12 марта 1801 года, когда в императорской спальне нашли безобразно распухший труп сумасбродного прусского тирана.

А гвардия продолжала жить и возвеличивать русское оружие новыми незабвенными подвигами.

## СОЛНЦЕ АУСТЕРЛИЦА

На заре XIX столетия, в прохоте величайших социальных потрясений и военных бурь, русской гвардии предстоял поединок с самой грозной силой, какую ей приходилось когда-либо встречать. Это была армия Наполеона, покорившая почти всю Европу, со своей знаменитой старой гвардией, не знавшей поражений. Новый завоеватель, перед которым меркли даже такие фигуры, как Карл II и Фридрих II, стучался в двери России.

Первая встреча произошла 20 ноября 1805 года на гигантских ступенях плато, спускающихся от лесистых отрогов Богемо-Моравских гор к Аустерли-

цу. Французские историки пишут, что здесь возшло новое солнце военной славы Наполеона — «солнце Аустерлица!» Они правы, когда думают о бездарной диспозиции австрийского генерала Вейротера, заранее уже обреченного объединенные силы русских и австрийцев на проигрыш этого сражения. Но они забывают, что то же солнце Аустерлица осветило ярчайшим блеском такие подвиги русской гвардии, перед которыми даже Наполеон должен был снять свою треугольную шляпу.

Гвардия вышла здесь в переднюю боевую линию и находилась в сфере самого ожесточенного огня и самых яростных атак отборных наполеоновских частей. Но ни один гвардеец не дрогнул и не уронил своего звания. В самом же начале боя всего лишь один полк лейб-улан срывает первую атаку французов. Не ожидая подхода остальной конницы, уланы бросаются навстречу наступающему противнику; опрокидывают первую линию французской кавалерии, за ней две других; проносятся сквозь интервалы французских дивизий, построенных в каре; кидаются на вражеские батареи, стрелявшие по ним картечью почти в упор; рубят прислугу, часто соскочив с коня и сражаясь пешими. А потом, окруженные со всех сторон, прорывают вражеское плотное кольцо и враспыленную уходят к своим. После боя лейб-улань проходила вдоль фронта русской пехоты. Все батальоны в знак особой почести держали перед ними ружья «накараул».

Именно такую картину торжественного выезда кавалерийской части изобразил известный поэт-переводчик Гербель, сам бывший гвардейским лейб-уланом:

Выступают лейб-улань,  
Трубаки трубят;  
Вьются белые султаны,  
Флюгера шумят.

Впереди штандарт сияет  
Упренной звездой.  
Вотер бережно ипрает  
Тканью золотой.

Чтобы задержать продвижение русских гвардейцев к Прагнским высотам, Наполеон вынужден был послать сюда сначала один корпус, потом другой, потом подкрепление из гренадер, гвардейской кавалерии и артиллерии и, наконец, двинулся туда сам со своей гвардией и мамелюками. В самый полдень впервые на поле брани сошлись лицом к лицу две гвардии. Семеновцы и преображенцы оттесняют неприятельскую пехоту. Русские конногвардейцы и лейб-гусары атакуют французскую гвардейскую кавалерию, и она отходит в беспорядке, скрываясь за пехоту. Русская конногвардейская батарея подлетает на всем скаку к вражескому полку и рассеивает его пятью картежными выстрелами с такого близкого расстояния, что ясно видны были лица французских пехотинцев. В этот момент конногвардейцы опять бросаются в атаку и врубаются в два неприятельских батальона. Правофланговый карабинер Гаврилов соскакивает с лошади и выхватывает неприятельское знамя, но едва успевает передать его рядовому Омельченко, как сам падает, проколотый штыками в оба бока. В завязавшейся отчаянной схватке французский орел остается в

руках Омельченко. Тут прибывают новые подкрепления французов, и русский гвардейский отряд получает приказ об отступлении.

Но как совершается этот отход! Он воскрешает перед нами величественные картины древности, когда русские дружинники покидали поле боя со щитами за спиной, отступающие, но не разбитые. Отходили шаг за шагом, сомкнутыми рядами, с боем. Пехота, кавалерия и артиллерия помогали друг другу. Пехотные части отражали непрерывные наскоки огромных сил неприятеля, потом становились под прикрытие своей артиллерии, встречавшей колонны французов губительным огнем. А когда колеса орудий вязли в тонких местах, кавалерия бросалась вперед и рубилась до тех пор, пока артиллеристы не вывели из трудного положения. Все знали, что позади, на пути отступления, лежит глубокий Рауеншпикский овраг и ручей, покрытый тонким предательским ледком. Но ни одна часть не обгоняла другой и не спешила переправиться через опасное место.

У одного орудия лопнул отвоз, вывезти его уже нельзя было. Подпоручик Демидов сам решил защищать свою пушку. Он приказал прислуге уходить с остальными. Но два солдата — артиллерист и семеновец — заявили, что умрут вместе с ним. Демидов вынул шпагу, прислонился к лафету, два солдата стали по бокам его. Французские драгуны неслись лавой на трех смельчаков. Демидов приложил фитиль и пустил последнюю картечь. Вскоре пустая толпа драгун окружила орудие. Русские гвардейцы считали своих товарищей погибшими. Но Демидов остался жив, он был ранен и весь залитый кровью был представлен Наполеону.

— Государь, прикажите расстрелять меня, я потерял свою пушку, — сказал гвардейский артиллерист.

— Успокойтесь, вы достаточно ее защищали, молодой человек, — ответил французский полководец.

Героический поступок Демидова настолько порастил Наполеона, что он велел изобразить эту встречу на картине Аустерлицкого сражения и повесить ее в Тюильрийском дворце.

Так отступали русские гвардейцы. Короткое расстояние до ручья, всего в полторы версты, они шли около двух часов. Это был образец обороны, сопряженной с огромными потерями, но обороны совокупной и мужественной. Наступил самый опасный момент: гвардейцы подошли к оврагу. Французы надеялись раздавить их здесь, пользуясь своим огромным числом. Латники и мамелюки Наполеона выдвинулись уже для уничтожающего удара. И в эту роковую минуту произошло то, что навсегда сделало чужеземное слово «Аустерлиц» понятным и дорогим для каждого русского гвардейца.

Пять эскадронов кавалергардского полка, только что прибывшего к месту сражения, бросаются на выручку своих. Они на рысях подходят к оврагу, перемахивают через ручей и взлетают на противоположный крутой берег. Перед ними почти сплошная стена французских войск. Но это не может остановить кавалергардов. Трубы поют атаку, и одновременный всплеск сотен обнаженных палашей сверкающей молнией пронесется над полем боя. На полном карьере чистокровных скакунов устремляются кавалергарды навстречу артиллерийским залпам, на шпигу французских птышков, навстречу смерти в перразной кавалерийской сече. Они жертвуют собой для спасения гвардии — эти молодые красавцы в белоснежных колетах с золотым шитьем и в касках с гребнями конских волос.



Кавалергарды сражались ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы гвардейская пехота и артиллерия смогли переправиться в полном порядке и безопасности через овраг. Все это время полк один притягивал на себя главные силы наполеоновских войск. На каждого приходилось по десятку врагов. Три эскадрона бросаются на французскую пехоту и опрокидывают ее с первого же налета. Два других эскадрона врубаются в линию французской кавалерии, разрывают ее, сажут, топчут и отбрасывают назад, под прикрытием огня батарей. Потом общими усилиями кавалергарды выдерживают страшную свалку с наполеоновскими мамелюками, наполнившими все поле своими белыми турбанами и диким визгом, от которого кровь холодила в жилах.

Эта типичическая борьба каждую минуту рождала десятки подвигов, равных которым трудно найти в истории войн. Спустя пятнадцать минут после начала атаки в головном взводе кавалергардов не раненых осталось только двое: молодой корнет Альбрехт и эскадронный вахмистр Петин. Спешенные, они стали спинами один к другому и отчаянно оборонялись палашами от нападавших на них французских конногренадер. Вскоре Петин упал тяжело раненный. Семнадцатилетний корнет, оставшийся один посреди неприятелей и уже имевший несколько ран от сабельных ударов по голове, не сложил оружия, а у тела своего товарища продолжал храбро обороняться. Еще один удар по голове. Почти в то же мгновение французский всадник стреляет ему из пистолета прямо в лицо. Заряд оказался без пули, но лицо корнета обожжено. Ослепленный, с зажмуренными глазами, он все же не перестает драться. Наконец новый сабельный удар подле ладони правой руки порезал на ней вены и заставил Альбрехта выпустить палаш. Исходя кровью, корнет замертво падает на раненую руку. Эта счастливая случайность спасла ему жизнь: голова его придавила перерезанные вены, и сильное кровотечение было остановлено. Так он пролежал в беспамятстве до конца сражения, пока не был подобран носильщиками. Вечернее небо Аустерлица накрыло героя, как знамя с золотыми звездами.

Кавалергардский полк был наполовину уничтожен, но не был разбит. Когда трубы подали сигнал «аппель!», кавалергарды переправились через ручей и в ста шагах от него опять построились в боевой порядок подле своего штаб-квартира. По ту сторону оврага показалась французская гвардия. По она не решилась атаковать эту горстку людей, готовых каждую минуту принести новую жертву в честь русского оружия. А сзади к ним спешили на помощь колонны лейб-гренадер.

Истинное мужество восхищает даже врагов. Обезоружить и взять в плен французы смогли лишь несколько тяжело раненных кавалергардов.

— Ваш полк честно выполнил свой долг, — сказал одному из них Наполеон.

Потом, увидев кавалергарда Сухтелена, совсем еще мальчишка, заметил:

— Молод же ты явился сражаться с нами.

Юный герой смело посмотрел в глаза человеку, перед которым трепетали все маршалы и короли Европы, и ответил:

— Молодость не мешает быть храбрым, ваше величество!



В войнах с Наполеоном 1805—1807 годов многие молодые гвардейские полки получили боевое крещение и блестящими делами поставили себя сразу же

в один ряд со старой, заслуженной гвардией. В сражении при Ломиттене Егерский полк действовал столь отлично, что обратил на себя внимание всей армии. Молодецким штурмом егеря взяли сильно укрепленную лесную позицию, представлявшую собой гигантскую колючую щетку из поваленных сосен. Когда полк возвращался в линию главной армии, его встретили криками: «Славно! Славно! Молодцы егеря!»

Молодой Павловский полк заслужил редчайшую почесть. По гвардии о нем был отдан специальный приказ: «За отличное мужество, храбрость и неустранимость в сражениях с французами состоящие в лейб-гвардии Павловском полку шапки оставить в том виде, в каком полк сошел с места сражения, хотя бы некоторые из них были повреждены. Да будут эти шапки всегданным памятником отменной храбрости полка». На медном щите гренадерки, пробитой пулями, было выбито имя того солдата, который носил эту шапку в тех сражениях. Иметь такую шапку считалось величайшей наградой для каждого гвардейца.

Тогда же произошел и случай, невиданный еще нигде в мировой истории. Батальон петербургских ратников ополчения, где сотенным командиром был известный поэт Батюшков, сражался с такой непревзойденной отвагой, что стяжал себе права старой гвардии. И после кампании он стал называться лейб-гвардии Финляндский полк — в память о победоносных действиях русских в той стране.

А в перерыве между войнами с Наполеоном, в зиму 1808—1809 годов русские гвардейцы совершили беспрецедентный переход в Швецию по льду Ботнического залива. Они шли под командованием лучших полководцев того времени — Баграциона, Барклая-де-Толли и Кульнева. Пять дней пробирались гвардейцы по глубоким снежным сугробам, карабкались на гряды льдин, которые подобно утесам возвышались по всему заливу. Стоял жестокий мороз, порывистый северный ветер дул прямо в лицо и захватывал дыхание. По гвардейцы упорно продвигались вперед, таща за собой орудия, так как лошади отказывались идти и падали от изнеможения. Ночевать приходилось среди безбрежного ледяного моря, без огня, просто зарываясь в снег. Обозы не поспевали за войском, и гвардейцы часто оставались без пищи, утоляя голод лишь одним сухарем. Наконец, русские герои пересекли залив, неожиданно появились у шведского берега и взяли с боя город Умео. Ошеломленный неприятель просил о мире. Трудно было поверить в возможность такого перехода. Но когда накануне похода спросили об этом Баграциона, он коротко ответил: «Прикажете — пойдем!» Он знал, что такое русские гвардейцы и потому был в них так твердо уверен.

Но все это было лишь великолепным прологом к грандиозной эпопее отечественной войны 1812 года. Главное еще было впереди.

## 1812 год

Никогда еще русская гвардия не находилась на такой высоте величия, какой она достигла в борьбе с нашествием Наполеона, вступившего за собой колоссальную армию «двунадесяти языков». В полном одиночестве должна была защищать свою страну русская армия от полумиллионного полчища французов, итальянцев, испанцев, поляков, пруссаков, саксонцев, баварцев, австрийцев... «Сколько валит вражьей силы, что плюнуть негде, если штыком не очи-

стишь», — говорили тогда гвардейцы. Отечественная война пробудила все богатейшие силы русского народа, его воинский дух, жертвенную любовь к родине, суровую ненависть к врагам, благородное презрение к смерти. И эти качества получили наиболее полное и яркое отражение в гвардии, служившей боевым авангардом своего народа. Нельзя здесь выделить только одну какую-либо ее часть и через нее осветить героические события тех дней. Вся гвардия в целом, все гвардейские полки внесли одинаковый вклад в славную эпопею народной войны — на любом ее этапе и в любом решающем сражении.

Перед тем как начать планомерный отход в глубь страны, русским предстояло осуществить нелегкую задачу — соединить свои главные силы у Смоленска. С северо-запада шла I армия Барклая, с юго-запада — II армия Багратиона. А в трехсотверстный промежуток между ними клином влезал Наполеон, желая отрезать одну армию от другой и разбить их по частям. Надо было во что бы то ни стало предупредить французов и занять Смоленск раньше их. Послать легкий передовой отряд, который смог бы задержать огромные силы противника, было единственным выходом для русского командования. Барклай отправляет с ординарцем начальнику головного корпуса Дохтурову письмо: «Совершенное спасение отечества зависит теперь от ускорения занятия нами Смоленска. Вспомните суворовские марши и идите ими...»

Вечером 16 июля в палатке командира кирасирской дивизии Денердровича собрались начальники гвардейских частей. В мерцающем свете тусклой свечи, бросающей длинные тени, он встал и сказал:

— Нам поручено идти в авангарде. Мы должны открыть дорогу армии к Смоленску и быть там не позднее 19 числа. Возможно, путь уже занят неприятелем, все должно ожидать жаркой встречи с незванным гостем. Я совершенно уверен, что каждый из нас готов жертвовать жизнью за отечество, но решил предупредить вас о нашем предназначении. Если кто-либо не чувствует в себе твердости идти на видимую опасность, пусть лучше и не идет в этот отряд.

Стоит ли говорить о том, что никто из гвардейцев не отказался. Лесучий авангард составили кавалергарды, конногвардейцы, егеря, финляндцы, сводный гренадерский батальон и гвардейская конноартиллерийская батарея. Соблюдая полную осторожность и тишину, отряд спускался незаметно с биваков и выступил в поход. Шли почти безостановочно, по нестерпимой жаре, на редких привалах погружались в короткую дремоту, а сби на марше. И все же пехота почти не отставала от кавалерии. Егеря и гренадеры часто бежали на лошадей, держась за стремя. Так шли около ста верст. В глубокую темную ночь на 19 июля отряд подошел к Смоленску. На противоположной стороне Днепра гвардейцы увидели множество огней бивачных костров. Это была армия Багратиона.

Когда же обе соединившиеся армии начали согласно плану отходить от Смоленска по Московской дороге, Наполеон решил немедленно овладеть городом, чтобы преследовать русских. Но в Смоленске был оставлен небольшой отряд Дохтурова в качестве заслона. 180 тысяч французов стояли на правом берегу Днепра, и всего 20 тысяч насчитывалось среди защитников Смоленска. В этой неравной борьбе выдающуюся роль сыграл лейб-гвардии Егерский полк. Посылая егерей к Дохтурову, Барклай просил передать, что от мужества малейшего отряда зависит сохранение армии. И егеря доказали, что они вполне понимают смысл этих слов. Ловкие и подвижные, прекрасные охотники и меткие

стрелки, егеря находились все время в первой огневой линии, перед стенами древнего города. Они искусно прятались в прибрежных кустах, в опустевших избах и отражали непрестанные атаки французских частей, выбивая прицельным огнем неприятельских офицеров. Даже после жестокой канонады, когда многие избы были подожжены французскими брандскутелями, гвардейцы не отступили, а продолжали стрелять из пылающих домов. Егеря обороняли также весьма важный мост через Днепр. Сюда ринулась главная масса войск Наполеона. Но, воскресшая подвиги петровских «потешных» у парвского вагенбурга, егеря защищали эту переправу с таким упорством, что гора неприятельских трупов образовала огромную страшную пробку, которая закупорила весь мост. Наконец Наполеон убедился, что преодолеть мужество отряда Дохтурова и взять штурмом Смоленск он не в состоянии. Французскому полководцу, привыкшему до сих пор щелкать города и крепости, как орехи, пришлось теперь ограничиться лишь нещадным обстрелом Смоленска гранатами и зажигательными бомбами. Между тем русская армия была уже далеко и находилась в полной безопасности. За два часа до рассвета остатки отряда Дохтурова очистили город, разрушив все мосты через Днепр. Гвардейские егеря ушли последними.

Отступление русских войск от Смоленска к Бородину представляет собой один из замечательных примеров сохранения порядка и дисциплины. Неприятелю, шедшему по пятам, не удалось захватить ни отсталых, ни обозов, ни раненых. Идя к Москве, русские накапливали силы, а враг терял их. Так выполнялась великая стратегическая задача. И в ее выполнении гвардейские части сыграли немалую роль. Мы видим их часто в небольших арьергардных отрядах, стойкость которых надежным щитом прикрывала главные силы армии. У деревни Лубяной гвардейские гренадеры сорвали попытку Наполеона отрезать обходным движением часть русской армии. Четыре раза ходили лейб-гренадеры в атаку, несмотря на опромное превосходство в силах неприятеля. Но каждый раз, уменьшаясь почти на половину, вновь строились штурмующие колонны гренадер и двинулись вперед, помня призыв своего командира: «Лучше погибнуть, чем допустить врага». За этот подвиг полк был представлен к георгиевским знаменам как «лучшей и достойнейшей полке».

Быстрота продвижения войск во многом зависела от исправности пути, мостов, переправ. Тут славно поработали моряки Гвардейского экипажа. В ту войну они доказали, что гвардейские матросы орудуя на суше несколько по хуже, чем на море. Расторопные и выносливые, эти геркулесы в черных куртках быстро чинили дороги, настилали мосты, устраивали переправы. Удобный и широкий путь лежал перед русскими войсками. В то же время неприятель то и дело спотыкался на дорожных препятствиях и разрушенных мостах. Это также было делом рук Гвардейского экипажа. Его команды, находившиеся в арьергардах, уходили отовсюду последними. Оплош и рядом работали под огнем французских стрельцов и артиллеристов. Нередко половина команды вела бой с противником, а остальные под ее защитой быстро разрушали мосты и переправы.



Но вот наступило 26 августа 1812 года — день Бородина, день «битвы гигантов», о котором будут помнить и говорить с благоговением, пока жив хоть один русский человек на земле. «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Русские приобрели в нем право быть непобеди-

мыми», — не раз говорил Наполеон. И куда бы мы ни кинули взгляд на это обширное поле сражения, везде мы видим в самых ответственных и опасных местах русских гвардейцев, совершавших подвиги, почти непостижимые холодному разуму.

Свой главный удар Наполеон нацелил на левое крыло русской позиции, туда, где, впереди семеновского оврата находились багратионовы флеши. Против них он бросает свои лучшие корпуса маршалов Даву и Пейя. Могущественная артиллерия концентрируется здесь в таранный кулак. И почти вся французская армия строится с таким расчетом, чтобы поддержать эту атаку. После шестичасовой самой ожесточенной борьбы, когда флеши девять раз переходили из рук в руки, а Багратион был убит, русские вынуждены были уступить полуторному превосходству неприятеля и стали отходить к семеновскому оврату. В этот момент из резерва подошли три гвардейских полка — Измайловский, Литовский и Финляндский. Они выстраиваются перед овратом в две линии и становятся с той минуты главной опорой остаткам армии Багратиона. От стойкости этих гвардейских полков зависела судьба всего сражения. Если бы французам удалось отбросить багратионовы войска к северу, в мешок, образуемый слиянием реки Колочи и Москвы-реки, то удобнейший путь отступления русских на Москву был бы отрезан и им бы пришлось драться в весьма невыгодных условиях. Вот на какой ответственный пост были поставлены три гвардейских полка. И этот пост они не покинули. Под их прикрытием расстроенные защитники флешей отошли в лес, и гвардейцы остались лицом к лицу с подавляющими силами противника.

Французы пытались смести живую преграду артиллерийским огнем. Четыреста орудий, охватившие гвардейцев огненной подковой, открывают с расстояния в пятьсот шагов такую стрельбу, что, по словам очевидцев, «кровавая пелена черного густого дыма затмила дневной свет». Гранаты лопались в воздухе, ядра гудели, сыпались со всех сторон, бороздили землю рикошетами, рвали на куски человеческое мясо. В рядах гвардейцев, стоявших совершенно открыто, вырубались целые просеки. Но ни одна рота не дрогнула и не попятилась назад. Ряды смыкались, задние шеренги переступали тела павших и заполняли образовавшиеся интервалы. Живая стена редела и редела, но продолжала стоять. Более часа выдерживали гвардейцы эту невообразимую канонаду, доказав, что человеческая воля сильнее обезумевшего металла. Они с честью выполнили исторический приказ Кутузова: «Стоять насмерть! Ни шагу назад!»

А когда умолкала канонада, гвардейцам предстояло новое испытание. Земля дрогнула от топота многих тысяч лошадей, и со стороны французов стала быстро приближаться грандиозная конная масса. Здесь был корпус тяжелой кавалерии Нансutti и отборные кирасиры Латур-Мобура, о которых Наполеон всегда с гордостью говорил: «Мои железные солдаты». Измайловцы, литовцы и финляндцы быстро построились в батальонные каре, в девять трюных прямоугольников, над которыми по команде то возвышался лес штыков, то опускался и прямоугольниками окутывались белым дымом ружейных залпов. Три раза окружали французские кирасиры и конногренадеры гвардейские каре, и всякий раз гвардейцы прогоняли врага с большим уроном огнем и штыком. Наконец французские кавалеристы окончательно отошли на почтительное расстояние и только издали смотрели на место своего поражения.

На сцену выступила французская пехота и артиллерия. Опять новая схватка со свежими силами противника, опять новые подвиги русских гвардейцев. Остатки Литовского полка находят еще в себе силы совершить подвиг редкой энергии и мужества. Заняв высоту с левого фланга, французы начали простреливать весь фронт гвардейских полков продольным огнем. Это грозило им почти полным физическим истреблением. Тогда командир Литовского полка лично повел в атаку на эту высоту батальон своих гвардейцев, имея в резерве остальные два батальона, от которых остались небольшие кучки людей. Смертельно раненный, поддерживаемый двумя гренадерами, он идет вперед и отдает распоряжения, пока литовцы не овладевают высотой после отчаянной рукопашной схватки. Взглянув в последний раз на знамя полка, разрывающееся над высотой, командир успел только сказать: «Добро!» — и пошел на землю. На этом холме, облитом кровью героев, остатки гвардейского полка удерживались до конца сражения.

Финляндский полк потерял треть своего состава, Измайловский — около половины, Литовский — почти две трети солдат и офицеров. И все же никто из них не дрогнул перед лицом смерти. Эти полки лейб-гвардии «покрыли себя в виду всей армии неоспоримой славой», — писал Дохтуров Кутузову. Наградой им были героические знамена, выданные даже во все батальоны. А Литовскому полку в знак особой почести было присвоено имя «лейб-гвардии Московский полк» — в память того, как храбро защищал он Москву на поле Бородинском.



Поставить здесь точку на описании великой битвы было бы оскорбительным для чести других гвардейских полков. Их знамена появляются всюду, где опаснее всего враг и где борьба достигает наивысшего напряжения. У главного бородинского моста гвардейские егеря вели кровопролитный бой с огромным числом французов. Только такие силы могли выдерживать бесконечные штыковые атаки все новых волн противника и рукопашные свалки предельного ожесточения. Молодой егерь Васильев, исполненного роста, один бросился в толпу неприятеля, выхватив за ворот французского офицера, и так понес его прямо из боя к главнокомандующему. Кутузов тут же пожаловал ему крест, и егерь возвратился в бой уже георгиевским кавалером. Мост несколько раз становился то русским, то французским. Когда же егеря увидели, что отстоять его все-таки невозможно, они собирают всех оставшихся в живых и бросаются в последний раз в штыки. Будто большой железной щеткой счищают они французов с моста, истребляют целый их полк и прогоняют остатки далеко от реки. А в это время охотники Гвардейского экипажа совершенно разрушают мост. Путь французам закрыт, и наступление их на этом участке замирает.

В самый критический момент всего сражения, когда Наполеон готовился прорвать центр русской армии и выдвинул уже свою молодую гвардию, произошла стремительная атака русской конницы в охват левого фланга французов. И здесь гвардейские полки показали пример ликости и кавалерийского искусства. Под огнем неприятеля они переходят вброд через реку Колочу и глубокие овраги, взбираются на крутые берега Бойны и, не останавливаясь, бросаются вперед. Лейб-гусары три раза ходят в атаку против пехотных каре, чуть не захватывают при этом французского вице-короля и, наконец, обращают в бегство итальянскую гвардию. А лейб-казаки промчались на всем скаку

через узкую плотину, обстреливаемую картечью, заскочили в тыл французских войск и вызвали там такую панику, что она грозила захлестнуть и части, находившиеся в боевой линии. Эта смелая кавалерийская демонстрация была спасительной для русских. Наполеон вынужден был приостановить решительное наступление, его молодая гвардия пошла на поддержку расстросненного левого фланга, и сам Наполеон поскакал туда же, чтобы выяснить обстановку. Так он потерял два драгоценных часа, которые прекрасно использовал Кутузов, укрепив все опасные участки.

И в центре сражения, в самом его пекле, где стояла знаменитая батарея Раевского, русская гвардия явилась той силой, о которую, по выражению Ермолова, «расшиблась французская армия». Более двух часов стояли с замечательным хладнокровием Преображенский и Семеновский полки под непрерывным перекрестным огнем французских батарей, готовые ежеминутно отразить густые скопления неприятельских войск против кургана. А потом они выдерживали длительные атаки вражеской кавалерии, то бросаясь ей навстречу в штыки, то, не открывая даже огня, а лишь одним грозным спокойным видом батальонных каре заставляя ее поворачивать обратно.

Тут же происходит известный «кирасирский подвиг» гвардейской кавалерии. Когда густые волны французской конницы грозили совсем затопить таявшие каре преображенцев и семеновцев, полки конной гвардии и кавалергарды бросились им на выручку. Это был последний кавалерийский резерв Кутузова. Пока они занимали неприятеля атаками, все пространство в тылу их было обнажено от войск до самой главной квартиры, находившейся в Горках. Сознание огромной ответственности того часа заставляло конногвардейцев совершать чудеса мужества и бесстрашия. Всего лишь четыре эскадрона кавалергардов атакуют целые три полка неприятельской кавалерии, среди которой особенно выделяются саксонские гвардейцы с пышными перьями на головных уборах. Кавалергарды брубаются в неприятельскую линию и после короткой свалки опрокидывают ее. Саксонские латники бегут, теряя на ходу свои перья. Раздается трубный звук — «аппель». Но в пылу боя около сотни кавалергардов разных эскадронов, увлеченные преследованием, не слышат сигнала. Они скачут вперед и натываются на новый фронт вражеской кавалерии — маленькая горстка перед лесом лик, сабель и палашей. Но кучка кавалергардов собирается около своих случайных командиров, строится вновь в боевой порядок и по команде «С места! Марш-марш!» кидается в атаку. Дерзость производит чудо: враг пятится в страхе назад и «обращает тыл». А кавалергарды, потеряв всего несколько человек, возвращаются к своему полку. Они выполнили основное правило русского гвардейца — «всегда атаковать».

Наконец высокий курган, возвышающийся у деревни Утица на Старосмоленской дороге, может служить памятником блистательных подвигов гвардейских grenадер. Они бились за этот курган, откуда Наполеон угрожал глубоким обходом всей русской армии. Когда враг занял курган и уже праздновал победу, гвардейские grenадеры пошли в решительную контратаку. Сами французы называли ее «дьявольской атакой». Один из крупнейших наполеоновских генералов, Фриан, писал в своих мемуарах: «Русские grenадеры, даже раненные, подползали к неприятелю, дрались с ним и умирали, вцепляясь в волося. Барабанички били противника барабанными палками». А когда после перестроения русской позиции им надо было отойти и примкнуть к левому флангу, то они сделали это в таком порядке и так грозно, что были похожи,

по словам французского офицера, на «подвижные редуты, оцетитивныяся железом и извергающие огонь».

Так во всех главнейших очагах Бородина проявляла русская гвардия свой высокий боевой дух, свою ненависть к чужеземным завоевателям и ропнула участь исторической битвы. Командир гвардейского корпуса генерал Лавров доносил после боя в Петербург: «Я имею честь командовать гвардией, которая храбростью, послушанием и порядком заслужила похвалу от всей армии. После сего жестокого дела ничто не разбилось в сем знаменитом корпусе, и я стал с ним на биваки, как будто после ученья. Князь Кутузов, по просьбе всех старших генералов армии, хотел особенно сделать одобрение гвардии».

Не то было с гвардией французской. Она не сказала при Бородине того слова, какое от нее можно было бы ожидать. Дважды предлагали Наполеону его маршалы ввести в дело старую гвардию, но он ответил: «Я не могу рисковать моей гвардией. В трех тысячах верстах от Франции не следует жертвовать последним резервом». Это уже было предчувствие будущей катастрофы. Наполеон понимал, что даже его гвардия не могла что-либо изменить в этом сражении, которое он проиграл, потому что не в состоянии был выиграть.

Между тем даже последние всплески французского наступления были потушены частями русской гвардии. Еще в 9 часов вечера гвардейцы Финляндского полка выбили штыками из деревни Семеновской французских стрелков, сделавших попытку овладеть ею под покровом темноты. Над притихшей равниной гудко разнеслось эхо редких оружейных выстрелов. Это гвардейская артиллерийская батарея послала вдогонку отступавшему противнику несколько зарядов картечи. Наступившая ночь опустила свой занавес над полем великой битвы.



В первых двух актах отечественной войны русская гвардия сыграла одну из главных ролей. Она сделала дорогу наполеоновских войск на восток дорогой мытарств и истощения, а Бородино — опрошной моральной победой русского оружия. Она не уменьшила своей роли и в последнем акте, превратив обратный путь врага на запад в тропу смерти. Пока гвардия Наполеона разлагалась в мародерстве и ограблении горевшей Москвы, русские гвардейцы жили в дружном тарутинском лагере на берегу Нары, чистили оружие и готовились к новым боям. И во всех сражениях от Тарутина до западных границ России, в которых падали обломки армии «двунадесяти языков», — везде гвардейские части отметили себя славными делами.

6 октября в Тарутинском сражении лейб-гвардии гусарский полк стремительной атакой обратил в бегство целую французскую дивизию.

12 октября под Малоярославцем гвардейская конная артиллерия претрала путь французским войскам к хлебным районам Калуги. Своим губительным огнем она пригвоздила врага к одному месту, помешала противнику павести мост через реку, не давала ему ввести в дело свои батареи и, наконец, не допустила неприятельскую пехоту выйти в поле, подсакав к самой заставе и стреляя картечью с близкого расстояния.

13 октября под Городнею казаки лейб-гвардии Атаманского полка атаковали французскую гвардейскую артиллерию, отбили 11 пушек и захватили большой артиллерийский парк. Сам Наполеон при этом чуть не попал в плен и едва спасся бегством, оставя в жертву казакам всю свою личную охрану.



Полк этот при изгнании неприятеля из России был все время в авангарде Платова и совершил немало подвигов, которые сам Кутузов называл «чудесами». Платов с казаками взял свыше 500 пушек, 30 знамен и штандартов и до 70 тысяч пленных.

Гвардейские части были и в авангарде Милорадовича, прозванного за быстрые и смелые действия «крылатым». Они следовали по пятам Наполеона и вступали в ожесточенные бои каждый раз, как «французский волк» сердито огрызался. Обычно говорят, что наступившая жестокая зима стала великим союзником русских, помогая им довершить разгром врага. Но при этом многие как-то забывают, что союзник этот был весьма суровый и несговорчивый. Русские войска, особенно быстро движущиеся авангарды, сильно терпели от холода. Оставляя Россию, наполеоновские войска разоряли города и села на своем пути. В страхе перед выходящими ночными полетами партизан и казаков французы сжигали деревни, и русские гвардейцы вели бои при свете этих огромных пылающих факелов. Гвардейцы шли среди груд развалин, среди скелетов домов без печей и окон. Приходилось раскладывать костры для варки пищи в сараях и по гумнам, спать часто прямо в сугробах под злой свист снежной метели. Поэт-декабрист Федор Глинка, бывший в авангарде Милорадовича, говорил в одном из своих писем: «Трофеев у нас много, лавров девать некуда, а хлеба — ни куска». Но, преодолевая все препятствия, гвардейцы совершали двадцатипятиверстные переходы, достигали врага, нанося ему страшные, уничтожающие удары. Так было, например, в сражении под Красным, когда почти весь корпус маршала Нея с офицерами, артиллерией и обозом сдался гвардейскому авангарду. Тут лейб-улань дважды атакует неприятельские колонны одну за другой и принуждает их сложить оружие. Тут лейб-гренадеры штыками разносят французскую гвардию, заставляя ее бросить на поле боя артиллерию. Тут лейб-кирасиры истребляют целый гвардейский волтижерский полк Наполеона, свернувшийся в каре.

В то же время легкий отряд гвардейской пехоты, кавалерии и артиллерии повторяет подвиг своих предков — преобразенцев и семеновцев — у села Доброго. Егеря, финляндцы и кирасиры совершают быстрый обходный марш, — конница рысью, а пехота бегом, — отрезают путь отступления частям французского корпуса Даву и на тех же исторических местах идут с барабанным боем в атаку. Горящие дома села Доброго освещают зловещую картину жестокого ночного боя. Неприятельская колонна истреблена, французы выбиты из деревни, а гвардейцы Финляндского полка смелым налетом захватывают весь обоз противника, и в награду им достается маршальский жезл самого Даву.

Опять мы видим команды Гвардейского экипажа, совершающие свою, казалось бы, незаметную, но труднейшую и чрезвычайно важную работу. Они идут в авангарде армии и прокладывают ей пути для преследования противника. 11 октября они строят три плотовых моста через Протву, по которым и переходят все русские войска. В ноябре они перекидывают в рекордный срок pontонный мост через Днепр длиной в пятьдесят саженей. Потом гвардейские моряки строят мост через Березину, стоя на льду в студеной воде.

После поражения под Красным и Добрым Наполеон отступал с такой поспешностью, что никакая армия не могла бы за ним угнаться. Надо было организовать особый летучий отряд для его преследования. Задача требовала выдающейся выносливости и подвижности. Кто же мог ее выполнить лучше всего? Ну, конечно, гвардейцы. Отряд составляют егеря, финляндцы, кирасиры

и гвардейские батареи. Начальство над ними поручается одному из храбрейших боевых генералов — Ермолову, воспитанному на лучших традициях гвардии. Выбор был правильным. Переходы этого отряда представляют образец форсированных маршей в самых трудных условиях. Вьюги и метели застигали след отступавших, но гвардейцы находили путь по гудам мертвых тел и павших лошадей, по взрывам французских зарядных ящиков. Шли среди пожаров, по испорченным мостам, часто перебирались по тлеющим бревнам или вброд. Через Днепр перекинули наскоро сбитый мост, орудия перетянули по толстым доскам, настланным вдоль него, но лошади пройти не могли, так как мост под их шагом колебался и каждое мгновение мог рухнуть. Тогда гвардейцы сколотили нечто вроде маленьких плотиков, уложили на них лошадей боком, спутывая ноги, и так осторожно перетаскивали на лямках. Сгустившийся пловучий лед разрушил мост, и на левом берегу реки остались все обозы, часть патронных ящиков и все провиантские фуры. Но отряд не стал дожидаться, а пошел дальше ускоренным маршем, налегке. Двигался он с такой быстротой, что не давал ни часу отдыха отступавшему противнику. Костры, похлнутые французами, не успевали гаснуть, как уже появлялся отряд Ермолова. В францах солдат не осталось ни одного сухаря, в манерах — ни капли водки, вьюки все были брошены на переправах, чтобы дать прежде всего проход артиллерии.

В обширных минских лесах гвардейцы соединились с казачьим отрядом Платова и вместе пустились в погоню. Спешили настичь французов при переправе их через Березину. Не сделав в последние сутки ни одного привала, гвардейцы тотчас же приступили к постройке «летучих» мостов через Березину и ее притоки. Мосты делали на простых козлах, только постилали их соломой и поливали водой, а мороз скреплял эту настилку. И по такой ледяной тропе, цепляясь, падая и скатываясь, почти ползком перебирались люди, лошади, артиллеристы со своими пушками. Непостижимо, но весь отряд все-таки перебрался на другую сторону. Это дало возможность русским атаковать неприятеля на обоих берегах реки одновременно.



И вот, наконец, русская гвардия вступает в город Вильно — туда, откуда она начала свой героический поход 1812 года. Круг замкнулся. Уже ни одного вражеского солдата нет на русской земле. Парадным маршем проходят по главной площади гвардейские полки — поредевшие, но еще более грозные и закаленные в лопесенных трудах воинских, с чертами лица, жесткими от порохового дыма и морозов, в обожженных шинелях и простреленных киверах. Александр I, паряженный в новый мундир, поклонился к Кутузову и заметил недовольно, что гвардейцы недостаточно отгибают носки при шаге.

— Славно дерутся, ваше величество! — ответил Кутузов.

А гвардейские части все шли и шли. Казалось, пытки их и обнаженные наплечи еще дымились вражеской кровью. Недаром вся гвардия заслужила в ту войну самые высокие награды, какие могла получить тогда воинская часть, — георгиевские знамена и штандарты, а также серебряные трубы с надписью: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года».

Отечественная война кончилась. Но еще немало трудов ожидало русскую гвардию впереди. Война перешла в Европу.

Б. ПЕСИС

## «ПАДЕНИЕ ПАРИЖА» ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА

I

Русская литература от Пушкина до Маяковского, от Герцена до Горького не знает себе равных по глубине и верности изображения других народов.

Всепонимающий гений Пушкина, величайшего истолкователя исторических судеб Старого и Нового Света, осеняет и кругосветные странствования поэзии Маяковского.

Среди современных западно-европейских писателей только подлинные гуманисты — Ромэн Роллан, Генрих Манн, Барбюс, глубоко преданные своему народу, умеют так раскрыть свое сердце национальному тению других народов.

Работы Эренбурга о Франции продолжают в советской литературе классическую русскую традицию. Эренбург добавил новую страницу о Франции к «странице любви» у Тургенева, к «странице ненависти» у Достоевского, у которого среди многих несправедливых приговоров есть и справедливейший гнев против заскоружлых французских мещан, лакейский душок, не французов, а «французешек».

Книга Эренбурга совмещает в себе любовь и ненависть, как и все, что писали о Франции передовые люди, которым дышалось легко в этой стране именно потому, что воздух ее почти из десятилетия в десятилетие очищался грозами народного гнева. Нельзя не считать знаменательным, что в самое грозное и трудное для Франции время, когда многие французы принуждены к безгласному существованию или жизни на чужбине, именно свобод-

ный голос советского писателя рассказывает миру историческую правду о Франции.

В отличие от «почвенников», сильных только в противопоставлении «своего» и «чужого» (Жироду в книгах о Германии), в отличие от «космополитов», бездомных псов, бродящих по земле в поисках места, где можно бы укрыться от собственного народа и собственной скуки (Поль Моран), советский писатель-патриот описывает не «чужую страну», а родину «свободолюбивого народа», описывает как дом своего друга, то есть нелицеприятно, с уважением и любовью ко всему, что есть чистого в доме, с ненавистью и презрением к мусору, грязи, паразитам.

Эренбург, хорошо знающий старый дом Франции, видит его изнутри, подобно великому французскому мыслителю и патриоту Лабрюйеру, раскрывшему в своей знаменитой книге характеры французов XVII века.

Эренбург восходит к Лабрюйеру как мастер запечатления характеров своего века в живых политических, философских и эмоциональных портретах современников. Цепь фигур у него идет попеременно с цепью событий, он — мастер калейдоскопа. Эренбург — психолог и политик в равной мере; для него не существует анализа душевных склонностей героя в отрыве от его идеологических поступков, его «политики» в широком и узком смысле слова. В такой книге, как «Падение Парижа», политическая наука выступает как сила интеллекта художника, взявшегося воссоздать образы людей и событий до того, как за

это взялись историки. Опрямная ответственность лежит на художнике, который хочет, чтобы его иногда мгновенно выносимые приговоры не поблекли рядом с будущим, проверенным временем приговором историков. Великая ценность передовой науки о политике в руках передового художника еще раз показана в успехе Эренбурга, создавшего исторический роман о современности — труднейший вид литературы.

Откуда идет свет в романе? Откуда ясное ощущение чьей-то теннальной, мощно освещающей события мысли? Источник света, никем персонально не представленный, скрыт с тем искусством, которое так ценил Дикро в картинах классических художников. Но читатель все время чувствует присутствие света и знает, что он идет оттуда, где соборы мозг и воля народа, и не только французского, но всех народов. Этим объясняется ясность и глубина раскрытия характеров и нравов современной Франции в книге Эренбурга.

Как и всегда в решительные для Франции дни, летом 1940 года народ готов был идти до конца в борьбе за национальную честь и свободу своей родины.

Так было в октябре 1870 года, когда народ поднялся перед лицом германского вторжения с криком: «Долой Трошю! Да здравствует Коммуна! Никаких перемирий! Война до конца!» Так было и в 1940 году, когда народ, вопреки современным Трошю и Базена, решил защищать Париж от нашествия фашистских варваров. Кое-кому показалось тогда, что прорезается загадочная «передвижка» патристических цезарей, «бегство» патристических ценностей из сейфов старых, якобы законных владельцев в лагерь «краснольников». Понадобилось, чтобы катастрофа стала обозримой, тогда все честные французы поняли, что подлинный хозяин французского дома — это и есть народ, что если и произошла какая «передвижка», то это была передвижка всех истинных патриотов из разных лагерей в лагерь народа, сохранивший здоровое ядро всей нации.

Этот сложный процесс и составляет одну из главных тем романа Эренбурга о падении Парижа и не-

избежном возрождении нации, которое начато широчайшим движением патриотов, свободных французов.

Вера в нескороенимую жизнестойкость французского народа вспыхивала с особой силой после великих поражений.

В 1817 году Шатобриан писал: «Франция — удивительная страна, единственная в своем роде. Она кажется вам поверженной во прах? Будьте покойны: достаточно одного слова, чтобы поднять ее. Несколько капель дождя вернут ей плодородие и богатство, один пушечный выстрел — и Франция покроется солдатами».

В 1817 году Виктор Гюго произнес речь, которую сейчас делают знаменательные следующие слова:

«Позорный мир есть ужасный мир. Что выйдет из такого мира? Ненависть, — но не против народа, а против властителей, которые пожнут то, что они посеяли. Властители мутят совесть мира. То, что теряет Франция, то выигрывает революция. Этот час скоро настанет. С завтрашнего дня Франция будет жить только одной мыслью: восстановить стражу, собраться с силами, вскормить святое негодование, воспитать новое поколение, образовать армию из всего народа, работать без усталы, изучая технику, науку своих врагов, стать снова великой Францией, Францией 1792 года, Францией идеи, вооруженной мечом... В один прекрасный день Франция подымется с несокрушимой силой».

Франция возродится: и тот и другой текст полны этого чувства. Но Шатобриан, лишенный веры в народ, утешал себя верой в чудо, Гюго ясно видел тех, кто способен поднять из троба Францию.

Книга Эренбурга говорит нам: сила нынешнего освободительного движения французов в том, что вера в народ объединила всех французских патриотов.

Верой в возрождение Франции и силы французского народа пронизана книга Эренбурга. Вот почему эта книга о трагедии Франции не только трагична, но и полна великих надежд. В силу своей исторической объективности она должна была показать, что силы народа не исчерпали себя ни в одном из движений, составлявших общественную жизнь Франции.

Поэтому сам народ не удивился ни приходу в его лагерь — когда этот лагерь стал полем битвы — некоторых своих бывших противников (консервативный депутат Дюкан), ни уходу лжедрузей (Тесса), которые, по мере приближения решительного часа, стали жаться, как полагается диверсантам, к лагерю своих истинных хозяев («радикал» Тесса, «социалист» Вьяр) и служить Гитлеру все более открыто — вплоть до Вьши.

Судьбы героев романа Эренбурга определяются этим движением: к народу или против него.

Дюкан, долгое время связанный с правыми кругами, наивно верил в то, что они и есть «монопольисты» патриотизма. С каждым днем он яснее понимал свою ошибку. А на последней баррикаде, среди защитников Тура, он не увидел своих бывших друзей. Францию отстаивали своей кровью другие люди. В батальоне, составленном из раненых солдат, были те, кого Дюкан когда-то называл «крамольниками». «Белое стало черным, и черное белым», — с удивлением говорит Дюкан, отражая характерное представление о якобы происшедшей «передвижке» патристических чувств.

На другом участке фронта бок о бок дерутся батальонный командир Фабр, рядовой офицер, никогда прежде не интересовавшийся политикой, и коммунист Мишо, которого начальники Фабра рекомендовали ему как «преступника»: ведь Мишо сражался в Испании! Тот, кто боролся в рядах испанского народа за дело прогрессивного человечества, естественно оказывается первым в боях за родину. И те же люди, которые в 1937 году предали народ Испании, провозгласив, что ее победы чужды и опасны Франции, эти люди летом 1940 года приказывали честным воинам, вроде Фабра и Мишо, отступать перед немцами.

Мишо, вопреки этому приказу, защищает от немецких вандалов французскую землю, французскую культуру — старинный город и ратушу, которую он, Мишо, давно полюбил заочно еще в те дни, когда, механик завода «Сэн», Мишо, урывая несколько часов после работы, слушал лекции профессора Мале об архитектуре. На стенах ратуши еще сохранились народнофронтовые ло-

зунги 1936 года: памятник французского содружества стал и памятником борьбы за свободу. Вот что защищали офицер Фабр и механик Мишо, вот что отдали в руки немцев фашист Бретейль и генерал Пикар, пошедший на измену родине по приказу фашистских политиканов, из страха перед тем, что победа Франции будет и победой народа.

Подготавливая поражение Франции, бретейли и пикары пытались «белое сделать черным», очернить французский народ в глазах французского народа.

Рабочих авиазаводов отправляли в концлагери за «крамолу» и «дезертирство» — лучший способ оголить военную промышленность и расправиться с тысячами патриотов из народа, желающих самоотверженно работать для Франции. Тесса цинично называет это «дать генеральный бой коммунистам именно на фронте военной промышленности».

Эренбург в одной сцене показал всю подлость этого замысла, трагическую судьбу патриотов-рабочих, ярость народа, узнающего обман.

«Легре, вместе с другими коммунистами, отправили в концентрационный лагерь. На узловой станции Нуази-ле-Сен поезд, в котором везли арестованных, простоял свыше часа. Жандармы не подпускали к нему публику, объясняли: «Везут дезертиров». Солдаты и женщины злобно поглядывали на вагоны: шкурники. Другим, значит, умирать... Кто-то крикнул: «Труссы!» Тогда Легре залез «Интернационал». Люди на платформе, удивленные, замерли. А из вагонов кричали: «Мы не дезертиры. Мы рабочие, коммунисты!» После «Интернационала» залезли «Марсельезу». Солдаты на платформе подхватили припев. Напрасно жандармы пытались оттеснить народ. Высунувшись в окошко, Легре кричал:

— Я на той войне ранен был, на лице печать, они этого не сотрут... А сняли меня с авиазавода. Везут нужники чистить. Вот где изменники — Даладье, Тесса, Фланден... А за нашу Францию мы на смерть пойдем...

Он поднял кулак — полузабытый грозный жест, память о тридцать шестом, о великой несбывшейся надежде. Жандармы его оттащили.

Поезд тронулся. Но тогда поднялись сотни жулаков: женщины и солдаты провожали осужденных».

Так Франция, ослепленная, обманываемая, в дни войны становилась собой, свои узнавали своих.

Бретейль выдвигает на пост хозяина военной промышленности Гранделя, о котором известно, что он немецкий шпион. Истинные хозяева Франции — механик Миньо, рабочий Лепре, депутат Дюкан, художник Андре, инженер Пьер Дюбуа — одни пройдя длинный путь заблуждений или ошибок, другие, поднимаясь из самой сердцевины народа — встречаются на передовой линии битвы за Францию.

Генерал Леридо воздаст воинские почести убитому немецкому летчику фон Шираву — «традиции рыцарской войны». В эти минуты истинный французский патриот Пьер Дюбуа одинокий умирает от раны. И последние слова, которые доходят до его сознания, — это слова генерала Леридо, произносящего речь во славу врага.

Французский лейтенант готовит-ся сдавать немцам вооружение. «До последнего винтика», «согласно договору». Нужно показать немцам, что воспитанники Петэна умеют аккуратно торговать Францией, ничего не утаивая из своего «товара». Капрал Лепре, рабочий, часовой при арсенале, который подлежит сдаче, готовит динамит, — французское оружие не достанется в руки врагу.

Так реальный фронт франко-германской войны шел клиньями. В самое сердце Франции вклинивались немецкие штабы, имея своих дозорных в верхушке военщины, воспитанной Петэном. А народный, патристический клин? Он шел по всей французской земле. Он включал всех патриотов, — как тех, кто был сознательно связан союзом верных сынов французской родины, вроде Миньо, Дюбуа, Денпэ, так и тех, чьи корни встречались с корнями народа где-то в глубине, в том далеком слое, где хранились: для одних воспоминания о Жанне д'Арк, для других — традиции 1789 года или Парижской коммуны, для третьих — как художники Андре — просто традиции труда, семена яблонь, посеянные мужицкими руками отцов и дедов. Все они составили истинный

фронт французской нации, фронт не состоявшийся, но лишь не надолго отложенной битвы свободолюбивого народа с немецкими палачами. Этот фронт проходил глубже линии Мажино. Его нельзя было ни обойти, ни взорвать.

## II

Андре, художник-пейзажист — сын крестьянина. Его вера в искусство для искусства, в то, что *ars longa, vita brevis est* — «искусство живет долгой жизнью, а жизнь человека коротка», — вырастает из своеобразной философии природы. Нелегко Андре освободиться от этой веры, только внешне похожей на эстетские лозунги чистого искусства. Андре знает, что требуются десятилетия, чтобы плодородное дерево пошло в рост; быть может, плоды его не увидит сам садовник, но они будут тем сочнее и краше, чем медленнее выращивалась яблоня. Художнику Андре приятно думать, что лучшие трубки делаются из корней вереска, десятилетия пролежавших в земле. Таковы, — думает он, — и законы искусства. Как же быть художнику в тридцатые годы XX столетия, когда рука человека подгоняет не только ход истории, но и движение природы? (Андре был поражен, узнав о методах яровизации пшеницы в СССР). Ужели отказаться от искусства, как не поспевающего за веком? Но Андре связан не только с временем. Он связан с народом, который вечен и обновляется, как вечно и обновляется искусство. Андре переживает чистейшую радость в день народной демонстрации. Правда, тогда в 1936 году, народные сборища увлекали его больше своей живописностью, не столько грозной, сколько веселой... Народная демонстрация для него в эти дни — еще только развитие излюбленной живописной темы, темы Парижа, Парижа антикварных лавок, дремлющих консержек, деревьев Люксембургского сада.

Но вот над родной нависает опасность. Ее предают. В нее врываются орды варваров. Фронт учит Андре более глубокому пониманию красоты и более глубокому пониманию народа. Солдату Андре поручено защищать важную позицию: оди-

нокий холм, дорога, обсаженная тополями, доминирует у холма. Многого здесь говорит сердцу художника! Но все пережитое Андрэ — народные демонстрации 1936 года, рассказы Пьера Дюбуа о мужестве забастовщиков, встреча с немецким «космополитом», встреча с министром Виаром, любителем чистого искусства, промывки слов и в тихомолку совершаемых подлостей, — все это должно подняться в душе Андрэ, когда наступает час битвы.

Одиноким холм, дорога, обсаженная тополями, перестают быть только частью милого французского пейзажа, как было бы для Андрэ еще года два тому назад. Одиноким холм и дорога становятся куском французской земли, орошенной потом и кровью народа, становятся боевой позицией, которую обстреливают немцы. А созерцатель Андрэ становится героем. Он узнает высший вид красоты — подвиг. Он защищает не только французскую землю, но и французское искусство, и защищает не от выдуманного врага (машинизм, техника, темп современной жизни и т. п.), а от реальных врагов, от вандалов, посягающих и на свободу Франции, и на статую Верлена в Люксембургском саду. Неслучайно образ Андрэ поставлен в конце романа: он вырастает здесь на последних страницах как образ путника, перед которым открылся широкий, хотя весь и обложенный тучами горизонт — горизонт плененного Парижа<sup>1</sup>.

Андрэ еще недоволен собой. Он чувствует свое одиночество, слишком страшное перед великими испытаниями, которые готовит ему Париж, захваченный немецкими фашистами. Но путь ему ясен. Ясно, к кому пойдет друг Пьера Дюбуа — к наставнику Дюбуа, механику Мишо, к Дениз, к молодому рабочему, поэту Клоду. Об этом свидетельствует и последний разговор Андрэ с немцем Эриком Нибургом в пленном Париже.

Господин Эрих Нибург из Любека, рыбовод и любитель искусств, входя, в строю немецко-фашистских войск, в тот самый Париж, в который он не так давно приезжал

любоваться статуями мыслителей и сиреневыми туманами над Монпарнасом. И тут он жалобно говорит французскому художнику: «Мы люди одной культуры». Нет, — отвечает Андрэ, — между нами пропасть. На вопрос немца, чем можно заполнить пропасть, Андрэ отвечает: не словами; только поступками, действием, кровью. Пока этого нет, существуют только: французский патриот, и по другую сторону пропасти, немецко-фашистские бестии. И в их числе обольщенный господин Эрих Нибург, которому туманные воспоминания о «культуре» не помешали смирно надеть немецко-фашистский мундир и, вместе с прочим гитлеровским быдлом, топтать мостовые Парижа. Таков, как нам кажется, смысл разговора Андрэ с немцем, заключающего жизнь.

Андрэ принадлежит к той небольшой кучке главных героев романа, которые остаются в живых. Их немного, потому что борьба идет страшная и упорная, и она требует огромных жертв. Погибает в числе других французский интеллигент-революционер, инженер Пьер Дюбуа. На смену ему приходит художник Андрэ, новый Андрэ. Он не должен умереть. Эренбург ставит его в один ряд с Мишо, с Дениз — активнейшими участниками борьбы. Они стоят на самых опасных позициях. Такие люди проходят сквозь пули фалангистов на франко-испанской границе, сквозь штабеля фашистских шпиков в плененном Париже. Они продолжают бороться. Ибо в них воплощено будущее народа, который не умирает. Мишо, Дениз, Андрэ — это неистребимая боевая сила и красота французского народа, народа художников и борцов.

### III

Умирают Люсьен, Жаннет, Аннес, Дессер. Разные смерти — искупительная, трагическая, героическая, мудрая.

В дни народного фронта Люсьен был ближе к движению, чем Андрэ, еще отсиживавшийся в своей мастерской в мыслях о том, как бы сочетать вечность искусства и движение времени.

Это были дни, когда многие интеллигенты воспринимали народный

<sup>1</sup> Образом художника Эренбург открывает и заканчивает свою повесть.

фронт как торжество, наступившее после решительной победы. Молодые художники, философы, седовласые ученые толпились на собраниях в Домах культуры. Некоторые из них искренне и наивно верили, что они приходят в мирные и уже защищенные от бурь храмы возрождения, что бурь больше не будет. Были и такие, которые примыкали к движению в поисках выхода из безнадежных тупиков личной жизни; пытались навязать движению поддельные, чуждые ему проблемы запутавшегося индивидуалистического существования. Третьи — скрытые враги — пробовали сыграть на противоречиях молодого, еще не окрепшего общественного движения.

Если большинство французской интеллигенции действительно сливалось с народным движением и перепоспывало в нем, то известный слой людей, «лишенных корня», (*déracinés*) пытались «перевоспитать» движение в своем духе.

Проблему дифференциации интеллигенции, как людей «лишенных корня», и людей, способных «укорениться» в народе, пытались ставить многие французские писатели. Советский писатель Эренбург ставит эту проблему, беря ее в свете больших событий, в свете широкого общественного движения 30-х годов.

Тема народного фронта становится у Эренбурга в глубоком историческом смысле, как тема народности общественного движения. Это вторая центральная тема книги, столь же важная, как и тема истинного патриотизма.

Чем стало после первой мировой войны поколение людей, «лишенных корня»? Развивая традиции декаданса, они тропедывали то, что можно определить, употребляя термин античных скептиков, как «изостеню»: истина состоит в существовании всех истин, из которых ни одной не отдается предпочтение. В этом скептицизм 20-х, 30-х годов во Франции видел духовное богатство и многогранность. От этого богатства недалеко было до самой жалкой нищеты духа: в зависимости от вкуса можно было усматривать «многогранность» в одновременном пребывании в двух политических партиях и в провокации (предательство типа Поля Низана), в

сочетании черной мессы и красного цвета и даже в смешении коктейлей. У некоторых послевоенных интеллигентов именно эти черты составляли сущность их «антибуржуазного бунта». Эренбург первый показал, как народное движение и величайшие испытания нации «проконтролировали» этот бунт. Бунт этот в своих последних стадиях — в дни разгрома — у многих стал трагедией. Это — история Люсьена.

Встретив на своем пути широкую реку народного движения, всю в ярких отсветах будущего, в живых красках народных демонстраций, диспутов в домах культуры и т. д., Люсьен решил, что этот бурный поток окажется достаточно просторным для того, чтобы послужить освежающей ванной для его — Люсьена — усталых и сложных чувств. У него не было и мысли об «укоренении» в народе. Напротив, он старался «поднять» народ до себя, до уровня сознания модно-левого поэта, хотел оторвать народ от его-слишком «низкого» лежащих корней. Недаром он с удивлением и презрением наблюдал коммуниста, у которого есть семья, семейные радости и прочие «мешанские» добродетели; с удивлением слушал речь рабочего Клода о том, что искусство должно иметь высокую нравственную основу. Наскучив этими «узостями», Люсьен порвал с движением и пустился в дальнейшие поиски. На этом пути он и доказал до сотрудничества с испанскими фашистами, у которых ему понравился культ смерти, более изящный и пряный, чем народная любовь к жизни; он доказал до сотрудничества с фашистом Бретейлем. В грязном заговоре Бретейля поэту Люсьену мерещились заманчивые просторы для становления «сильной личности». Как могло случиться это и многие другие падения и трагедии, из которых сложилось падение Парижа, поражение Франции?

Народ стремился к расширению движения 1936 года за счет людей, готовых честно служить ему, французскому народу, за счет людей, верных Франции. Народный фронт был движением подлинно патристическим, и за это его ненавидели антифранцузы — за его мечту о величии и счастье Франции. Они и



взорвали его: изнутри — провокацией и предательством; извне — тюрмами и слезоточивыми газами. а главное, сговором с гитлеровской шайкой. Они воспользовались при этом детской доверчивостью многих людей из народа.

Давно, еще со времен процесса Дрейфуса, антифранцузы, французская реакция стали систематически проводить политику ослабления и принижения Франции, видя в этой политике средство внутреннего «умиротворения», обуздания страны. Реакционеры говорили: вырвать корень с корнем, и, если нужно, то с французским корнем. Эта подрывная работа маскировалась словами о мире, о единстве Франции, о верности старым традициям, о национальном сознании и т. п. С другой стороны, послевоенные интеллигенты типа Люсьена, обращаясь к народу, говорили: смотрите, корни — это у них, они хотят жить по-старому а мы, аристократы духа, не хотим; мы хотим вырвать с корнем все — старое искусство, семью, «устаревшие» чувства, любовь к родине. Все вырвать с корнем, все взорвать. Да здравствует дадаизм! Да здравствует сверхреалистская революция!»

Таким образом, «антибуржуазный бунт» люсьенов шел навстречу реакционной буржуазии, а сами лжебунтари люсьены становились ее орудием. Такова история падения Люсьена.

Фронт, борьба с немецко-фашистским нашествием разбудили Люсьена, но уже не могли спасти его. Впервые на фронте Люсьен стал ценить людей не только за хороший вкус и изящество мысли. Люсьен с удивлением замечает, что ему становятся небезразличными люди, которые дерутся рядом с ним. И все же Люсьен бродит по дюнам Дюнкерка не столько в поисках правды, сколько в поисках смерти. Бродяжничество Люсьена в дни разгрома — великолепный образ. Это трагический финал всей его фланирующей жизни, фальшивой свободы, чудовищной бездомности, которой некогда кичился Люсьен. Но, выйдя на широкие дороги Франции, увидев потрясающие страдания народа, почувствовав себя солдатом обманутой армии, Люсьен все же начинает по-

своему искать правды, хотя и не перестает искать смерти, ибо уверен, что выхода уже нет. Люсьен видит поновому свою жизнь, ее пустоту, ему становится страшно, он впервые ощущает солдатскую злобу к изменникам и солдатскую любовь к тем, кто стоял с ним рядом под немецкими бомбами. Глубокий смысл вложен Эренбургом в историю смерти Люсьена. Он стучится в двери крестьянского дома, чтобы попросить хлеба. Старый крестьянин, приняв его за бандита, за опасного бродягу, случайно убивает его. Наклонившись над его трупом, крестьянин, не зная его имени, называет его «сынком». Неизвестный солдат напоминает ему его сына. Так Люсьен и умирает, — как неизвестный солдат, отрекшийся от грязного дома своего отца, министра Тесса, понявший фальшь своего полубунта. Это не бессмысленная смерть. Не случайно Люсьен погибает от руки старого крестьянина, и не случайно убитому чудится, что перед ним труп его сына. Живой Люсьен был только бродягой, был чужим в доме французского народа. И последние дни его жизни не могли искупить всей ее пустоты, лжи, беспечности.

Умирает Жаннет. Жаннет — замечательная актриса, принуждена ради куска хлеба выступать по радио с рекламой духов, перемежая гимны косметике и парфюмерии с декларацией великих французских лирических поэтов.

«Обманутой дано мне умереть!» — читает Жаннет. В черных военных ночах Франции миллионы людей слушают чудесный женский голос, которым, должно быть, сама Франция жалуется на свою судьбу, на то, что ее заставляют быть такой Францией, в которой все фальшиво: Мюнхен здесь называется борьбой за мир, реклама духов — искусством, жестокость бездомных поэтов — любовью.

Как и весь французский народ, Жаннет — жертва этого фальшивого мира, враждебного ей и ее подлинному, скрываемому в подпольи искусству. Вместе с народом Жаннет переживает незабываемую радость дней 1936 года. Тогда расцвело и ее искусство и ее любовь. В эти дни она понесла стихи классических поэтов народу, на бастующие заво-

ды. В эти дни под пестрыми, веселыми фонариками народного праздника она поняла, что любит не Люсьена, а Андре. Но, радуясь, Жаннет не может скрыть слез, не может подавить в себе какого-то страха перед злым будущим. Она боится не за свое будущее. Ее кристальный мир, необычайно хрупкий и чистый, удивительно верно отражает непрочность этой народной радости, этих веселых демонстраций, сменившихся так скоро огромным горем народа, толпами беженцев на дорогах Франции. Эренбург создал картину, в которой все, начиная от пейзажа, от праздничной толпы 14 июля, от площадей Парижа до последнего уголка парижского сада, где Жаннет встречается с Андре, — все изображено как бы входящим в историю! Так вошел в историю вместе с знаменитой битвой французской революции невысокий отлогий холм Вальми; так вошли в историю, вместе с легендарным героизмом советского народа, снежные сугробы под Москвой в зиму 1941 года...

Умирает Жаннет под бомбами, на мгновение обманутая — снова обманута! — тишиной летнего дня, ароматом заросшего мятой поля на берегу реки, куда Жаннет добралась с толпой парижских беженцев в надежде, что здесь рубеж, за которым их уже не достигнут немецкие бомбы. Но бомба падает на заросшее мятой поле, там, где лежит, замечтавшись о детстве, Жаннет.

Франция говорит в романе не только жалобным голосом Жаннет, но и голосом мужественной Дениз, порвавшей с семьей отца — министра Тесса и пошедшей в ряды передовых борцов за народ Франции, туда, где Мишо и Клод.

Франция говорит и голосом Аньес. Так же, как и Андре, Аньес — жена Пьера Дюбуа — в дни народного фронта стояла в стороне от движения. Андре уходил тогда от фальшивого мира в мир чистого искусства, вернее в чистый мир искусства. Аньес — в свою чистую жизнь: в семью, в любовь, в работу. Она народная учительница. Она служит народу. И все же это еще не настоящая Аньес. В поведении Аньес есть элементы бегства от жизни в полном и широком ее проявлении. Она убеждена, что в мире, в котором так ши-

роко разлилась ложь, лучше уж не прикасаться ни к чему, что за пределами своей жизни. Политика? Но политика — это «комбинации». Единство? Но, может быть, в нем компромисс? Борьба? Но борьба — это кровь. Это может поднять ее муж Пьер, но сама она пока еще не может.

Аньес из породы правдоискателей, каких было много во Франции в конце прошлого века. Одним из лозунгов этих искателей правды было служение народу. Аньес, верная этим традициям, находит тот путь, на котором искатели правды могут служить народу в новую эпоху, в эпоху войн и широких народных движений.

Война. Немецкие фашисты входят в Париж. Аньес, привыкшая верить только своим глазам, своими глазами видит теперь звериный облик фашизма. Он так мерзок и страшен, что Аньес, встретив на улице немецких солдат, закрывает рукой глаза своего маленького сына. Но сама она уже видит все, понимает все. Уроки Пьера, его энтузиазм, его мужественная борьба не прошли даром. Аньес в трагические для народа дни убеждается, что правда не в том, чтобы избегать прикосновения к миру лжи, а в том, чтобы коснуться этого мира раскаленным железом. Бороться. Аньес прячет у себя молодых патриотов, которые решают выбраться из Парижа, чтобы применить к движению свободных французов. Так французские женщины прятали своих сыновей и братьев в 1871 году, когда Тьер ввел немцев в Париж, как ввел их в 1940 году Петэн и Лаваль. Тот плененный Париж был величественен и трагичен. Но и этот также. И залог величия Парижа, его будущего возрождения — героизм таких женщин, как Аньес. — Меня вы можете убить, — говорит тихая и смиренная Аньес немецко-фашистскому мерзавцу, который глумится над ней, — «но Францию вы не убьете. Франция останется». — Аньес умирает героической смертью, напоминающей смерть народных партизанок.

Умирает Дессер. На тот вопрос, который Эренбург ставит перед всеми своими героями: с Францией вы или против Франции, — Дессер, казалось бы, вправе ответить: да, с Франци-

ей. Разве я не готов отдать все — свои миллионы, всю власть, которую дают деньги, все свое влияние — ради спасения моей Франции? Какова же его Франция?

Дессер мечтает сохранить старую Францию, Францию тихих провинциальных городов, рыбной ловли в воскресные дни, вязаных набрушников, домашних и общественных идиаллий. Он любит даже парламентские интриги, которые кончаются тем, что все остается на своих местах, и он даже не против патриархальных забастовок, лишь бы и они кончались возвратом к прежнему. Он ненавидит Бретейля, Тесса, Пикара — они ведь портят ему его идиллию; они в тихие парламентские залы приходят с ножами и бомбами, а забастовки улаживают не застольной беседой с рабочими и хозяйскими уговорами, а слезоточивыми газами. Да, он ненавидит Бретейля. Но он, пожалуй, не меньше страшится тех, кто хочет хозяйским жестом очистить французский дом от рухляди, открыть окна, впустить свежего воздуха. Недаром он, Дессер, любитель патриархальных идиллий, в дни забастовок сам не любил прибегать к уговорам и предпочитал холодно ждать, в надежде, что голод умиротворит этих непокорных и непонятливых французских рабочих. Дессер хочет решить судьбу Франции не только без хозяйна, но вопреки воле хозяйна — народа, уверяя себя и других, что хозяйн — это он, Дессер, что он лучше знает, что нужно французскому народу.

Наступает страшный день, когда Дессер сам убеждается, что его лжеидиллия своими корнями уходит не в почву старой Франции, а в почву, которая кормит фашистских бандитов. А он, Дессер, охраняя собственность и мир дома сего, в действительности охранял также безмятежное существование предателей и шпионов. В этот день Дессер кончает самоубийством, расправившись со своими иллюзиями, не перенеся зрелища июньской катастрофы, позорной капитуляции и разгула новых «хозяев Франции» — гитлеровских агентов — Лавала, Пикара и проч.

Если Дессер хочет патриархальными методами сохранить неподвижность, косность, то радикал Фуже пытается применить патриархальные методы в борьбе

за движение, за прогресс. Фу же — это воплощение старомодного прекраснородного, истекающего слезами о равенстве и братстве либерализма, вполне безопасного для Бретейля и Тесса. Это, можно сказать «воинственный скворец» либерализма. В социальном плане он, против поставляющий грязным интригам Тесса и кастетам «латников» административные речи о чести, напоминает тех старомодных генералов, которые готовы были храбро сражаться против немецких танков, орудия допотопными пушками. О такого рода бесплодных идеалистах Барбюс писал, что для них «народ является призраком, а великие принципы — геометрической абстракцией» (В книге «Les Judas de Jesus»).

Но, кроме Дессера и Фуже, в немане есть и другие представители старой Франции: депутат Дюкан. Он преодолевает свои старомодные иллюзии и старомодные предубеждения против народа и становится ряды патриотов. Трагедия Дессера Фуже не есть «трагедия старца Франции»; в дни борьбы за родину можно найти путь объединения с вековой, прежней Францией и Францией новой. Для этого нужно, чтобы старая Франция сохранила и применила на практике одну старинную французскую добродетель — чувство реальности.

Истинный фронт французского народа может охватить всю живую Францию: от Дюкана до Мишо.

#### IV

Со времени появления «Современной истории» Анатоля Франса («Истории Парижа») Ильи Эренбурга самое крупное и сильное изображение современной истории Франции — самая блестящая сатира на французскую реакцию.

Можно представить себе разные типы сатиры на Третью республику. Одни режут ее как труп, добывая того, чтобы в поднявшемся тумане зловония не было видно ничего и главное, не было бы видно их нечисти к Франции. Таковы фашистские карикатурные «разоблачения» Третьей республики.

Другие, подлинные, правдивые сатирики снимают покров за покровом, маску за маской, чтобы под толстой

доем фальши обнаружить живое  
о страны. Такова сатира в книге  
Эренбурга.

Эренбург показывает, как рождался  
французский фашизм из ядовитых  
омин, посеянных на французской  
очве немецко-фашистским импе-  
риализмом и его французскими под-  
лучными — Бретейлем, Тесса, Виа-  
ром.

Эти люди день за днем, месяц за  
месяцем делали все, чтобы удушить  
французский народ. Рядом с души-  
телями — фашистскими политиками  
и немецкими шпионами — стояли  
Тесса и Виар. Их функцией было  
«сыплять жертву. Сначала они могли  
притворяться, что они — охранители  
старой Франции, чемпионы нацио-  
нального единства, борцы за мир  
и т. д. Но по мере того как прибли-  
жалась катастрофа, как созрели  
плоды их чудовищного вероломства,  
по мере того как становилась все  
более властной и наглой указка из  
Берлина, и Тесса, и Виару приходи-  
лось сбрасывать маски. Ничтожный  
Тесса — политический интриган, карьер-  
ист, сластолюбец, постоянный по-  
сетитель будюара мадемуазель По-  
летт, становится страшным Тесса —  
Тесса, выполняющим прямые пору-  
чения палача Бретейля и шпиона  
Гранделя. В то же время страшный  
Бретейль, по мере того как осуще-  
ствляется его мечта об унижении и  
уничтожении Франции, становится  
все более ничтожным и жалким. Он  
весь исходит страхами перед наро-  
дом, каждый его «твердый», «реши-  
тельный» жест проликовать, как в  
его ханжеские молитвы, страхом.  
И после победы немцев, которой  
Бретейль ждал, как своей победы,  
он созревает: превращается просто  
в лакея немецких оккупационных  
властей.

Если там, где изображена история  
народного движения, Эренбург пока-  
зывает, как могла быть и как бу-  
дет спасена Франция, то в своей  
разоблачительной части книга как  
бы отвечает на вопрос: почему  
предателям Франции удалось сде-  
лать свое черное дело.

Заговор против французского на-  
рода, продиктованный бретейлевски-  
ми страхами перед народом, не мог  
осуществляться открыто. Отсюда це-  
лая серия маскировок, инсценировок,  
примером которых может служить

еще процесс Дрейфуса. (Зоя, позна-  
комившись с материалами процесса  
Дрейфуса, по собственному призна-  
нию, «задрожал» при мысли о том,  
какую существенную пользу эти ма-  
териалы могут оказать Германии в  
тот момент, когда начнется франко-  
германская война.)

Из всех маскировочных методов  
самым верным было обращение реак-  
ции к тем, кто достаточно разложи-  
лся, чтобы продаться со всеми по-  
трусами реакции, но еще сохраняли  
в глазах многих французов благо-  
родную маску, репутацию «радика-  
лов», «социалистов» и т. п.

В образе Тесса, в образе Виара  
Эренбург изумительно показывает  
двоедушие, фальшивую сущность  
этих фигур.

Достаточно вспомнить хотя бы тот  
политический жаргон, к которому  
беспрестанно прибегают Тесса и  
Виар — каждый в своем стиле, один  
в «радикальном», другой — в «соци-  
алистическом». Объем язык дан как  
бы для того, чтобы лгать наиболее  
высокими благородными словами,  
украденными у французского наро-  
да, у истории французского народа.

Тесса, уговаривая Фуже не разо-  
блачать немецко-фашистского шпио-  
на Гранделя, говорит ему: — Ты не  
сделаешь этого, ибо это может на-  
рушить интересы нацио-  
нального единства.

Не будучи в силах скрыть от на-  
рода предательство военной верхуш-  
ки и недостаток вооружений, Тесса  
пытается в гнусной речи утешить  
французов тем, что они, французы,  
мол, сумеют доказать преимуще-  
ства христианского гума-  
низма над машинной циви-  
лизацией.

Виар, который любит называть се-  
бя сторонником «новых методов»,  
объявляет гитлеризм «социальным  
поворотом», а свой переход в ла-  
герь гитлеровцев оправдывает тем,  
что он всегда был на стороне «моло-  
дых движений».

Так раскрывается чрезвычайно  
разветвленный мир фальши — от  
аристократических дам, которые,  
символизируя жертвы, приносимые  
родине, устраивают журфиксы, где  
утонченные яства подаются на оло-  
вянных солдатских тарелках до  
лживых речей Тесса, до чудовищно-  
го предательства Виара. Только что  
пообещав Пьеру разрешить отправку

самолетов для испанского правительства, Виар звонит по телефону в полицию, предупреждая, чтобы самолеты не были переданы Пьеру. Все свои гнуснейшие поступки Виар поливает фальшивыми розово-сладкими словами из «социалистического» жаргона. Он лжет не только перед друзьями. Он продолжает лгать самому себе, оставшись один, потому что труслив и пробует этой ложью, самобманом отогнать от себя призрака будущего справедливого возмездия народа.

Он пробует то принимать позу борца «против войны», за «мирный прогресс», то совсем уходит от действительности, в «мирную» природу и в искусство.

Но никому не дано уйти от самого себя: связи Виара с искусством, его уходы в искусство — обман, так же как обманом и фальшью является его связь с революционной действительностью, с Францией и т. д. Напротив, связи Виара с фальшивым миром реальны и неопровержимы. С искусством он лишь «отдыхает», так же, как Тесса отдыхает с маришалье Полетт в ее будуаре. Андре изгоняет из своей мастерской Виара, не позволяя грязным рукам предателя прикасаться к его, Андре, картинам. Это подлинное восстание художника против мира лжи, против врагов родины, и восстание плодотворное.

Миру лицемерия и лжи в книге Эренбурга о Франции противопоставлен другой, высокий и правдивый мир — мир народа.

Поэт Люсьен хочет сочетать свои эстетско-бунтарские искания с революцией. В стихах молодого рабочего и поэта Клода, восторженного читателя Флора и Шолохова, просто и естественно переключаются голоса парижских блюзников, отстаивающих свои права на труд и хлеб, и голоса леса, шум деревьев, свист корабельных снастей, любовная песня.

Распадается семья господина Тесса. Тесса ненавидит и презирает сына и дочь. И вырастает, крепнет семья старой поденщицы Клеманс. Правда, сын Клеманс, юный Жанно, гибнет от пули фашистских убийц. Но с той минуты, когда, смеяняя Жанно, на трибуну заводских собраний выходит его мать Клеманс, вокруг нее собираются: Мишо, Дениз, Клод — новые братья и сестры

Жанно. Ими жив Париж. И этот Париж действительно остается Парижем в дни борьбы и побед 1936 года и в трагическое лето 1940 года, когда Клеманс прячет у себя Дениз и Мишо от немецких фашистов и шпионов Грандела.

Мишо — сын шляпника, потом рабочий кожевенного завода, потом механик завода «Сэн», коммунист, боец интербригады, солдат второй мировой войны; в нем Эренбург дает образ новых людей Франции, борцов за ее будущее. «Революция — это архитектура», — говорит Мишо.

Он строит новый мир и сражается за него с вдохновением художника. Он — мастер борьбы, мастер организации, мастер настоящей жизни, наполненной трудом, сражениями, любовью. В самые трудные для рабочего движения, для Франции, для него самого дни Мишо утрамо и весело повторяет свою любимую поговорку: «Мы победим. И еще как!»

Тесса, Бретейль, Виар предают Париж. Тысячи людей покидают столицу Франции. Многие из тех, кто остался, бродят растерянные по улицам любимого города, стараясь не видеть гнусного лица «победителей». «Бросили Париж», — жалуется Аньес. И Андре Париж кажется пустым. Но Париж не пуст и не брошен. Мишо это знает. Он, Мишо, возвращается в Париж, сильный, бодрый, готовый поддержать измученных товарищей. И борьба продолжается. В маленькой лудильной мастерской Дениз и Клод печатают листовки. Дениз раньше никогда не приходилось писать воззвания.

«Дениз искала слова, чувствовала — они рядом, и не могла их найти. Снова встала фраза, которую она повторяла на бульварах: «И это Париж?» — и слова неслись, обгоняя одно другое. «Колыбель революции... Город Коммуны... Сердце Франции...»

Ей казалось, что она слышит голоса солдат, которые бродят всеми брошенные. Голоса пленных — они на дорогах бьют камень, над ними издеваются пиллеровцы. Голоса боженцев — длинные, страшные дороги, а люди бродят, бродят... Говорил французский народ».

Голосом Жаннет стонала обманутая, испепеленная Франция: «Обманутой дано мне умереть!» Голосом Дениз говорит французский народ, неумирающий, готовый к борьбе.

сквозь все бедствия идущий к победе.

Эренбург показывает, как народ, поднявшийся в 1936 году, ныне, в трагические для Франции дни, ищет и находит новые, еще более широкие пути. Они очень нелегки, но они проходят везде, по всей французской земле — в подпольи, в маленьких людильных мастерских, где печатаются листовки, возле откосов, откуда французские патриоты сбрасывают немецкие составы, на заводах, где рабочие срывают сборку машин, нужных гитлеровским бандитам для уничтожения детей и женщин, — всюду, где есть истинные французы. — у Мишо, у Дениз, у Клода находятся друзья. Солдата французской армии, коммуниста Мишо прячет у себя жена директора католического патронажа. Молодых французских патриотов, идущих в армию свободной Франции, спасает от гестаповцев жена революционера, Аньес.

Достаточно сказать о себе: я рабочий, француз — как говорит Клод, — чтобы тебе открылись двери и протянулась братская рука французского патриота. «Если бы Морис был здесь, не видать бы немцам Парижа» — эти слова слышал не только один из героев Эренбурга. Они доходили до всех, кто умел слышать голоса подлинной Франции летом 1940 года.

Так раскрывается глубокая патристическая сущность народного движения, героизм его лучших людей, как Морис Торез или Габриэль Пэри, недавно расстрелянный гитлеровцами в Париже. Его расстреляли те самые люди, которые несколько лет тому назад сладострастно вопили: «Распался народный фронт», а летом 1940 года облегченно вздыхали на террасах кафе в Виши — «распалась Франция». С этими людьми еще предстоит расправиться французскому народу.

В книге Эренбурга о Франции, среди образов высокого и правдивого мира, естественно возникает вдохновляющий и героический образ Советского Союза.

Для всех подлинных патристов Франции, для всех свободолюбивых французов, СССР — верный друг и подлинный союзник.

Фашист Бретейль ненавидит Советский Союз и радуется победам гитлеровской Германии, как своим побе-

дам. Механик Мишо, французский патриот, верный сын народа, гордится, как своей победой, триумфом советских музыкантов в Брюсселе.

Французские солдаты встают в Гавре, не желая идти воевать с Советским Союзом. Так они выполняют долг солидарности, связывающий все народы мира с страной социализма, так они выполняют свой патристический долг на страх врагам Франции — Бретейлю и Тесса.

Бретейль и Тесса, пытающиеся втянуть французский народ в войну против страны Советов, ненавидят французского патриота генерала де Висса за то, что он требует, чтобы французы знали о военной мощи Советского Союза.

Так, крепнувший в борьбе с общим врагом единый фронт свободолюбивых французов естественно тяготеет к дружбе с великой Советской страной. Разве не Красная Армия развеяла в прах миф о непобедимости злейшего врага Франции — разбойничьего немецко-фашистского империализма?

Годами Бретейль и Тесса запугивали свой народ силой германского фашизма, в то же время не позволяя французам слагиваться и подготавливаться к войне с агрессорами. Но французский народ не потерял веры в себя и в своих друзей и в самые тяжелые дни. «Гитлер начал — Сталин кончит», — пишет Клод на стенах плененного Парижа, призывая французов продолжать борьбу за освобождение французской земли от немецко-фашистских поработителей.

Мишо гордился победами советского музыкального искусства, как своими. Можно быть уверенным, что тысячи свободолюбивых французов, прочтя книгу Эренбурга — а они ее прочтут! — признают победу советского художника слова своей победой.

Ибо книга Эренбурга — не только вклад советской литературы в борьбу нашего отечества с немецкими захватчиками, но и вклад в борьбу всех свободолюбивых народов с общим врагом — гитлеровским варварством.

Награждение этой книги Сталинской премией — признание заслуг советского писателя перед народом — является вместе с тем и свидетельством дружбы советского народа к народам Франции.

В. Кирпотин

## ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА БОРИСА ГОРБАТОВА

*Борис Горбатов. «Родина» (письмо товарищу), 16 стр. Его же. «О жизни и смерти» (второе письмо товарищу), 16 стр. и «О воинской чести, о воинской славе», 30 стр.*

Газета «Во славу родины» издала тремя маленькими книжками фронтовые статьи и очерки Бориса Горбатова. Их заглавия — «Родина», «О жизни и смерти», «О воинской чести, о воинской славе». Две первые (перевзданные одной брошпурой «Советским писателем») имеют подзаголовок «Письма к товарищу». И в самом деле, статьи и очерки Бориса Горбатова очень своеобразны по форме. Они говорят о самых больших и важных вещах, какие только существуют на свете, и в то же время они интимны. Они обращены ко всем и в то же время именно к этому читателю, который сейчас вот их держит в руках. Они посвящены «эпическим по своему характеру темам войны и в то же время они лиричны. Всем тоном, всем строем своих статей автор рассказывает и о себе, о своих переживаниях, о том, чем полно его сердце в дни великой отечественной войны. Некоторые, лучшие, из его писем, по чистоте и правильности языка, по отсутствию «пустых мест» могут быть отнесены к редкому и трудному жанру «стихотворений в прозе».

В коротких строках Борис Горбатов упоминает о родине — о родине-отчизне, месте, где человек родился и провел свое детство, о родине-отечестве, страну и людях, с которыми человека объединяют общая историческая судьба и общий наш социалистический строй, — о пейза-

же и о детях, о смерти и о жизни, о позоре и славе, о преданности знамени и ненависти к врагу, о счастье, о мужестве, о победе, который выковывается на кровавых полях войны. В недолгий час типины перед боем, прикрывая фонарик полою мотрой шинели, автор пишет товарищу: «И так же как я, миллионы бойцов, от Северного Ледовитого океана до Черного моря лежали в эту ночь на осенней, жухлым листом покрытой, земле, ждали рассвета и боя и думали о жизни и смерти, о своей судьбе».

Советский человек ценит жизнь и любит жизнь. Страх перед жизнью, ужас перед лжевадомым и неверным будущим характерен для наших врагов, для фашистов. Эти эмблемы — череп со скрещенными костями, эти названия дивизий — «мертвая голова» и т. п., это сознание, что свою волю они могут навязать только террором, пытками, трупами, продиктованы не только желанием запугать, но и страхом. Вся, с позволения сказать, «философия» фашизма основана на страхе. Страхом продиктовано фашистское отвращение к разуму, к науке и стремление воскресить «миф», как основную форму человеческого мышления. Как все лжесвидетели, как все калфы на час, чувствующие, что почва выблется у них под ногами, гитлеровская клика любит обращаться к знахарям, к оккультистам, чтобы хоть таким путем предугадать свою

неизбежную судьбу. Страхом, наконец, подкажан перевод капиталов в банки нейтральных стран, охотно практикуемый заправилами теперешней Германии. Шпентлер, чьи концепции родственны фашизму и чьи книги одно время весьма популяризировались фашистами, говорит о боязни мира, о вечном страхе, как единственном стимуле деятельности «современного» человека, как о чувстве, которое никогда не оставляет человека высшего порядка (раса господ!). Недаром и Шпентлер, и Гитлер, и Гербелль любят поговорить о варварстве, о конце культуры, о закате Европы, то есть о гибели и смерти, как неизбежном конце.

Борис Горбатов в своих маленьких произведениях, написанных во фронтовой обстановке, призывающих жизнь своей не падать для защиты родины, сумел выразить любовь советского человека к земной действительности, его веру в людей, оптимистическое его мироотношение.

«Товарищ!

Очень хочется жить.

Жить, дышать, ходить по земле, видеть небо над головой».

Однако истинная любовь к жизни — разборчивая, гордая любовь. Советский человек любит жизнь полную, свободную, творческую, но не жизнь во что бы то ни стало, не жизнь-прозябание, не жизнь презыкающегося, подневольного существа.

«Но не всякую жизнью хочу я жить, — пишет автор товарищу. — Не на всякую жизнь я согласен...

Товарищ! Пять часов остается до рассвета. Не за тот sereneйший холм, что впереди, я буду драться с немцем. Из-за большого идет драка. Решается: кто будет хозяином моей судьбы, я или немец».

Один из петэновской клики, продавшей былую славу французам, выразился так: «Лучше жить на коленях, чем умереть стоя». Это — лозунг изменника и раба, лозунг, превративший прекрасную Францию в одно из отделений немецкого застенка. Раб идет на все, — Петэны, принесящие своей стране унижение, лихоту и ярмо, не сумели — и не сумеют — отградить хотя бы физическое существование своих соотечественников. Тысячами гибнут фран-

цузы в рабском труде на немецких военных заводах, тысячами гибнут от голода, от расстрелов и пыток немецких гестаповцев. Кто же заминаяется, даже тот, кто держится пассивно, не использует каждой возможности для активной борьбы, кто не лапает, кто дает врагу передышку и условия для роста его сил, — тот готовит себе бесславную участь. Советский народ не таков, Красная Армия не такова. Они полны решимости победить. Воля к победе не сгибается перед испытаниями. Она не страшится жертв во имя высокой цели.

Слава отцов вдохновляет сынов и передается последующим поколениям, как советская героическая традиция. Старшее поколение советских людей прошло через битвы, в которых вырос, окреп и сложился наш строй.

Борис Горбатов, обращаясь к товарищам сегодняшних битв, вспоминает романтические и правдивые легенды о подвигах гражданской войны. Советские дети с восторгом, залив дыхание, слушали рассказы старших о великих днях семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого года. Сегодня пришел черед нового советского поколения, выросшего в счастливых условиях, созданных доблестными отцами. «Отцы смотрят на нас с надеждой: ну-ка, дети, не опозорьте нас! Херсонские курганы зовут нас к славе. Матрос Ислезняк учит пробиваться штыком и гранатой сквозь вражий строй. Пули поют над нами, тихий ветер хлопает крыльями, бронепоезд вышел с запасного на боевой путь. И девушка наша в походной шинели горящей Каховкой идет...»

Прини время новых сражений, рождающих новые песни и новые подвиги. Борис Горбатов сумел уловить и передать романтический ветер, веющий с полтой битв современной отечественной войны.

К числу несомненных достоинств очерков Бориса Горбатова относится выдвигание острых тем, которых избегают касаться многие писатели. Свойство это было отмечено внимательными читателями уже в рассказах Горбатова об Арктике. Теперь т. Горбатов пишет о расстреле дезертира Чувьрина. Чувьрин, как и всякий русский человек, не хотел



победы немцу. Но у него была «душ-  
ная зайца и сердце хорька». Чув-  
вырин слишком берег свою шкуру.  
Он хотел, чтобы за его судьбу, за  
его счастье дрались и умирали дру-  
гие. Он пишет о награжденном за ге-  
роический подвиг лейтенанте, у ко-  
торого от славы закружилась голова  
и который опозорил себя в новом  
бою. Но и эти рассказы о трудовом,  
о позорном выливаются в боевой  
призыв. Показ отрицательных мо-  
ментов играет также воспитательную  
роль, как и показ положительных  
деяний, зовущих к подражанию.  
«Никто за тебя драться не станет,—  
обращается автор к дезертиру,—  
здесь каждый дерется за себя и за  
свою родину... Не отдерешь, слы-  
шишь, не отдерешь нас от родины:  
кровью, сердцем, мясом приросли мы  
к ней. Ее судьба — наша судьба. Ее  
гибель — наша гибель. Ее победа —  
наша победа».

И с каким же торжеством расска-  
зывает Горбатов о капитане Лав-  
рентьеве, человеке, осужденном за  
военское преступление, но героиче-  
ским поведением в бою вернувшем  
себе воинскую честь. Тот же трибу-  
нал, в селе, наполювину еще занятом  
немцами, восстановил Лаврентьеву  
доброе имя: Теперь он скорее умрет,  
чем уронит свою воинскую честь.

Горбатов верит в человека, в его  
достоинство, в его способность раз-  
виваться, в его мужество и отвагу.  
Каждый обыкновенный человек мо-  
жет и должен стать героем, если  
родина позовет его.

В третьем — повогодоме — письме  
к товарищу Горбатов отметил очень  
важную черту в нашей армии —  
перемену настроения, вызванную пе-  
реходом в наступление. Часть, оста-  
вавшая село, через два месяца снова  
вернулась в него. Дед Опанас не  
узнал красноармейцев. «Та что же  
с вами сталося, хлопцы? — недоумен-  
но спрашивал он, — як отступали,  
так шли согнутые, сумные, и смо-  
треть на вас тяжко было. А теперь  
пришли, ну, орлы, чисто орлы.  
И глаза у вас веселые, и голова  
гордая, и страху в вас никакого нет.  
Те вы чи не те?»

«И те, дед, и уже не те... — отве-  
чают ему. — Мы узнали вкус и запах  
победы. Она пахнет гарью и кровью  
и дается недаром, но слаще ее —  
ничего нет...»

В беглых и торопливых строках  
третьего письма к товарищу Гор-  
батов описывает важный, перелом-  
ный рубеж в ходе войны. Художни-  
ки, писавшие на военные темы,  
знают: в развитии военных дей-  
ствий, в истории войн приходят  
дни, в которые для всех чутких  
людей становится ясным, на чью  
сторону склонилась на весах чаща  
победы. Фурманов в «Чапаеве» в  
следующих верных и многозначи-  
тельных словах рисует момент пере-  
лома в борьбе Красной Армии с  
Колчаком: «Отдавши Бугуруслан,  
неприятель все еще не хотел повер-  
нуть, что вместе с этим городом  
он потерял и свою инициативу, что  
конец пришел его победоносному  
шествию, что теперь его будут  
гнать, а он — обороняться, отсту-  
пать».

Момент перехода инициативы с  
одной стороны на другую всегда  
очень знаменателен и ярок — не  
заметит его только слепой. Одна сто-  
рона вдруг потускнеет, опустится и  
обмякнет, в то время как другая  
словно нальется живой тай-  
ственной властью, подымется на дыбы,  
ощетинится, засверкает, станет гроз-  
на и прекрасна в своем неожидан-  
ном величии. Приходит такой мо-  
мент, когда в тускнеющей армии  
что-то настолько расслабнет, на-  
столько выхворается, станет, бес-  
кровным и вялым, что ей остается  
один конец — умереть. Внутренний  
долгий изнурительный процесс вы-  
ходит наружу и заканчивается  
смертью... А Красная Армия, такая  
упругая и сжатая, так заметно  
обновленная ключевыми струями  
фабрик и заводов, профессиональ-  
ных союзов, партийных ячеек, — она  
была в те дни подобна проснувши-  
муся светлому богатырю, который  
все возьмет, всех победит, перед  
которым сгинет черная сила».

Подобный же момент наступил в  
боевом столкновении между гитле-  
ровскими ордами и Красной Арми-  
ей. Потускнела самоуверенность гер-  
манской военщины, враг, хвастав-  
ший мнимой непобедимостью, ста-  
равшийся уверить себя и других,  
что он не знает поражений, выну-  
жден отступать на запад, а налив-  
шаяся силой Красная Армия твердо,  
уверенно и методически из дня в  
день очищает родную землю от

коричневой нечисти. Этот момент, хотя и неполно еще, отразил в своих письмах В. Горбатов.

Книжечки В. Горбатова — это одни из лучших книг, которые написаны в дни войны. Не все в них равноценно. Наряду с совершенными есть письма и очерки, написанные торопливо, незаконченно. Боевая газета

не ждет, время не ждет — читателю на фронте и в тылу нужно призывное писательское слово. И, тем не менее, то, что уже сейчас написал В. Горбатов, — начало вдумчивой, искренней и отмеченной печатью оригинальности книги об отечественной войне.

М. Аплетин

## МРАКОБЕСИЕ В ФАШИСТСКОЙ ПРЕССЕ

Содержание журнала «Ди Вельт-литератур» с первого же взгляда не может не поразить совершенно не искушенного в этом смысле советского читателя обилием материала, имеющего более или менее непосредственное отношение к вопросу о так называемом «потустороннем» мире и о «сверхчувственных» явлениях.

Только в одном восьмом-девятом номере этого журнала помещено четырнадцать рецензий на книги о сущности и развитии антропософии, о теософском движении, о «возродившейся метафизике», о гаданиях по звездам, о суевериях и тому подобных, не менее «важных» предметах и теориях.

Чрезвычайное внимание, которое уделял литературно-критический журнал этим отнюдь не литературным темам, объясняется, повидимому, тем широким тяготением различных слоев германского общества к оккультизму, кабалистике, магии, хиромантии, которое всегда служит признаком морального упадка и симптомом общественной деградации.

Германия уже пережила волну подобных настроений после поражения в первой мировой войне. Знаменательно, что рецидив их обозначился осенью 1941 года, наперекор победоносному и бодрому тону официальной печати, заметно усилившийся зимой, в связи с поражением немецких войск на Восточном фронте.

Справедливость требует признать, что авторы статей отнюдь не на

стороне носителей мистических теорий и учений. Наоборот, статьи «Ди Вельтлитератур» усиленно призывают немецких читателей не поддаваться разлагающему и губительному влиянию этих учений. Так, некто Альткемпер в своей статье «О востоке и западе под звездным небом» борется против увлечения астрологией, потянутому, широко распространившемуся среди немцев, в частности среди солдат и младших командиров. Автор, впрочем, успокаивает арийских читателей тем, что «ни одному лицу германской крови не пришлось в голову считать звезды богами и предсказателями судеб».

Плохи, очевидно, дела фашистов, если теоретикам фашизма приходится, выполняя приказ начальства, писать: «Мы не можем допустить, чтобы наши партийные товарищи (Volksgenosse), с которыми мы серьезно хотим работать над строительством нашего государства, заглядывали в астрологический календарь или гороскоп, прежде чем решить, могут ли они в этот час приступить к той или иной работе».

Замечательно, что борьба с предсказаниями о ходе военных действий не мешает некоторым представителям германского командования, как, например, командующему 11-й армией генералу Фонманштейну, прибегать как к «испытанному средству успокоения» — к тому же самому предсказанию.

В одном из своих приказов вышеупомянутый напуганный гитлеровец прямо требует от прорицателей

«предсказания победного окончания войны» (Приказ «секретно», часть I, 2603/21). Несомненно тесная связь между подобным пристрастием фашистских чиновников и генералов к гороскопу и кофейной гуще со все более частой сдачей в плен их солдат и младших командиров, понимавших ложь фашистской пропаганды.

Другой фашистский критик, Штетьтинг, в статье, посвященной народным верованиям и суевериям, предостерегает читателя от «заражения страхом перед грехом и смертью», рекомендуя при помощи «народной традиции» бороться не только с суевериями, но и с «укорами совести», — совет в устах фашиста весьма знаменательный.

Более узкую задачу ставит в своей статье «Суеверия и медицина» Ганцер, предостерегая читателя «против астрологических диагнозов болезни и (вытекающих из них. — М. А.) методов их лечения».

Отрицательное отношение фашистского литературного журнала к средневековым по своей сущности и происхождению теориям может показаться неожиданным. В самом деле, стоит только вспомнить, сколько средневековых элементов в самой фашистской пропаганде с ее расовой теорией, походом против культуры и просвещения, повинистическими лозунгами. И однако выступление фашистских теоретиков против оккультистских и тому подобных суеверий вполне закономерно. Объясняется оно, несомненно, тем, что в форме различных мистических воззрений находят себе известный выход некоторые оппозиционные гитлеризму настроения. Эти настроения наблюдаются даже среди лиц, близких к правящей партии, не говоря уже о тех, кто всегда относился к ней критически. Многие явления, порожденные фашизмом, в результате диалектического развития оказались в конце концов обращенными против его догмы и практики. Очень показательна в этом смысле помещенная в журнале статья Хорстанойтара об антропософах. Особенно резко этот фашистский критик обрушивается на автора антропософского педагогического метода Рудольфа Штейнера, осмелившегося, хотя и под религиозным

флагом, проповедывать в гитлеровской Германии «свободное развитие человеческой личности», столь противоположное той муштре и стремлению выработать людей-автоматов, которые ставят своей задачей фашистская школа.

Беспокоит фашистский журнал и так называемое «здоровое течение народных орденов». Представители этого течения, по словам автора статьи, не только осмелились дополнить расовую теорию фашизма идеей о создании новой расы из германских и славянских элементов, но и были заподозрены в попытках сближения одновременно с фашистами и коммунистами. Даже наиболее близкие сегодняшним хозяевам Германии так называемые «ариссофы» (т. е. арийские мудрецы) сумели вызвать неудовольствие своих покровителей. Еще бы, — ариссофы держали противоположать свою философию, как духовный фактор, фашистской материальной силе и власти, отдавая Гитлеру скромную роль только организатора этой материальной силы.

Наряду с неожиданными изгибами учения ариссофов гитлеровцев пугает также и нарастание христианского сектантства с его попытками разложить изнутри фашистскую ортодоксию внедрением понятия милосердия. Фашистские идеологи больше всего боятся человеческих чувств в солдате. Любопытно, что автор статьи о сектантах, Шнейдер, в противоположность Альткемперу<sup>1</sup>, с горечью отмечает, что «имеются вполне порядочные немцы, которые впадают в подлое сектантство» («Ди Вельтлиттератур», № 10 за 1941 г., статья Шнейдера).

Беспокоит фашистов и так называемое «затемненное историческое сознание народа». Автор статьи на эту тему, Рихард Ганцер, с горечью жалуется на то, что «историческое сознание народа... не охватывает ни широты наших достижений, ни особенности нашей государственной системы». Это страшит, повидимому,

<sup>1</sup> Автор статьи об астрологии, считавший, что увлекаться астрологией и другими ересями свойственно только людям не чисто германского происхождения.

Рихарда Ганцера. Сегодня же признают достижения, завтра возьмут за шиворот гордящихся ими властителей.

Жалоба Ганцера на то, что «в сознании отдельных германских поколений недостаточна крепко живет идея наследственной предрешенности», не что иное, как горькое признание в том, что некоторые круги в Германии считают фашистскую политику оторванной от исторического прошлого германского народа, а гитлеризм — болезненным наростом на его теле, который можно и должно с корнем вырезать.

Разумеется, было бы наивно искать в фашистском журнале серьезную критику сектантских и мистических учений, которые мы перечисляли. Дать такую критику, оставаясь на почве расовой теории и средневекового похода против лучших достижений культуры, невозможно. Различия между оппонентами и представителями этих учений слишком незначительно для того, чтобы от первых можно было ждать действительно серьезной критической аргументации. Очень сильно сказано это на, в своем роде, классической статье Бернгарда Хормана «Чудесные жезлы и волшебные маятники». Аргументация автора статьи поистине смехотворна. «...Если бы фантастические рассказы этих людей (т. е. верующих в жезлы и маятники) были хотя бы частично правильны, то как раз в годы четырехлетнего плана и теперешней войны эти чудотворцы с жезлом и маятником имели бы возможность изыскать в момент решительной для Германии борьбы столь необходимые ей металлы, уголь, жидкое топливо и т. д.».

Херман признается: «Несмотря на все наши старания (!), мы ничего подобного не слышали». Автор, говоря о проповедниках чудесных свойств жезлов и маятников, допускает следующие возможности: «или они в действительности ничего не могут найти, тогда они если не

сумасшедшие, то нагломошеники и обманщики; или они могли бы найти естественные богатства, но сознательно этого не делают, тогда они просто государственные измошеники».

Похоже, что автор в принципе не против жезлов и маятников и негодует просто на то, что они не хотят помогать фашистам.

Несомненно, что мракобесие, захватившее широкие круги Германии, отражает растущую политическую растерянность, — сознание безнадежности положения и неверие в благополучное окончание войны.

Растет нежелание понимать «величие» гитлеровской Германии даже среди присяжных поэтов «Третьей империи». В том же «Ди Вельтиратур» приходится печатать статью о «созвучном и несозвучном эпохе в немецкой поэзии наших дней», о поэтах, не откликнувшихся на «духовную мобилизацию», о «несовпадении жизни и творчества». Снова и снова приходится «фюре-рам» от литературы призывать к порядку писателей, забывающих, что они живут в «рейхе Гитлера», и укрывающихся в воспоминания детства, в воспоминания о далеком прошлом. Число сомневающихся, неудовлетворенных и «нежелающих понимать» неуклонно растет. Пестало оказывается недостаточной силой для того, чтобы справиться с этим «злом», принявшим массовый характер.

Неудовлетворенность, скрывающаяся за распространением оккультных учений, выражается, однако, не только в форме роста средневекового мракобесия. Она питает и другие настроения в здоровых и стремящихся освободиться от фашистского дурмана слоях германского общества.

Человечество вправе ждать и требовать от германского народа решительной борьбы против гитлеровского режима за полное уничтожение фашистской тирании.

Вл. Лидин. «Зима 1941 года». Изд. «Советский писатель», Москва, 1942 г.

Мы читаем в новой книге очерков Вл. Лидина «Зима 1941 года»: «...Может быть, самый циклопический памятник создан нашим народом именно в этот год небывалой по размерам и по разрушениям войны. Это величайший памятник народного духа». В этих словах — ключ к пониманию основного замысла автора. Задача писателя — показать мужество русского народа, готового к самым суровым испытаниям во имя возвышенной и благородной цели войны.

Вл. Лидин владеет разносторонними и гибкими приемами опытного рассказчика, умеющего заинтересовать читателя, остановить его внимание на каком-нибудь эпизоде, который необходимо выделить и который без этого едва заметного и тонко поданного акцента прошел бы незамеченным. Вл. Лидин умеет оттенить деталь, отобрать из потока живой действительности наиболее характерные ее черты, сопоставить факты, столкнуть контрасты, что называется, «в лоб». Так, например, в очерке «Москва в ноябре 1941 года» мы встречаем следующее замечание: «Города, переживавшие тревогу войны, могли бы поучиться у Москвы ее спокойствию и уверенности. История великого исхода Парижа — печальная история. Москва готова к борьбе, и отсюда уверенность людей в этом городе». Свойственное писателю искусство художественной подачи фактов в ряде очерков, посвященных Москве, Украине, осажденной Туле, разгрому фашистско-немецких полчищ под Москвой, заставляет признать их несомненно заслуживающими внимания. Мы видим прифронтовую Москву, Тулу — город оружейников, где даже названия улиц — Дульная, Ствольная, Дожевая — говорят об искусстве потомственных почетных мастеров оружейного дела, потому что которых — сводный рабочий батальон — вышли на подступы к городу и на себя приняли удар врага, отражая его атаки, уничтожая его танки, его живую силу. Мы видим украинские села, где враг рассчитывал встретить покорность и подчинение, а

встретил мщение и ненависть. Ряд деталей в этих очерках свидетельствует о том, что автор хорошо знает свой материал и с любовью его воспроизводит. Так, в очерке об осажденной Туле Вл. Лидин показывает пустые цехи эвакуированных тульских заводов: «Заботливые руки слесарей, инструментальщиков, токарей подобрали каждую мелочь в своем хозяйстве». Мимолетно брошенное замечание заставляет читателя рельефно представить себе облик осажденного города: «сквозь узкие лазейки баррикад «привычно, как в знакомые калитки», проходили прохожие. Такие детали, как обмороженные руки немецкого солдата, повязанный по-бабы платок, наглая и вместе с тем робкая улыбка, помогают читателю уловить новые черты в облике врага — черты распада.

Очерковой манере Вл. Лидина присуще умение тщательно продумать, как бы отфильтровать материал. Например, в очерке, посвященном ноябрьской Москве, в эпизоде взрыва днепровской плотины, побочно вплетенном в ткань повествования, художественный показ подводит к точному и продуманному выводу, развернутому в целом ряде очерков. Этот эпизод завершается репликой: «Ничего, товарищи. Построим новую. Лучше, скорее построим. Главное — уверенность, вот с чем можно строить самые замечательные здания, самые гигантские плотинны». Эти как будто мимоходом брошенные слова не случайны, они получают дальнейшее развитие. Мотив этот повторяется, например, в образах прифронтовой Москвы, где мы снова встречаем эту замечательную черту спокойной уверенности советских людей. Еще пример: автор высказывает замечание, что русский народ двадцать четыре года создавал ценности своей материальной культуры, показывал миру образцы трудовой доблести, но пришла война, и «народ мирного труда выступил на поле истории как народ-воин». Эта мотивировка опять возвращена в ряде очерков.

Такое умение продумать и отче-  
дить материал, вобравший в себя  
то, что когда-то, давно или недавно,  
было пережито автором, особенно  
заметно в очерках, показывающих  
лицо врага («Путь на запад», «Вче-  
рашняя афиша», «Саранча», «Нена-  
висть», «Страница истории»). Вл. Ли-  
дин нашел точные и гневные слова  
для того, чтобы заклеймить немец-  
ко-фашистских оккупантов. Это лю-  
ди, у которых отсутствуют элемен-  
тарные понятия морального порядка,  
одержимые бредовой идеей уничто-  
жения современной цивилизации и  
превращения жителей побежденных  
стран в рабов гитлеровской Герма-  
нии. Лидин пишет: «Домик Гете в  
Веймаре им так же чужд и вражде-  
бен, как Ясная Поляна Толстого.  
Они родились сегодня из сукровицы  
прошлой мировой войны, из лжи и  
подлости, возведенных в степень  
морали». Автор показывает бессмы-  
сленную и планомерную жестокость  
немецких оккупантов. Жестокость  
эта, конечно, не случайна. Она яв-  
ляется частью бредовой и чудовищ-  
ной программы, которую еще до на-  
падения на Советский Союз четко  
сформулировал Рихард Дарре, один  
из личных друзей Гитлера: «Мил-  
лионы человеческих существ, со вре-  
мени пещерного человека, создавали  
города из камня и стали. Германия  
превратит их в груды щебня». Это-  
му разнузданному инстинкту разру-  
шения Красная Армия противопо-  
стояла своей силой. Теперь она  
гонит на запад гитлеровскую раз-  
болтанную и иррациональную войну.  
Враг просчитался. Он думал, что  
«там, где кончается Украина, начи-  
наются москаль, а где кончается  
москаль — там татарин, а за татари-  
ном узбек или таджик, сколько на-  
званий, столько и стран». Он думал,  
что каждую из этих стран можно  
разбить в одиночку, что, стоит толь-  
ко нанести удар, и содружество  
народов распадется. Жизнь опроки-  
нула эти лживые расчеты. Вл. Ли-  
дин с любовью говорит о Советском  
Союзе, метафорически называя его  
«нашим домом», о том, что мы  
строили его «все сообща, всем на-  
родом — узбеки, казахи, татары, тад-  
жики, белоруссы, азербайджанцы,  
ненавидимые врагу русские. Все в  
этом доме принадлежит каждому из  
нас, и за каждую сожженную укра-

инскую деревню, за каждого убито-  
го, изувеченного человека нашего,  
за весь грабеж, за всю подлость —  
за все мы отплатим врагу сообща,  
всем народом, как привыкли все  
делать сообща: строить общий дом,  
жить в нем вместе, защищать его  
вместе и накапливать общую непри-  
миримую ненависть к каждому, кто  
посягнет на него». Очерк «Путь на  
запад» показывает гитлеровские ди-  
визии, разгромленные на подступах  
к Москве. Вот оно «вшивое воин-  
ство» в подбитых ветром шине-  
лишках, с распухшими, обморожен-  
ными лицами. Им казалось, что  
осталось только развесить дорожные  
знаки, с немецкой аккуратностью  
расклеить объявления немецкого  
командования, расставить бензино-  
вые колонки — и путь на Москву от-  
крыт. Сии уже хвастались в этих  
своих объявлениях: «Прошли дни  
жесточких боев... наступает время  
безопасности и порядка». Писатель  
с насмешкой комментирует это  
хвастливое воззвание, «перед кото-  
рым литература черносотенного Со-  
юза Михаила Архангела кажется  
евангельским текстом»; насчет того,  
что прошли дни жесточких боев, ко-  
нечно, сказано было немного пре-  
ждевременно; именно в результате  
жесточких боев немцы были выбиты  
из города. Что касается «времен  
безопасности и порядка», то жители  
города и с этим хорошо познакоми-  
лись в лагере, где были восстановле-  
ны методы жесточайшего рабства.  
«Зная город, наши бойцы выволокли  
из подвалов забившихся туда  
«завоевателей Европы». И вот они  
стоят, закутанные в платки, переми-  
наясь с ноги на ногу. «Стрелка,  
указывающая дорогу на Москву,  
чернеет возле шоссе, по которому  
на запад движутся наши войска,  
грузовики, артиллерия».

Очерки Вл. Лидина «Зима 1941 го-  
да» — в целом вдумчивая книга. Ма-  
териал, которым пользуется автор,  
сам по себе замечателен; в нем  
заложена мощная впечатляющая си-  
ла, он близок читателю. Однако в  
книге чувствуется, наряду с прив-  
кусом сентиментальности, холодок  
рассудочности, некоторая отвлечен-  
ность. Созерцательная интонация,  
усиленный лирический пафос, в  
конце концов начинающий подме-  
нять четкость и выпуклость худо-

жественного изображения, приводят к тому, что контакт между читателем и писателем оказывается ослабленным. Само богатство, сама свежесть материала помогают автору овладеть вниманием читателя. Но читатель ждет от автора показа конкретных людей, тех людей, которые отстояли Москву от озверелых атак врага с воздуха и с земли, которые отдают жизнь за свободу родины. В книге Вл. Лидина люди изображены слишком общо, как носители отвлеченной идеи. Они лишены волнующего трепета подлинной живой жизни. Мимоходом упомянута «веселоглазая Таня» из украинского села Мегей, или герой-слесарь Сашка из тульского сводного рабочего полка, или гордая колхозница, которая, может быть, досыта накормила постояльцев-немцев ядовитыми грибами. Писатель только указал на них и прошел мимо. Мы рельефно видим осажденную Тулу, но не видим людей, которые с оружием в руках осаждают свой родной город от озверелого натиска врага. Эти люди остаются где-то в отдалении, даже не на втором плане, а просто за кулисами, хотя имеется ремарка: «Героические имена людей из рабочего полка знает в городе каждый. «Это наш Сашка», — говорят про героя-слесаря зареченские жители в Туле. «Это наша Клава», — говорят про героиню-санитарку». Ремарка эта не помогает, конечно, читателю представить себе героических защитников Тулы.

Возможно, автор не ставил себе задачей раскрытие образа конкретных людей. Но несомненно, обрисовку людей нельзя исключить из очерка о мужестве народа, о его величии, его национальной гордости. Здесь снова приходится вернуться к уже приведенной цитате о нравственном превосходстве русского народа, о «величайшем памятнике народного духа». Этот замысел воплощен в слишком общих, отвлеченных образах, пусть лирических подчас, но оставляющих читателя холодным. В «Зиме 1941 года» нет героя, нет подлинно героического характера, который хотелось бы разглядеть ближе, которому хотелось бы подражать, хотя много говорится о героизме вообще. Автор чувствует это, когда говорит: «Как некогда Лев Толстой написал «Севастополь в августе 1855 года», так будет когда-нибудь написана книга. «Москва в ноябре 1941 года».

Язык писателя изменился к лучшему: стал более точным и строгим, но Вл. Лидин еще не совсем избавился от некоторой красоты, пафосности, налет которой чувствуется и в «Зиме 1941 года». Кое-где плавность повествования не вяжется с направленностью очерка, требующей более резких и горячих интонаций.

В целом очерки «Зима 1941 года», несмотря на ценность военных зарисовок, — это только подступы к большой и захватывающей теме.

## Н. Локс

Иван Арамилев. «Юность Матвея». Роман. Изд. «Советский писатель». Москва, 1941 г., стр. 249, ц. 6 р. 25 к.

Действие романа разворачивается на Северном Урале, в глухой тайге. Мальчик вырос в семье деда-охотника, в лесной глуши, где целиком сохранились первобытные нравы. Уже это одно должно было придать роману известную свежесть и в то же время поставить перед автором трудную задачу: писать о могучей природе, о всех особенностях быта севоро-русского населения нельзя понаслышке, нужно иметь собствен-

ный опыт. С первых же страниц романа ясно, что автор обнаруживает полное знакомство и с окружающей средой и с бытом своих героев. Мы не имеем возможности, конечно, судить, насколько его произведение автобиографично. Да это и не имеет особенного значения — налицо вполне достаточное знание той своеобразной жизни, ее нравов и обычаев, которые он хотел изобразить. Хорошо задуманы и удались образы деда и

отца героя. Дед — крижистая и сильная фигура, сложившаяся по всем законам тайги, отец — тип русского бродяги-неудачника, нередко встречающегося и среди так называемого «простого народа».

В этих частях, особенно в изображении природы — самая сильная сторона книги Арамилева. Природу он знает и любит, исполнен внимания к ее своеобразной прелести, умеет точно и свежо взять необходимую ему деталь: «Косач теперь как на ладони. Его шея переливается радужно-белесоватым цветом. Черносиния в белых крапинках подхвостка качается перед моими глазами. Появляются две серо-рыжих, все в рябичках курочки. У них на крыльях поперечный белый пояс, хвост рыже-бурий, короткий, вилообразно раздвоенный, в черных поясках. Они охарашиваются, чистят клювиками перья». Эта пристальная наблюдательность придает роману ту выпуклую реалистичность, которая дается только настоящему художественному зрению, дается любовью к жизненному материалу, его специфическому воплощению. Отсюда хорошо найденные эпитеты, кстати звучащие слова: «звонкое небо», «косачи бормочут и гуфыкают» и т. п. Дед, выросший в глухой тайге, был руководителем мальчика на этом пути познания природы. То был «лесной человек» в подлинном смысле слова: «по тому, на какой высоте, с какой скоростью летит свиязь, шилохвость, чернеть, криковая утка предсказывать, когда выпадет первый снег, когда станет река». Все это сильные, самые сильные стороны романа Арамилева. Гораздо более сложно и во всяком случае спорно то, что он рассказал о жизненном пути своего героя, об его юности в собственном смысле слова, то есть о пути развития человека. Мы не хотим подозревать автора в нарочитом сочинительстве или излишних выдумках. Но тем не менее несомненно, что как только мальчик покидает тайгу, его жизнь начинает напоминать жизнь некоторых героев Максима Горького. Как только он попадает в город и поступает работником к хозяину извозного промысла, мы сразу узнаем краски, черты, давно известные нам. Это тот же быт «Городка Окурова», «Дела Артамоно-

вых», с теми же социально-бытовыми, безысходными в нравственном смысле конфликтами. Автор любит доводить эти конфликты до некоторого драматического завершения, и об этом следует сказать особо. Матвей два раза становится нечаянным убийцей. Первый раз он на раскате выбросил из саней жену присяжного поверенного, разбив ее насмерть, другой раз ого нечаянно выстрелившая «фузея» отправила на тот свет старосту, виновника неожиданного перелома в его судьбе. Именно второе убийство заставляет Матвея бежать в тайгу, скрываясь от преследования и наказания. В тайге с ним происходят чудесные события: в «ледяном ручье» он находит золото, чуть ли не целые груды золота. Затем случай сводит его с крупным сибирским золотопромышленником, само собой разумеется, квалифицированным мошенником. После разного рода перипетий, куда входит и предполагавшаяся женитьба на дочери золотопромышленника, герой в конце концов лишается своей доли в открытых им приисках и даже должен бежать, так как его будущий тесть каким-то образом пропихал об убийстве старосты. Собственно источником этого столкновения была особая причина, делающая честь герою романа: он захотел передать свою долю рабочим приисков. Здесь окончательно завершается этот социальный конфликт со средой, который намечается с первых же страниц книги. Можно было уже заранее предвидеть, что жизнь в лесу у деда не спасет Матвея от столкновений с русской действительностью, с урядниками, кулаками, жестокими законами и произволом властей. В чисто изобразительной части этой борьбы автор не внес нового в русскую обличительную литературу XIX века, изображавшую «жесткие нравы», всяческое обеторивание мужика. Он движется в пределах вполне правдоподобных, но слишком хорошо знакомых нам отношений между различными сословиями и классами русского народа. Здесь мы можем упрекнуть автора только в известной близорукости, помешавшей ему разглядеть более глубоко источники этих социальных конфликтов и поэтому художественно выполнившего



его с недостаточной повизной. Но гораздо хуже, неудачно вышло избрание семьи золотопромышленника. Читая эти страницы, мы уже совсем не можем отделаться от впечатления чего-то чересчур знакомого в литературе. Здесь и продажные чиновники, надувающие Матвея, и все теневые стороны купеческого быта, который идет поверхностно, по готовому шаблону. В этих частях роман Арамилева снижается до среднего уровня. Нельзя сказать, что они совсем плохи, но во всяком случае никак не могут быть сравнены с лучшей частью книги, сильной лирическим восприятием природы и умением ее изобразить. Ошибкой мы точно так же считаем нераспутанное дело с убийством старосты. Матвей уж как-то очень легко прячет концы в воду, его так и не разъясняют, хотя найти его вовсе нетрудно. Несомненным диссонансом или, вернее, простой «отпиской» звучат последние страницы книги, где Матвей мечтает из глухой тайги перебраться на завод. Это совсем не вяжется

с подлинным «я» героя, совсем не нужно ему, потому что он влюблен в свою тайгу и как раз на месте в глухом лесу. Тем более, что гамсунская девушка, которую он там встретил, вполне отвечает его наклонностям.

Итак, роман Арамилева очень неровен. Наряду с подлинно прекрасными страницами встречаются либо надуманные в фабульном смысле положения, либо слишком хорошо знакомые по прошлой литературе описания.

Автор не сумел прислушаться к своему подлинному сюжету так, как бы это следовало. Но хорошие данные у него, несомненно, налицо. Крепкий и в достаточной степени своеобразный язык, не книжный, с богатым запасом бытующих и в то же время свежих эпитетов, умение наблюдать, любовь к реалистической детали — все это положительные данные, которые могут стать основой для дальнейшей, более зрелой и выдержанной работы.

---

М. Полякова

### «В БОЯХ ЗА РОДИНУ»

*Издание красноармейской газеты «Вперед за родину», стр. 62*

### «ГЕРОИ НАШЕЙ АРМИИ»

*Сборник 1942 г., издание газеты «На разгром врага», стр. 48*

Война, как и всякое большое историческое потрясение, неизбежно порождает своеобразный литературный жанр: свидетельские показания очевидцев и участников. Они могут быть очень разнообразны по характеру и качеству, начиная от эскизных и поверхностных набросков до произведений, которые по праву входят в фонд мировой литературы. Так когда-то вошла в него книга дотоле никому неведомого баталера Новикова, чье случайное пребывание на борту корабля «Орел» спасло и сохранило для многих поколений горький опыт и потрясающие картины Цусимского боя.

Справедливость требует признать, что рецензируемые сборники, составленные в основном из заметок, печатавшихся раньше в издававших их фронтовых газетах, ближе к первому полюсу, нежели ко второму. Главное их достоинство, несомненно, заключается в том, что оба они созданы во фронтовой обстановке.

Значение этого обстоятельства для первого сборника несколько умаляется тем, что о подвигах и боевых эпизодах рассказывают здесь не сами участники, а профессиональные литературные работники армейской газеты и политические руководители соответствующих армейских подраз-

делений, написанные с их слов, свои заметки по большей части в связи с правительственными награждениями упомянутых в очерках командиров и красноармейцев.

Это объясняет нам однообразный характер заметок, написанных языком военных сводок и рапортов, изобилующих специальными военными терминами, и суховатую официальность их стиля, иногда доходящую до крайности. Так, политрук Лискович иначе и не величает главного действующего лица своего очерка «Герой Советского Союза т. Родичев», как «герой»: «герой сказал», «герой приказал», «герой разрешил эвакуировать себя в госпиталь». Ценной стороной очерков является изображение производственной, технической стороны войны, деталей сражений, которые, по естественным причинам, трудно бывает найти в заметках корреспондентов, приезжающих на фронт только для сбора итоговых впечатлений. Здесь особенно сказывается то преимущество, какое дало авторам сборника систематическое, а не мимолетное пребывание на фронте.

Такие очерки, как «Командир минометной роты лейтенант Соболев», «Мужество летчика Хитрина», убеждают читателя в том, что на современной войне участь бойца распадается не только его физическое мужество, но и техническая квалификация, изобретательность, умение работать, способность ко всевозможному ручному труду, быстрые темпы работы, то есть все то, что приходит ему на помощь и в обычной трудовой обстановке.

Значительно хуже обстоит дело в сборнике с изображением людей на войне, с раскрытием их чувств и переживаний, вызванных войной. В этом смысле читатель из рецензируемой книжки не получит почти ничего. Правда, авторы заметок говорят о «великой ярости», ненависти и других обуревающих их героев чувств, но это выглядит только декларацией, и изображение войны в очерках напоминает немую картину, на которой персонажи жестикуют и действуют, но не говорят и не переживают.

Бледность эмоциональной стороны делает очерки трудно воспринимаемыми, герои и авторы равно трудно

отличимы друг от друга, читателю нужно довольно сильно напрягать свое внимание, чтобы, вчитавшись в очерки, найти в них ту ценную познавательную сторону, о которой мы говорили раньше.

Несколько выделяется из общего уровня заметка политрука Чистова о полевом хирурге Александре Петровиче Головине и очерк «Повозочный» Рудзинского, где на двух страницах убедительно доказана не сложная идея о необходимости и равноценности на фронте представителей всех специальностей — от командира до кашевара.

Много очерков в сборнике посвящено летчикам, и здесь мы находим особенно много тех ценных военных деталей, о которых уже упоминали.

Трудно сказать, по каким причинам, но второй рецензируемый сборник, «Герои нашей армии», по своему типу значительно отличается от первого. Если в первом довольно сильно чувствуется его официальный и газетный характер, то второй свидетельствует о значительно более поэтическом и живом восприятии военной действительности. В этом отношении следует отметить произведения, написанные Ильей Финком, Виктором Торбеевым, Фабрианом Гариным.

Многие боевые эпизоды в сборнике, судя по отдельным реалистическим деталям, написаны с натуры.

Большое количество, хотя и несовершенных по форме, но довольно звучных стихов во втором сборнике неслучайно; лирический элемент вообще является его существенной чертой; он ощущается и в рассказе Гарина, и в стихотворении Г. Попова «За край родной», и в залупенной «Песне о Степко» Ильи Финка, где, в частности, автор уделяет внимание тем ощущениям и переживаниям бойца, какие почти не затрагивались в первом сборнике, и в «Трех минометчиках» — другом его стихотворении, где Илья Финк воспекает крепкое фронтовое товарищество: «Если люди в бою тружбой связаны, так без промаха бьет миномет».

Стремление не только рассказать о подвиге, но и дать историю совершившего подвиг человека («Награда» Гарина), упоминания, хотя и беглые, о трагической стороне вой-

ны мы находим в маленьких рассказах Фабияна Гарина. Его героям не чуждо то чувство связи с прошлым и будущим, без которого нет ни личности, ни искусства. Характерны в этом смысле размышления санитарного инструктора в рассказе «Подвиг». «Страна получит сыновья, — думает герой этого рассказа, — и вспомнят эти люди меня, маленького человека, санитарного инструктора». «И, быть может, много лет спустя, в кругу своих детей, они будут рассказывать, как я тащил их с оружием в морозный день вот по этой земле».

Все это показывает, что авторы серьезно относятся к своему делу, стремятся выйти за пределы упрощенной трактовки военной темы, дать произведению художественное. В то же время нетрудно доказать, что они не обладают секретом подлинно художественного изображения действительности, что факты они описывают «так, как они есть», то есть, оставаясь на их поверхности, что они не используют всех тех возможностей, какие скрыты в избираемых ими драматических восковых сюжетах, часто излагая события бегло и конспективно. Особенно грешат в этом отношении очерк Дмитрия Зуба «Возвращение», Дебринна «Поединок», отчасти «Зимняя ночь» Фабияна Гарина.

Слабой стороной обоих сборников является изображение армии врага, сводящееся обыкновенно к нескольким более или менее жрепким выра-

Разумеется, дело здесь, но в от-  
сутствии соответствующих впечатле-  
ний и даже не в отсутствии умения

